



КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ
В ЕВРОПЕ
ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ

Серия
«Культура Возрождения»

Основана в 2003 году



Редколлегия:

доктор филологических наук М.Л. АНДРЕЕВ
доктор исторических наук Л.М. БРАГИНА (отв. редактор)
кандидат исторических наук В.М. ВОЛОДАРСКИЙ
доктор искусствоведения В.Д. ДАЖИНА
кандидат исторических наук О.В. ДМИТРИЕВА
доктор исторических наук О.Ф. КУДРЯВЦЕВ

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ В ЕВРОПЕ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ



МОСКВА НАУКА 2010

УДК 7.033
ББК 85.143(3)
К90

*Издание осуществляется при финансовой поддержке
Германского исторического института в Москве*

Рецензенты:

доктор исторических наук Н.А. ХАЧАТУРЯН,
кандидат исторических наук В.А. ВЕДЮШКИН

Культурные связи в Европе эпохи Возрождения / отв. ред. Л.М. Брагина ;
Науч. совет РАН “История мировой культуры”. – М. : Наука, 2010. – 231 с. – (Культура
Возрождения). – ISBN 978-5-02-037370-9 (в пер.).

Сборник междисциплинарного типа основан на материалах одноименной международной конференции, организованной Комиссией по культуре Возрождения в октябре 2006 г.

В статьях сборника рассматриваются культурные связи между европейскими странами в эпоху Возрождения в разных сферах – образовании, науке, искусстве. Освещается специфика контактов той эпохи – от меценатства и многообразных форм объединения гуманистов до их переписки и интенсивного книжного обмена как средства социальной коммуникации. Круг стран, охваченных тематикой статей, включает Италию, Германию, Францию, Англию, Нидерланды, Венгрию, а также Россию. Анализируется не только характер культурных связей в ренессансной Европе, но и их роль в становлении европейской цивилизации Нового времени. Сборник статей иллюстрирован работами мастеров искусства XV – начала XVII в.

Для историков культуры, литературоведов, искусствоведов, философов, а также широкого круга читателей, интересующихся культурой Возрождения.

По сети “Академкнига”

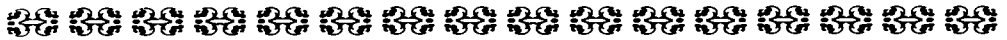
Cultural connections in the Renaissance Europe / Ed. L.M. Bragina ; Scientific
council RAS “History of World Culture”. – М. : Nauka, 2010. – 231 p. – (The Renaissance
culture). – ISBN 978-5-02-037370-9.

The contributors to the present volume focus on the versatile cultural connections between the European countries in the Renaissance period. They discuss interconnections in such spheres as education, science, art, and explore specific features and forms of cultural contacts – the role of patronage, significance of correspondence, book exchange, various forms of humanist’s societies. The essays cover Italy, Germany, France, England, Netherlands, Hungary, and Russia. They also deal with the influence of cultural connections on formation of the Early Modern European civilization.

The volume is addressed to historians, literary critics, philosophers, art critics, specialists in the cultural studies, as well as everyone interested in the history of culture.

ISBN 978-5-02-037370-9

© Российская академия наук



ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ МЕЖДУ ВЕНЕЦИЕЙ И ГОРОДАМИ ТЕРРАФЕРМЫ (ВЕРОНОЙ, ВИЧЕНЦЕЙ И ПАДУЕЙ) В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XV в.

А.Ю. Юсупов

Экспансия Венеции на терраферму, первый этап которой пришелся на начало XV в., имела своим последствием прочное утверждение Венецианской Республики на континенте. Венеция стала одним из основных государств Апеннинского полуострова: совершенные завоевания обусловили изменение и значительное расширение ее границ, причем не только в географическом плане. С этого времени Венеция активно участвует во всех процессах, происходящих на континенте. Область культуры не стала исключением: завоевание городов террафермы, в первую очередь, Вероны, Виченцы и Падуи, способствовало более широкому включению Венеции в систему континентальных культурных отношений.

В современной историографии получил широкое признание тезис о том, что завоевание террафермы не стало для венецианцев “открытием” Италии. Несмотря на то что Республика Святого Марка дистанцировалась от континентальной жизни, она вовсе не была ей чужда. Определенная самоизоляция как особенность венецианской политики не препятствовала активным контактам Республики с итальянскими городами, и в первую очередь, с центрами северо-восточной части Апеннинского полуострова. В основном, это касалось сферы торговли: в Средние века Венеция становится одним из основных транзитных пунктов товарообмена между Востоком и Западом, сохраняя при этом практически монопольное право на продажу соли в соседние города. Впрочем, не следует забывать и о том, что пути, проложенные с островов Лагуны на континент в эпоху Средневековья, во многом были намечены еще в Античности. Во времена Римской империи города северо-восточной части полуострова входили в единый Десятый Регион, или “Венеция и Истрия” (*Venetia et Histria*), по административному делению, введенному императором Диоклетианом. Распад Империи ослабил связи между ними; тем не менее их общность сохранила актуальность как на экономическом, так и, к примеру, на лингвистическом уровне, несмотря на обилие местных диалектов¹.

Таким образом, еще до фактического завоевания городов террафермы Венеция была интегрирована в разветвленную систему континентальных отно-

шений. В таком случае уместно задать вопрос, по какой именно причине события начала XV в. следует считать “знаковыми” для венецианской истории? Ответ, по всей вероятности, заключается в том, что с этого момента появляется новая структура отношений, дополненная и усовершенствованная по сравнению с фрагментарной и в гораздо большей степени ориентированной на экономику системой прошлых столетий. Начиная с XV в., сфера контактов Венеции с континентом расширяется, на полном основании включая в себя, в том числе, и область культурных отношений.

В исследованиях по данной тематике приоритет традиционно отдается проблеме зарождения и развития венецианского гуманизма. Появление этих тенденций справедливо связывается с активным творческим сотрудничеством венецианцев с культурными деятелями городов террафермы, носителями ренессансной культуры. Тем не менее большинство работ в данном случае посвящено прежде всего концу XV–XVI в., периоду, считающемуся временем подлинного расцвета венецианской культуры. В связи с этим представляется актуальным проанализировать изначальные факторы, которые стали причиной упомянутого расцвета, исследовать его истоки.

Процесс культурного взаимодействия между Венецией и городами террафермы имел ряд составляющих. В комплекс мер, осуществляемых правительством Республики в подчиненных городах в первые годы после завоевания, входили и такие, которые затрагивали прямо или косвенно сферу культуры. Речь идет в основном о политике Венеции в отношении городских университетов, и прежде всего университета Падуи. Сразу же оговоримся: все эти меры, в соответствии со спецификой условий того времени и целями, которые преследовали венецианские власти, имели четкую экономическую составляющую, что не позволяет охарактеризовать их как культурную политику в чистом виде. Тем не менее их результаты отражались и в сфере культуры, что в контексте нашего исследования имеет приоритетное значение. Кроме того есть основания предполагать, что политика правительства Республики по отношению к университету Падуи была вместе с тем реакцией на возрастание в среде венецианского патрициата интереса к получению широкого и, желательно, престижного образования для последующей успешной государственной карьеры. Появление этих тенденций во многом было связано с активной деятельностью выходцев с террафермы, которые “привозили” в Венецию новую культуру. Некоторые из них стремились построить таким образом свою карьеру; другие, будучи уже в зените славы и снискав широкое признание, приглашались богатыми венецианскими патрициями. Исследование биографий некоторых из них может помочь определить, какое значение имели события начала XV в. для гуманистов террафермы, ее интеллектуальной элиты, сыгравшей, как мы покажем это далее, немалую роль в укреплении культурных контактов с Республикой Святого Марка.

1. Культурная политика Венецианского государства на терраферме

XIV век стал временем настоящего расцвета культуры в ряде городов северо-восточной Италии. Если для некоторых из них, к примеру, для Виченцы, это столетие ознаменовалось как политическим, экономическим, так и культурным подчинением другим городским центрам этого региона, то для Падуи и Вероны оно оказалось периодом настоящего расцвета культуры, в первую очередь обусловленного интересом к ней со стороны их правителей. Дворы семейств Каррара в Падуе² и делла Скала в Вероне³ по прошествии лет постепенно превращались в центры притяжения наиболее выдающихся мастеров со всей Италии, среди которых – Джотто, Джусто де Менабуой, Гваринетто и многие другие; правители Падуи и Вероны были лично знакомы с Данте и Петраркой⁴.

Огромное значение в культурной жизни имели университеты, существовавшие в каждом из рассматриваемых нами городов; в одном из них, а именно в Вероне, с эпохой Скалигеров было непосредственно связано его открытие (специальным декретом папы Бонифация XII, изданным в 1339 г.⁵), в других (в Виченце и особенно в Падуе) – расцвет и активизация деятельности. Наиболее долгую историю имел университет в Виченце: его создание относится еще к самому началу XIII в., а во второй половине столетия он стал одним из основных университетов Северной Италии, привлекая большое количество студентов как из других городов Апеннинского полуострова, так и из других стран – Франции, Германии, Португалии⁶. Однако по популярности университет Виченцы значительно уступал падуанскому: несмотря на свое несколько более позднее появление (в 1222 г.) университет Падуи стал основным центром обучения в данном регионе. Во многом это было связано с тем, что в XIV в. он получал широкую поддержку со стороны правителей рода Каррара, особенно Франческо Веккьо⁷, в то время как университет в Виченце, как и город в целом, переживал кризис, усилившийся во второй половине XIV столетия. Политика Венецианского государства в отношении университетов террафермы, в первую очередь, университета Падуи, являвшегося крупнейшим из них, дает нам необходимый материал для анализа культурных отношений между Венецией и террафермой.

В конце XIV–начале XV в. падуанский университет переживал далеко не лучший период своей истории. Многочисленные войны, которые вело семейство Каррара, вызвали сокращения расходов на его содержание, в рамках общего уменьшения затрат на культурную сферу по мере усиления военного противостояния с соседними государствами⁸. К этим действиям добавилась и общая экономическая нестабильность, неблагоприятно отразившаяся на университете⁹. Количество студентов сокращалось. Особенную силу этот процесс набрал в начале XV в., одной из причин чего стала вспышка эпидемии чумы. Несмотря на то что даже в период войны в университете про-

должали обучаться некоторые студенты из различных городов как Италии, так и Европы в целом¹⁰, ухудшение положения Падуи приводило к тому, что все меньше школяров останавливали свой выбор места обучения именно на ней. Одновременно с этим сокращался и преподавательский состав; некоторые из профессоров покинули город во время войны, другие – уже после ее завершения, не будучи уверенными в дальнейшей судьбе университета и той политике, которую начнут проводить в отношении него новые правители города – венецианцы¹¹.

И действительно, одним из наиболее актуальных вопросов, поднятых в процессе официального перехода Падуи под власть Венеции, стало положение университета и его статус в новых условиях. Причем дело было даже не столько в организации процесса обучения. В условиях общего экономического кризиса, в котором оказался город в результате всех войн, через которые он прошел, университет мог стать одной из основ для его последующего возрождения, той самой финансовой артерией, которая была способна поддержать скромный на тот момент городской бюджет. Сохранение его прежнего статуса могло возродить интерес к нему со стороны студентов, а значит, увеличить приток материальных средств и тем самым помочь восстановлению экономики¹². Неудивительно поэтому, что соответствующее прошение коммуны стало одним из тех, которые были переданы ее посольством венецианским властям, а затем вошли в текст “Золотой буллы”; в нем коммуна Падуи просила сохранить привилегии университета и структуру его управления, согласно традициям и существовавшим обычаям¹³. Привилегии университета были немалыми. Еще в период правления семейства Каррара ряд факультетов получил автономию; процесс обучения был либеральнее, чем, к примеру, в Болонье, благодаря чему падуанский университет пользовался большой популярностью¹⁴. На этих привилегиях во многом базировались его известность и авторитет. Именно по этой причине вопрос об их сохранении стал наиболее важным для коммуны Падуи после перехода города под власть венецианцев.

Власти Республики прекрасно понимали сложившуюся ситуацию и старались найти выход. Помимо различных аспектов экономического характера, о которых мы упомянули выше, на это оказывали влияние и иные соображения. Слишком жесткие меры в отношении университета могли спровоцировать недовольство жителей города, что в сложившейся ситуации было недопустимо. В то же время сами венецианцы проявляли к нему интерес; университет Падуи в этих условиях мог стать центром обучения всей Республики, и тем самым поднять репутацию Венеции за пределами ее новых границ. На запрос падуанской коммуны был дан положительный ответ¹⁵. Еще более четко взятый венецианцами курс на поддержку университета проявился в дальнейших предпринятых ими действиях.

Главной задачей в процессе восстановления университета стало привлечение преподавателей. 18 апреля 1406 г. венецианский Сенат принял реше-

ние, “согласно обещаниям, данным коммуне и городу Падуе в поддержании развития университета”, о принятии особых мер для пополнения преподавательского состава; для этого членам Совета Старейшин предлагалось использовать любые полезные варианты и возможности¹⁶. Однако вскоре возникли новые затруднения. В первую очередь они касались финансовых возможностей городской коммуны: вследствие войн и прочих бедствий доходы города резко сократились, по причине чего жалование преподавательского состава, выплачиваемое, согласно решению Сената, из доходов города¹⁷, постоянно уменьшалось. В прошениях, подаваемых посольствами коммуны Падуи, звучала просьба о финансовой поддержке.

На эти призывы венецианские власти реагировали весьма холодно и удовлетворять просьбы коммуны не спешили. Большие затраты на поддержание университета, как и вообще крупные расходы на терраферму, не входили в планы Республики. Для оправдания ее позиции использовались самые разнообразные доводы. Один из них – напоминание о временах правления Франческо да Каррара, когда поддержка университета также была невелика, поскольку он, по словам венецианцев, тоже не давал денег на его содержание, университет должен был продолжать существовать так, как было раньше, а все расходы – покрываться коммунной, ибо именно она получала от него основную выгоду¹⁸. При этом венецианским Сенатом было принято интересное решение: по причине особого “благоволения” к городу Падуя, к его коммуне и его жителям, им была предоставлена сумма, в общей сложности равная 3000 дукатов, на помощь университету, а также было дано разрешение прибегать по мере необходимости к новым тратам. Однако постановление содержало одну важную оговорку: все эти средства должны были браться из доходов города, что, фактически, сводило на нет попытку устранения существовавшей финансовой проблемы¹⁹. Университет оставался в сложном положении, и эта тенденция сохранялась и в последующие годы.

В связи с этим уже во второй половине 1406 г. появляются новые варианты выхода из кризиса; некоторые члены венецианского Сената предлагают пойти на радикальную меру – запретить жителям венецианской террафермы, а также самим гражданам Венеции обучение в каком-либо другом месте террафермы, кроме Падуи и ее университета. Один из таких проектов был рассмотрен 25 сентября 1406 г. В нем предлагалось для привлечения в падуанский университет большего количества студентов (“чтобы учились в нем как подданные наши, так и иностранцы”) предписать жителям Венеции, а также Виченцы, Вероны, Тревизо, Фельтре, Чивидале, Истрии и других городов и местностей, находящихся под ее властью, проходить обучение только в университете Падуи. При этом особенно подчеркивалось, что в сферу дисциплин вышеуказанного обучения не входит грамматика. За нарушение постановления предлагалось ввести штраф в размере 500 лир²⁰. В тот день, 25 сентября, это предложение обнаружило в зале Совета больше противников, чем сторонников. Аналогичная судьба ожидала его и при повторных голосованиях,

проводившихся до конца указанного года; однако 31 апреля 1407 г. соответствующее решение все же было принято²¹.

Таким образом, с этого момента университет Падуи стал единственным высшим учебным заведением на всей венецианской терраферме. Университеты других городов фактически были низведены до статуса простых школ, в которых велось преподавание грамматики и основ счета; за большими знаниями следовало отправляться либо в Падую, либо за пределы Венецианской Республики, или же куда-либо “по ту сторону гор”. Это решение вызвало различную реакцию. Для одних (к примеру, для жителей Тревизо) оно не стало причиной для возмущения, ибо они, пользуясь географической близостью к Падуе, и так в большинстве случаев продолжали обучение именно там. Другие же предпринимали попытки (впрочем, безуспешные) оспорить это решение. Наибольшей активностью в данном случае отличались власти Виченцы, что едва ли вызывает удивление, учитывая давнюю неприязнь ее жителей к падуанцам, которые столько лет были властителями города. После того как Виченца стала первым крупным городом, принявшим власть венецианцев во время войны с Падуей, ее городская коммуна рассчитывала на особое отношение, особый статус и не ожидала подобного решения. В Венецию были направлены посольства; впрочем, как мы уже сказали, какого-либо положительного результата они не имели. 13 июля 1410 г. дож Микеле Стено специальным распоряжением еще раз подтвердил прежнее постановление венецианского правительства²².

Причин для подобных действий у Венеции было несколько. Одна из главных – экономическая; она же, на первый взгляд, кажется основной. Попытки реформ и предоставления дотаций, при том, что все эти меры проводились весьма нерешительно, положение университета не поправили. Преподаватели по-прежнему ехали в Падую весьма неохотно, что, в свою очередь, не способствовало привлечению большого количества школяров. В связи с этим оказание столь сильной протекции было призвано резко увеличить университетские доходы и, следовательно, избавить Венецию от чрезмерных затрат. Решение такого характера прекрасно вписывается в ее общую политику сокращения расходов на восстановление хозяйства городов террафермы.

Однако помимо необходимости борьбы с кризисом, политику Венеции в этой сфере предопределяли и иные факторы. В связи с этим отметим, что помощь была оказана именно университету Падуи, не самому древнему, но, бесспорно, наиболее известному из университетов террафермы. В относящихся к нему документах Большого Совета неоднократно повторялась фраза о том, что те или иные решения принимаются с целью “поддержать его на вершине” (“*tenere studium paduani in culmine*”), и в этом заявлении можно увидеть не только экономическое содержание. А если учесть, что популярность университета являлась залогом высокого авторитета государства, в ведении которого он находился, то слова о поддержке становятся гораздо более значимыми.

К тому же принятые меры едва ли способствовали решению экономических проблем. В сентябре 1407 г. Коллегия Сената, признавая, что денег, выделенных на университет ранее, не хватает, позволила увеличить затраты, однако так, чтобы они не превышали границу в 4000 дукатов. Уже само по себе это ограничение указывало на то, что увеличение расходов не было избавлением от финансовых затруднений; впрочем, средств было явно недостаточно²³. Проблема привлечения преподавателей продолжала сохранять свою актуальность; в этой ситуации, прибытие в Падую Гаспарино Барциццы, одного из наиболее видных культурных деятелей города той эпохи, некоторое время преподававшего в Венеции, стало настоящей сенсацией. В самом конце марта 1408 г. появилось предписание потратить сумму в 1500 дукатов на жалование профессорам, что должны были сделать в первую очередь те факультеты, на которых нехватка преподавательского состава ощущалась особенно остро. Тогда же был повторен запрет на обучение в каком бы то ни было другом университете, кроме падуанского. Сумма штрафа за нарушение этого предписания была увеличена до 500 дукатов²⁴, т.е. достигла огромных размеров, что указывало на необходимость привлечения в университет именно богатых учеников, “людей со средствами”. Решить проблему кризиса в сжатые сроки не удалось. Прежде всего этому препятствовало сохранявшееся тяжелое экономическое положение в самой Падуе, эпизодические улучшения которого быстро сменялись новыми осложнениями. Любопытным свидетельством этого является документ Сената от 5 декабря 1411 г. В нем говорилось о том, что Малатеста ди Малатеста, синьор Римини, сын которого обучался в падуанском университете, предпринял попытку отправить ему в Падую немного продовольствия (“сто четвериков пшеницы”) и вина (“три амфоры”), однако таможенные служащие не пожелали дать разрешение на провоз продуктов, в связи с чем венецианскими властями было приказано не чинить в этом смысле никаких препятствий²⁵.

По причине трудностей материального характера наряду с попытками увеличения числа преподавателей предпринимались и действия по предотвращению ухода из университета тех, кто уже в нем числился. В марте 1412 г. Сенат предписал ректорам продлить контракты с профессорами еще на два года, чтобы тем самым лишить их возможности перехода²⁶. Нехватка профессоров и пониженные требования к ним неоднократно приводили к тому, что те преподаватели, которые получали доступ в университет, не соответствовали его уровню, вследствие чего властям города и представителям венецианской администрации приходилось вмешиваться и применять наказания²⁷.

Выходя за установленные нами хронологические рамки, отметим, что подобные меры по преодолению кризиса и поддержанию высокого статуса падуанского университета практиковались правительством Республики на протяжении всего XV столетия. Неоднократно, в том числе и в последующее время, повторялся запрет на обучение где-либо, помимо университета Падуи; нарушителям грозил отказ признания полученных ими дипломов²⁸. Риск

венецианского правительства в данном случае был велик: Падуя, по сравнению с другими университетскими центрами, слыла достаточно свободолюбивым городом, отнюдь не строгих нравов, а чуть позже, во времена Реформации, обилие школяров из Германии и вовсе создавало основу для конфликтов на религиозной почве, ставя под угрозу спокойствие обучения и благополучие последующей карьеры. Тем не менее правительство Республики Святого Марка не отступило от своих решений. Одной из основных причин, как мы говорили выше, была экономическая: средства, затрачиваемые школярами на обучение, давали неплохой приток доходов в казну города²⁹. В то же время, нельзя не упомянуть о других мотивах, подтолкнувших власти Республики на столь существенное обособление падуанского университета. Превращение его в главный и по сути единственный университет венецианской террафермы может быть рассмотрено в контексте целенаправленной государственной политики, призванной обозначить новый статус и новый образ Венеции в глазах других государств. Этот процесс активно стимулировался венецианским обществом, интерес к получению образования в котором в этот период заметно возрастал.

Обучение и его роль в восприятии венецианцев отличались рядом особенностей. Несмотря на то что по соседству находились столь крупные университетские центры, как та же Падуя, Виченца или более отдаленная, но не менее авторитетная Болонья, Венеция не занимала место в их ряду: собственного университета у нее не было. Не был развит и принцип публичности учебных заведений: школа (в отличие от городов террафермы) не воспринималась как институт общественного характера, и основой венецианского образования было и оставалось к началу XV в. частное преподавание³⁰. Государство в этих вопросах отступало на второй план. Первые публичные школы, как, например, школа Риальто, начали появляться в Венеции лишь с 20-х годов XV в.³¹

Все это прекрасно характеризовало общее положение дел: получение широкого образования для большинства венецианцев не было чем-либо значительным, ибо не являлось необходимым для их основных занятий, в первую очередь, для торговли. Однако, если для XII–XIII вв. это утверждение может считаться справедливым, то уже в XIV столетии произошли определенные изменения: жители Венеции начинали по-иному смотреть на обучение и те возможности, которое оно предоставляло.

В немалой степени этому способствовало возрастание роли университетов во всей Европе; многие венецианские патриции, связанные в силу своих занятий с другими европейскими и итальянскими государствами, также стараются следовать этой общей тенденции, не оставаясь от нее в стороне. В XIV в. уже не составляет большого труда найти венецианцев среди студентов Лондона, Парижа, а также ряда итальянских городов, к примеру, Болоньи, Модены, Перуджи. Путь Джованни Контарини, получившего в Оксфорде степень “magister artium”, затем изучавшего теологию в Париже, что открыло

ему путь к блестящей церковной карьере (трон патриарха в Константинополе)³², при всей величине его успеха, все же уже не кажется уникальным и неповторимым. Возрастает количество венецианцев и в университете Падуи: к примеру, в списке дипломированных знатоков права (“*doctorum utriusque Juris sacratissimi collegii Paduani*”, составленном в 1382 г., было восемь венецианцев, причем по этому показателю они почти догнали выходцев из других городов, в том числе и тех, кто традиционно был широко представлен в университете, свидетельства чему мы находим в университетских документах³³. Со временем этот процесс становился все более очевидным, и на него не оказал значительного влияния даже конфликт между Падуей и Венецией в конце XIV века, по причине которого некоторые венецианцы предпочитали проходить обучение в других университетских центрах, в частности, в Болонье³⁴. В конце XIV – начале XV в. многие венецианские патриции получили в университете Падуи ученые степени в различных дисциплинах, связанных с правом и юриспруденцией; среди них были Паоло Фоскари, Лоренцо Бадозер, Фантино Дандоло, Николо и Пьетро Морозини³⁵.

Параллельно с этим происходили изменения в преподавании и в самой Венеции. Оно оставалось частным, но количество профессоров в XIV в. заметно увеличилось. В период между 1300 и 1450 гг. в Венеции в среднем одновременно находилось примерно 50–60 человек, занимавшихся частным преподаванием; они прибывали не только из Ломбардии и ближайших городов, но также из Пьемонта, Романьи, Тосканы, Лация и Южной Италии (вплоть до Сицилии), а также из Франции, Германии, Португалии³⁶. Они преподавали грамматику и основы счета; обычно у одного преподавателя было около дюжины учеников, уроки устраивались в частной школе, зачастую размещавшейся непосредственно в доме учителя³⁷. Несмотря на отсутствие публичных учебных заведений и, следовательно, неучастие государства в процессе образования, власти Республики постепенно начинали поддерживать этот процесс роста интереса к получению знаний: некоторым преподавателям оказывалась милость в виде предоставления венецианского гражданства, а наиболее известным из них даже выплачивалось государственное жалование³⁸. В XIV в., впрочем, это было лишь эпизодическим явлением, и куда большее распространение система государственных дотаций на образование получит позже, ближе ко второй половине следующего столетия.

Следствием этих перемен было возрастание значения образования, его роли в последующей карьере, в достижении успеха. Одним из показателей подобного восприятия является, в частности, изменение отношения к книгам: в XIV в. все больше венецианцев начинают собирать у себя библиотеки, книги становятся предметом гордости, ими обмениваются, их передают по наследству, их даже похищают и затем перепродают с большей выручкой³⁹. Интерес к книгам и библиотечным коллекциям возрастал и на государственном уровне: обладание широким собранием произведений известных авторов превращается в элемент государственного престижа, и в 1362 г., по приезде

в Венецию Франческо Петрарки (он пробыл там шесть лет), представители венецианских властей выражают готовность взять на себя все расходы поэта в обмен на передачу городу собранной им библиотеки. Таким образом, государство не остается в стороне от происходящих культурных процессов, более того, принимает в них активное участие, что является еще одним свидетельством большого значения, которое приобретает образование и его элементы для венецианского общества и прежде всего для высших слоев.

Получение образования все чаще воспринималось как немаловажный и в большинстве случаев почти необходимый элемент общей подготовки к последующей профессиональной деятельности, независимо от того, какой именно характер (государственный или частный) она будет иметь. В самом конце XIV в. венецианский патриций Симоне Валентини, составляя завещание, наказал своим детям, сыновьям Джованни и Валентино и дочери Джакомине, продолжать учебу, не повторяя его собственной ошибки: сам Симоне, в молодости проявлявший интерес к наукам, впоследствии забросил их, посвятив все свое время главному занятию – торговле. Его дело должны были наследовать его дети, однако, только лишь пройдя перед этим необходимое обучение: по предписанию Симоне, они должны были посещать школу какого-либо известного преподавателя, обучиться грамматике, затем перейти в школу счета, а в завершение (“как было бы угодно родителям”) – почитать поэтов, изучить основы философии и естественных наук, закончив свое образование познанием основных элементов метафизики⁴⁰. Обучение детей постепенно становилось нормой: выходцы из семей патрициев должны были быть хорошо подготовлены, чтобы затем достойно выглядеть на государственном посту или во время поездок в другие города и при общении с известными личностями. Когда Гаспарино Барцицца, падуанец, преподававший в Венеции и имевший там круг учеников, принял в октябре 1407 г. решение переехать в Падую и начать работу в университете, Джованни Корнаро, венецианский патриций, чей сын обучался у Барциццы, в срочном письме настоятельно просил его порекомендовать другого учителя. Барцицца направил к нему одного из своих друзей, также жителя Падуи, снабдив его хорошей рекомендацией⁴¹.

Постепенно увеличивалось и количество образованных патрициев, занимавших ведущие государственные должности. Некоторые из них брались даже за изучение греческого языка, что в то время было весьма редким явлением. Среди них выделялись Паоло Дзане (венецианский посол в Константинополе), Джованни Квирини, Пьетро Марчелло, чуть позже – Пьетро Донато, архиепископ Крита и епископ Падуи, в распоряжении которого находилась богатая библиотека греческих манускриптов⁴². Одним из первых венецианских патрициев, занявшихся этим делом, стал Карло Дзено, герой войны в Кьодже, во время отправления многочисленных государственных должностей не раз бывавший в венецианских факториях на Черном море, а также в самом Константинополе⁴³; наиболее активно он изучал греческий язык уже на склоне своей жизни, незадолго перед смертью, хотя первые опыты делал

гораздо раньше⁴⁴. Франческо Барбаро, венецианский патриций и один из наиболее образованных людей своего времени, уже в возрасте 24 лет делал переводы на латынь Плутарха, принесшие ему первую славу на литературном поприще⁴⁵. Греческим языком, по всей вероятности, владел и Дзаккария Тревизан – бесспорно, выдающаяся фигура в венецианском обществе начала XV в., как в государственном и общественном, так и в культурном плане, чиновник, получивший образование в Падуе и Болонье и затем занимавший различные государственные посты, сочетая службу с занятиями литературным творчеством⁴⁶.

Пример Дзаккарии Тревизана, сочетание широкой образованности и активной деятельности на государственных постах, при всех его особенностях, не был уникален. Интерес к обучению, взаимосвязь между ним и карьерой в то время проходили лишь первую стадию в своем развитии, и на многих представителей патрициата, не говоря уже о других общественных слоях, они еще не распространялись. Более четкие очертания “новое венецианское общество” приобретет уже в течение XV в.; к началу этого столетия относится его зарождение в качестве особого социального явления. Свидетельством этого изменения могут служить, помимо Дзаккарии Тревизана, биографии Андреа Джулиана, ученика Гаспарино Барциццы и активного государственного деятеля (помимо прочего, он занимал пост главы Налоговой Палаты Падуи в 1409–1410 гг.), интересовавшегося литературой и словесностью и ставшего автором нескольких речей на латыни⁴⁷, Леонардо Джустициан⁴⁸, Франческо Барбаро (ставшего подеста Виченцы в феврале 1425 г.), его брата Эрмолао⁴⁹, семейства Бембо⁵⁰, Пьетро Томмази, Фантино Дандоло, Пьетро Миани, Даниэле Виттури, Андреа Корраро и других⁵¹. Решающим в процессе получения образования для всех них стало участие в нем преподавателей, учителей и наставников с террафермы; таким образом, образовывался еще один канал связи между Венецией и городами, перешедшими под ее власть. Выходцы из них, деятели культуры, занимавшиеся творчеством, своей деятельностью внесли весомый вклад в создание нового образа Республики и ее жителей и его распространение за ее пределами.

2. Выходцы с террафермы в Венеции: новые реалии, новые возможности

События начала XV в., завершившиеся переходом городов террафермы под власть Венеции, заставили их жителей по-иному взглянуть на венецианцев: новые условия способствовали развитию новых связей и изменению тех отношений, которые существовали прежде. Количество выходцев с террафермы, так или иначе связывавших свою жизнь с Венецией, заметно возросло; подобная тенденция была характерна и для ее творческой элиты. Это вовсе не означало появления единства мнений: оценка венецианской экспансии в целом оставалась весьма неоднозначной. Вступление войска и представителей

Венеции в города террафермы сопровождалось пленением или изгнанием их прежних правителей, что уже само по себе могло быть воспринято по-разному. Однако возможная критика и недовольство не могли отвлечь внимание от главного: в сложившейся обстановке Венеция становилась новым ориентиром, привлекающим внимание и предоставляющим широкие возможности деятельности, тем более с учетом возрастания у многих венецианцев интереса к знаниям и получению хорошего образования. Культурная элита террафермы, люди, прежде творившие при дворах своих синьоров, оказались востребованы и в новых обстоятельствах. При этом их отношение к Венеции могло быть различным, от открытой поддержки до недоверия и неприязни.

Формат данного исследования не позволяет проанализировать биографии всех деятелей культуры террафермы, оказавшихся в начале XV в. в Венеции, хотя следует отметить, что источниковая база в данном случае весьма широка, в основном по причине обширных публикаций материалов эпистолярного жанра⁵². Мы ограничимся сравнением биографий наиболее известных в культурной среде выходцев из трех рассматриваемых нами городов террафермы – Антонио Лоски из Виченцы, Гварино Гварини из Вероны и Пьер Паоло Верджерио из Падуи, в творческой судьбе каждого из которых был свой, и притом весьма немаловажный, “венецианский” период.

Начать следует с Антонио Лоски (1365–1441). Его биография, как и творческий путь, в меньшей степени известны исследователям, по сравнению с судьбой его более прославленных современников. Антонио Лоски был уроженцем Виченцы. Переход его родного города под власть Вероны в начале XIV в. (в 1313 г.) стал началом роста авторитета его семьи. Дед Антонио Лоски, а затем и отец сделали карьеру при дворе Скалигеров, и аналогичный жизненный путь ожидал его самого (по одной из версий, он даже свое имя получил в честь Антонио делла Скала⁵³). В молодости Антонио Лоски интересовался литературой, познания в которой, вместе с жизненным опытом, заметно обогатились после его путешествия по Италии, во время которого он гостил при дворе короля Неаполя. Бурные события конца XIV в., связанные с завоеванием Виченцы и Вероны герцогом Милана, внесли значительные изменения в его карьеру; он перешел на службу к Джангалеаццо Висконти и стал одним из наиболее преданных его сторонников. Продолжая занятия творчеством⁵⁴ и имея возможность наряду с этим получить пост при папской курии, Лоски активно участвовал в политической жизни, поддерживал семейство Висконти даже после смерти Джангалеаццо и предпринимал многочисленные попытки сохранить в составе Милана свою родную Виченцу (сделав ряд публичных выступлений, одно из которых состоялось в 1403 г.)⁵⁵. Однако вскоре город перешел под власть Венеции. Завершение в 1406 г. войны с Падуей и расширение границ Венецианской Республики на терраферме должны были получить одобрение папы; в этих условиях Антонио Лоски, занимавший до этого пост архипресвитера в Падуе, оказался наиболее подходящей кандидатурой. 19 июня 1406 г. специальным распоряжением дожа

Микеле Стено ему было предписано направиться в Рим и, цитирую по тексту предписания, “почтительно изложить нашу позицию”⁵⁶. В дальнейшем карьера Лоски при папской курии была продолжена; он сопровождал понтифика в Болонье и затем получил статус его секретаря. При этом Лоски не прекращал контактов с правителями Милана и оставался на их стороне, в частности, во время конфликта с Генуей, о чем он писал, например, в письме миланскому герцогу в июле 1412 г., выражая сожаление по поводу превратностей судьбы, выпавших на долю Миланского герцогства⁵⁷. Не прекращалась и переписка Лоски с теми, кого он знал еще по службе при дворе Висконти, к примеру, с полководцем Якопо даль Верме.

Иначе сложились отношения с Венецией у другого известного культурного деятеля эпохи – Гварино Гварини из Вероны (1374–1460). К моменту своего прибытия в Венецию Гварино был уже известным человеком. Этому предшествовало его длительное пребывание в Константинополе, где он, будучи секретарем венецианского посла в этом городе, Паоло Дзане, смог изучить греческий язык и познакомиться с византийской культурой. Вернувшись из Константинополя в 1408 г., Гварино некоторое время путешествовал по городам Италии. В своей родной Вероне он застал окончание срока отправления должности капитана Дзаккарией Тревизаном, другим достаточно известным культурным и общественным деятелем той эпохи, и посвятил ему прощальную речь. В Болонье, где размещалась папская курия, он общался с Антонио Лоски, Франческо Дзабареллой, Поджо Браччолини и Леонардо Бруни. Затем была поездка во Флоренцию по приглашению Бруни, дискуссии о литературе с различными любителями словесности, среди которых был и маркиз Карло Малатеста из Римини. В середине 1414 г. во Флоренцию прибыл Франческо Барбаро; несмотря на молодость (ему было тогда 25 лет) он уже успел зарекомендовать себя как любитель словесности и человек, интересующийся литературой, в глазах многих культурных деятелей того времени. Он был принят семейством Медичи – Джованни де Биччи де Медичи и его сыновьями Козимо и Лоренцо, связь с которыми он поддерживал и впоследствии. Вместе с Барбаро Гварино покинул Флоренцию в июле 1414 г.; проездом через Болонью (где размещался в то время двор папы Иоанна XXIII) они добрались до Венеции по реке По. Компанию им в путешествии составил Мануил Хрисолор, которого они встретили в Болонье. Гварино хорошо его знал, ибо именно под влиянием Хрисолора он в свое время принял решение отправиться в Константинополь.

Будучи во Флоренции, Гварино не прекращал переписку со своими знакомыми венецианцами. С некоторыми он познакомился еще до своего византийского путешествия, с другими – уже после его окончания; Джованни Микель, Николо Контарини, Марко Липпомано, будущий архиепископ Крита Пьетро Донато, братья Барбаро, Дзаккария и молодой Франческо – вот далеко не полный список его венецианских корреспондентов⁵⁸. Неудивительно поэтому, что в Венеции его ждали многие. Сразу по приезде Гварино стал

преподавать, в короткое время собрав вокруг себя множество учеников. Уже в начале 1415 г. он, хотя и немного иронично, но тем не менее с нескрываемым удовольствием писал в послании своему другу Бартоломео, сколь его ценят и почитают новые слушатели – они воздают ему хвалы и слова благодарности, о которых ранее нельзя было и мечтать⁵⁹. Он обзавелся собственным домом (в самом начале своего пребывания в Венеции он пользовался гостеприимством Франческо Барбаро), и этот дом быстро наполнился студентами. Используемая Гварино система обучения, состоявшая из начального курса грамматики (с элементами греческого языка и чтением древних авторов) и риторики (переводы Цицерона и Квинтиллиана), принесла ему известность как преподавателю⁶⁰; его речи на латыни, переводы с греческого, а также литературные успехи его учеников, главными из которых были Франческо Барбаро, Леонардо Джустиниан и Андреа Джулиан, прославили его как мастера словесности и умелого педагога. Гварино часто ездил в Падую и Верону; в Падуанском университете его всегда ожидал теплый прием со стороны Гаспарино Барцицци и его учеников. В то время авторитет Гварино уже практически не подвергался сомнению, и он пользовался своим статусом для устранения возможных конкурентов. Однажды во время очередного пребывания Гварино в Падуе, молодой студент Георгий из Трапезунда (его привез в Венецию Франческо Барбаро и у него Георгий некоторое время был писцом), осмелился поправить его латынь. Этим он спровоцировал целый диспут; их отношения были испорчены, и даже несколько лет спустя после того случая, когда Георгий Трапезундский был изгнан из Виченцы, едва начав там преподавательскую деятельность, он обвинял в этом именно Гварино, не желавшего иметь рядом с собой конкурента⁶¹. Спустя несколько лет, в 1419 г., Гварино принял решение оставить Венецию. Он уже покидал ее в 1416 г. во время чумы, однако в 1417 г. вновь вернулся. Теперь же он принял решение уехать из Венеции окончательно. Вероятной причиной стало желание заниматься творчеством на более серьезном уровне: для этого нужно было работать в более авторитетном городе, а не в шумной Венеции, где он не мог, откровенно говоря, найти настоящих ценителей-знатоков словесности. Иными словами, Венеция была недостаточно престижна, не соответствовала его уровню как преподавателя и литератора⁶². Другим поводом уехать стал чрезмерно быстрый для Гварино ритм венецианской жизни: он неоднократно писал об этом своим корреспондентам (хаотичная Венеция – “причина первых седых волос на моей голове”⁶³), делаясь с ними радостью по поводу переезда в более скромную и уютную Верону, на собственную виллу. Кстати, этот переезд был совмещен с женитьбой Гварино на Тедее Дзендрата. Из Вероны Гварино в 1429 г. отправился в Феррару, воспользовавшись приглашением маркиза д’Эсте.

Особый интерес представляют отношения с Венецией у третьего из названных нами педагогов и писателей – Пьера Паоло Верджерио (1370–1444). Он был сыном венецианского подданного, жителя Каподистрии, и родился

в этом городе. Верджерио учился сначала в университете Падуи⁶⁴, затем в Болонье (в 1388–1389 гг.). Обстановка в этом городе, активная университетская жизнь стали естественным стимулом к первым литературным опытам: именно там он создал комедию “Paulus” (“Паулус”), написанную на латыни и посвященную теме исправления нравов юношества. В Болонье он и позже бывал еще не раз, уже в качестве профессора, посетив до этого Рим и Флоренцию и познакомившись во время этих путешествий с Колуччо Салютати и кругом его друзей, в который его ввел падуанец Франческо Дзабарелла, а также с Леонардо Бруни. Это было время его активных занятий литературой.

В начале 1390-х годов, после восстановления в Падуе власти семейства Каррара, Верджерио принял решение вернуться в этот город; широкая образованность позволила ему сблизиться с правителями Падуи и стать наставником и воспитателем молодого Франческо Новелло да Каррара, а затем и его сыновей, Марсилио и Убертино. Его присутствие при дворе падуанских синьоров соответствовало их общей политике в области культуры и искусства. Последнее десятилетие XIV в. и самое начало XV в. стали периодом активной творческой деятельности Верджерио: он составляет множество речей на латыни, создает другие произведения, в частности, жизнеописания членов семейства правителей Падуи. По сути он становится придворным литератором, именно ему поручается написание надгробной речи в 1393 г., когда умер Франческо Веккьо, один из наиболее ярких представителей этого семейства. Уже в начале XV в. Верджерио создает произведение, которое большинство исследователей считает основным в его творческой карьере – трактат “De ingenuis moribus et liberalibus studiis” (“О благородных нравах и свободных науках”), посвященный Франческо Новелло да Каррара, его ученику, ставшему правителем Падуи. В этот период растет авторитет Верджерио среди творческой элиты и любителей литературы. Он сохраняет и активно поддерживает старые знакомства (в частности, ведет переписку с Франческо Дзабареллой, а в 1398 г., когда папа Бонифаций IX пожелал узнать мнение Дзабареллы о способах окончания схизмы, сопровождает его в Рим⁶⁵) и заводит новые, в том числе в Венеции, где он бывает весьма часто. Верджерио переписывается с Карло Дзено; этот венецианский патриций, в конце XIV – начале XV в. исполнявший немало должностей, так или иначе связанных с городами террафермы, и не раз там бывавший, в 1402 г. женился (это был его третий брак) на Марии Спелати, вдове Кольмана Верджерио и матери Доменико и Джованни Верджерио, и сблизился с этим семейством⁶⁶. Одним из первых знакомых Верджерио еще в самом начале 1390-х годов стал венецианский патриций и общественный деятель Дзаккария Тревизан.

Пьер Паоло Верджерио покинул Падую незадолго до того, как ворота города были открыты венецианским войскам. Знакомства, завязавшиеся в Болонье, а также путешествие в Рим с Франческо Дзабареллой дали ему возможность сблизиться с окружением папы. Еще в конце XIV в. он пере-

писывался с Козмо Мильорати, будущим папой Иннокентием VII. В 1405 г. Верджерио получил место при папской курии, став одним из ее секретарей. Он сохранил эту должность и при преемнике Иннокентия VII, венецианце Григории XII (тот стал папой в декабре 1406 г.), сопровождая его во многих путешествиях по Северной и Средней Италии.

Столь долгая служба была достойна особой награды; находясь при папском престоле, Верджерио достигивал на долгосрочную службу и повышение по статусу. Об ином пути карьеры он, как представляется, в то время не помышлял: поражение семейства Каррара, при котором он находился, радикальные изменения в судьбе города, с которым был связан наиболее активный и плодотворный период его “итальянской” жизни, оказало на него немалое влияние, и он не желал более участвовать в политике. В 1408 г., находясь вместе с понтификом в Римини, Верджерио заговорил с ним о возможностях получения более высокой должности. К тому же ситуация сложилась весьма благоприятная: он мог претендовать на пост каноника и декана церковной кафедры Чивидале. О своем желании получить этот пост Верджерио неоднократно сообщал в письмах друзьям⁶⁷. Дело казалось почти решенным: он был идеальным кандидатом, имел прекрасное образование и высокий авторитет, а также множество знакомств, в том числе и в окружении папы.

Однако в дальнейшем события приняли непредвиденный оборот. Между Верджерио и Григорием XII произошел разрыв, о причинах которого практически ничего не известно. Фактом остается то, что должность главы деканата и канониката Чивидале была отдана другому претенденту, а карьера Верджерио при папской курии оказалась под угрозой. Члены семейства Коррер, его покровители (напомним, что сам Григорий XII, или Анджело Коррер, происходил из этого рода), с трудом убедили его остаться в Венеции в надежде на возможное примирение⁶⁸. Однако отношения между Верджерио и папой не улучшились; спустя год после этих событий, в 1410 г., Верджерио окончательно отошел от службы и вскоре после этого вернулся в родную Каподистрию. Этот период его биографии представляет для нас наибольший интерес: предположительно именно тогда, во время своего пребывания в Каподистрии, Верджерио создал первые наброски своего трактата “О Венецианской Республике” (“De Republica Veneta”)⁶⁹.

Трактат не был завершен; по сути, повторим, в распоряжении ученых имеются лишь его наброски. Дискуссия по поводу точной датировки работы Верджерио слишком обширна и выходит за рамки данной статьи⁷⁰; упомянем лишь, что определенные детали как самого текста, так и биографии автора, позволяют предположить, что трактат был написан все же после перехода Падуи и других городов террафермы под власть Венеции. По своему замыслу и по стилистике сделанных набросков трактат “О Венецианской Республике” близок к “энкомиям” – произведениям, служившим прославлению того или иного города и писавшихся, как правило, их жителями. В рассматриваемый период подобные сочинения появлялись во многих городах Апеннинского

полуострова; такого рода творчеством занимались известные культурные деятели, в частности – флорентийские гуманисты (Леонардо Бруни и др.), к кружку которых был близок в свое время и Верджерио, еще во время своих путешествий, в конце 1380-х годов, познакомившийся с Бруни и Колуччо Салютати и позже поддерживавший с ними переписку. Таким образом, трактат “О Венецианской Республике” можно расценить и как попытку попробовать себя в новом жанре, в некотором роде как подражание, тем более, что у Верджерио уже был некоторый историографический опыт, полученный им еще во время службы при дворе Каррара. Следует отметить, что для нашего исследования работа “О Венецианской Республике” важна не только по своему содержанию, но в особенности как символ, как доказательство того, что такой труд мог быть создан в рассматриваемый нами период, и к тому же, таким автором, как Пьер Паоло Верджерио, на судьбу которого случившиеся в начале XV в. перемены оказали столь сильное влияние. Из всех творческих людей террафермы того времени Верджерио был, пожалуй, наиболее противоречивой и сложной фигурой, а сама идея написания подобного труда, посвященного именно Венеции, ценна для понимания того значения, которое приобретала Республика для жителей подчиненных территорий, а также того вклада, который был ими сделан в развитие ее культуры.

В 1414 г. Пьер Паоло Верджерио навсегда покинул Апеннинский полуостров, откликнувшись на приглашение императора Сигизмунда Люксембургского последовать за ним сначала в Богемию, а затем в Венгрию. Следует отметить, что решение покинуть Венецию и продолжить работу в других городах Италии было в целом характерным для многих выходцев с террафермы, занимавшихся той или иной творческой деятельностью в Венеции. Несмотря на подчас достаточно широкое признание, гуманисты, приезжавшие из городов террафермы, не видели в Венеции пристанища на долгий срок. Можно выделить несколько причин этого факта. Одной из них можно было бы считать гражданский статус: получить полноценное, т.е. дававшее не только экономические привилегии, но и политические права гражданство было практически невозможно без прямого пожалования от венецианских властей, что не устраивало многих из тех, кто прибыл туда на длительный срок. Тем не менее ряду выходцев с террафермы удалось получить венецианское гражданство *de extra* (предоставлявшее значительные привилегии с точки зрения налогов и ведения экономических дел на территории Венеции), а на большее рассчитывать уже не приходилось никому, за исключением тех знатных семей, которые были допущены непосредственно к управлению Республикой. К слову, гражданство *de extra* получил в 1420 г. Кристофоро да Скарпа, уже упомянутый нами житель Пармы, прибывший в Венецию преподавать. Другой причиной, вероятно, было несогласие ряда гуманистов с политическим и общественным устройством Венеции. Известны высказывания на эту тему Антонио Лоски, Гварино Гварини, Пьер Паоло Верджерио, Джованни Конверсино да Равенна и других. Они в данном случае разделяли взгляды Петрарки, одобрявшего

сильную единоличную власть. Несомненно, свое мнение на этот счет гуманисты предпочитали высказывать с максимальной осторожностью; впрочем, все они гораздо охотнее служили при дворе синьоров, что видно по уже рассмотренным нами биографиям Антонио Лоски, Гварино Гварини и Пьер Паоло Верджерио. Наконец, третьей причиной правомерно считать стремление к уединенному творчеству. Некоторые из них, несмотря на возможность вести занятия и иметь учеников, предпочитали уединенное творчество у себя на родине или при дворе иного правителя. Отметим, что в данном случае слово уединение не является синонимом отдаленности: гуманисты искали возможность творить в покое, будучи тем не менее востребованными обществом и государем. Именно этого искал Гварино в Ферраре, а Пьер Паоло Верджерио – в Падуе, а затем при дворе императора. Именно по этой причине тому же Верджерио было столь тягостно находиться в одиночестве в Каподистрии, вдали от важных общественных событий. Ради возможности спокойного творчества они были готовы расстаться со своими учениками. Так, Марино Санудо-младший в своем произведении “Путешествие по венецианской терраферме”, упоминая об Антонио Лоски и отмечая его большие заслуги, выражает удивление по поводу того, что столь талантливый человек имел так мало учеников и последователей среди венецианцев⁷¹.

Роль Венеции в судьбах этих людей была неоднозначной, однако, “венецианский период” творчества в любом случае оставался значимым этапом их карьеры. Антонио Лоски, согласившись в первое время тесно сотрудничать с венецианскими властями, в конечном итоге удалился от активной государственной службы, несмотря на заманчивые перспективы. Гварино Гварини, напротив, за годы, проведенные в Венеции, еще более упрочил свою репутацию педагога, что позволило ему затем перебраться в Феррару. Наконец, Пьер Паоло Верджерио, как представляется, сделал даже попытку создать панегирик Венецианской Республике, желая, возможно, быть принятым на службу, несмотря на то что в своих сочинениях придерживался иной точки зрения на современные политические события.

Для просвещенных жителей Венеции, для тех, кто стремился открыть для себя новый мир творчества, это сотрудничество с известными гуманистами, сколь бы кратким оно ни было, в равной степени оставалось неоценимо важным. Они по праву считали себя их учениками. Доказательства мы можем обнаружить в неоднократно цитировавшейся нами переписке венецианских патрициев и их наставников. Так, по эпистолярному наследию Франческо Барбаро мы можем судить о том, каким широким был круг его корреспондентов, которые жили во многих крупнейших городах Апеннин. Тот же Барбаро посвятил свое наиболее известное произведение “De re uxoria” (трактат, написанный в 1416 г. и представлявший собой собрание высказываний по поводу брака и бракосочетания) флорентийцу Лоренцо Медичи, с которым познакомился ранее через Гварино. В Венеции гуманисты из Падуи, Вероны, Виченцы имели немало учеников; в Венеции они приобретали друзей и

покровителей, получая возможность заниматься творческой деятельностью, которая вызывала интерес. XV век стал временем настоящего расцвета гуманистической культуры в среде патрициата, и многие из тех, кто какое-то время жил в Венеции, затем получали приглашения от правителей других городов – Феррары, Мантуи, Римини и т.д. Те, кто покидал Венецию, в любом случае сохраняли контакты со своими учениками и последователями. В заключении письма одному из друзей, отправленного уже из Вероны в октябре 1420 г., Гварино Гварини написал: “Ведь ты не будешь отрицать, скольким он обязан Венеции, которая дала ему образование, снабдила должностями, помогла завести множество знакомств, и притом настолько важных, что, если он отказывается от этого, требуя лучшего, то пусть он будет уличен в гораздо большей неблагодарности”; при том, что в данном случае эти слова были сказаны о Кристофоре Скарпа, прибывшим из Пармы в Венецию в 1409 г. и решившем покинуть ее в 1420 для преподавания в Виченце⁷². Этими словами можно описать точку зрения большинства тех выходцев с террафермы, которые прибывали в Венецию в первой четверти XV в.

Подводя итоги, отметим несколько основных выводов нашего небольшого исследования. Контакты различного рода, устанавливаемые между Венецией и подчиненными ей городами террафермы в первые годы после их завоевания, затрагивали, помимо прочего, сферу культуры. О самостоятельной культурной политике, применительно к рассматриваемому периоду, говорить трудно; тем не менее в первой четверти XV в. правительство Республики, пусть и решая приоритетные задачи социально-экономического характера, предпринимает ряд шагов, составивших основу для последующего развития культуры венецианского государства. Одним из объектов его особого внимания стал университет Падуи, наиболее известный университет террафермы. Время его наибольшего расцвета приходится на вторую половину XV–XVI в.: в этот период это бесспорно лучший университет Италии и один из самых известных и престижных университетов Европы, в котором уважение к традициям выгодно сочетается с вниманием к новым наукам⁷³. Проведенные реформы и оказанная ему помощь имели своей целью не только восстановить процесс обучения в былом масштабе, найдя пути выхода из вызванного войной экономического кризиса и сумев привлечь в город студентов и преподавателей, но и придать университету совершенно иной статус, превратить его в центр образования как для жителей террафермы, так и для граждан Венеции, оказав ему покровительство на государственном уровне и сделав его важным звеном в системе взаимоотношений, как в экономическом, так и в социокультурном плане.

В немалой степени этому способствовал рост интереса к знаниям и творчеству со стороны самих венецианцев; в среде патрициев образованность приобретала все больший вес, что способствовало привлечению в город деятелей культуры из других регионов Италии. Многие представители патрициата стремились соответствовать этой новой моде. Уже совсем скоро Эрмолао

Барбаро, ученик Гварино в Вероне в 1420-х годах, произнесет свою известную фразу – “Я знаю только двух Богов: Христа и словесность”⁷⁴; и в связи с этим пример Лодовико Фоскарини, капитана Падуи 1456–1457 гг., для которого литературное творчество было одним из главных занятий в жизни (известны его слова о собранной им библиотеке – “книги составляют мое счастье”⁷⁵), не кажется столь необычным. Таким образом, укреплялась основа регионального статуса Венецианского государства; его “новый образ” создавался “новыми людьми”, учителями и собеседниками многих из которых были выходцы из городов террафермы. Тема культурного взаимодействия между Венецией и террафермой приобрела большое значение как на частном, так и на государственном уровне; новые владения Венеции на терраферме сыграли важную роль в повышении ее престижа на Апеннинах и за пределами Италии.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Monteverdi A. Lingua e letteratura a Venezia nel secolo di Marco Polo // Storia della civiltà veneziana. Vol. 1. Dalle origini al secolo di Marco Polo / A cura di V. Branca. Firenze, 1979. P. 359.*

² *Baron H. The Crisis of the Early Italian Renaissance. Vol. 1. Princeton, 1955. P. 57–58.*

³ *Арган Д.К. История итальянского искусства. М., 2000. С. 190.*

⁴ О связи Петрарки с Франческо де Каррара см., например: *Девятайкина Н.И. Петрарка и политика: историческая реальность и идеалы // Средние века. Вып. 56. М., 1993. С. 56–58; о визите Петрарки в Падую в марте 1349 г. по приглашению синьора города Якопо да Каррара см.: Ferrante G. Lombardo della Seta umanista Padovano (?–1390) // *Atti del R. Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. Anno 1933–1934. T. XCIII. P. II. P. 445–447; о Данте и его пребывании в Вероне см.: Biadego G. Dante e l’umanesimo veronese // Nuovo Archivio Veneto. N.s. Anno V. T. 10. 1905. P. 394 e segg.**

⁴ *Nardi B. Scuola di Rialto e l’umanesimo veneziano // Umanesimo europeo e umanesimo veneziano / A cura di V. Branca. Firenze, 1964. P. 96–97.*

⁶ *Dalla Pozza A.M. La cultura vicentina nel primo cinquecento della dominazione veneziana. Vicenza, 1970. P. 80–93.*

⁷ Это отмечалось многими творческими людьми Падуи того времени: к примеру, Пьер Паоло Верджеро (“Pacis autem studia haec erant ut aedificia tum publica cum privata conderet...” (*Vergerio P.P. Oratio in funere Francisci Senioris de Carraria, Patavii Principis, die XXI. Novembris Anno MCCCXCIII // R.I.S. Vol. XVI. 1730. Col.197*)) и Франческо Дзабареллой (“Optaret, invicte Princeps, alma haec tua Universitas, felicissimi tui Paduani studii...” (*Francisci Zabarella ad invictum principem Dominum Franciscum Carrariensem ducem Patavii oratio // Ibid. Col. 243*)).

⁸ *Gaeta F. Storiografia, coscienza nazionale e politica culturale // Storia della cultura veneta. Vol. 3. P. I, II. Venezia, 1980. P. 3.*

⁹ *Le Goff J. Dépenses universitaires a Padoue au XVe siècle // Ecole Française de Rome. Mélanges d’archéologie et d’histoire. T. LXVI. P. 1956. P. 389–390.*

¹⁰ По разным сведениям, среди студентов университета в то время были выходцы из Новары, Кремоны, Тревизо, Беллуно, Реджо, Монтекатино, из Абрुцци, с Сицилии, из Португалии и т.д. (*Gloria A. Monumenti della Università di Padova (1318–1405). Vol. I. Padova, 1888. P. 39*).

¹¹ *Gothein P. Zaccaria Trevisan il Vecchio: la vita e l’ambiente / Pubbl. Dalla R. Deputazione di Storia di Patria per le Venetie. Venezia, 1942. P. 50.*

¹² О значении университетов как источника прибыли и их роли в экономике средневековых городов см.: *Рутенбург В.И. Университеты итальянских коммун // Городская культура. Средневековье и начало Нового времени. Л., 1986. С. 44–46; он же. Итальянский город от раннего Средневековья до Возрождения. Л., 1987. С. 113.*

¹³ “Quod studium et ars lane et quodlibet aliud bonum misterium civitatis Padue... manuteneantur secundum eorum privilegia statuta et consuetudines” (*Cappelletti G. Storia di Padova. Vol. I. Padova 1874–1875. P. 427*).

¹⁴ *Dupuigrenet Desroussilles F. L'Università di Padova dal 1405 al Concilio di Trento // Storia della cultura veneta. Vol. 3. Dal primo '400 al Concilio di Trento. P. II. Venezia, 1980. P. 608–610.*

¹⁵ “Quod contenti eramus facere omnia que debita et convenientia sunt pro amplificatione studii et atrium predictarum” (*Cappelletti G. Storia di Padova... Vol. I. P. 427*).

¹⁶ “Quia secundum formam permissionum nostrarum factarum comunitatem nostre et civibus Padue nos tenemus tenere studium paduani in culmine... Vadit pars quod collegium dominium consiliariorum capitum et sapientum consilii habeat libertate providendi per illas vias utiles et bonos modos qui sue sapientes videbuntur quod habeantur tot valentes et sufficientes doctores in qualibet facultate...” (Senato, Secreta. R. 3. F. 11 v.).

¹⁷ “de introitibus deinde” (Ibid.).

¹⁸ “Quod sumus veridice informati quod conda dominus Franciscus de Carraria non solvebat nec faciebat expensas dicte studii, sed comune et cives Padue quod cives paduani recipiunt de dicto studio maximam ymo quasi totam utilitatem nostro dominio videtur Justum et rationabile non habere dictam expensam...” (Ibid. R.3. F. 23 v.).

¹⁹ Ibid.

²⁰ “Cum dominatio nostra vigore libertatis atribute sibi ab isto consilio provisionem quod studium paduan ponatur in ordine ita quod scolares tam subditi nostro dominio quam alienigene possint ad illud comunitatem concurrere et venire. Vadit pars quod fiat provisio et ita mandari debeat rectoribus nostris Verona Vincentie Tarvisii Feltri Cividalis Istrie et aliarum terrarum et locorum nostrarum circumstantum que fuerint deliberate nostrum collegium quod debeant in locis solitis suas regiminum facere publice proclamari et ita fiat in Venetiis quod omnes illi nostri subditi et fideles que voluerint ire ad studium in aliqua facultate, non intelligendo in hoc gramatica, non possint ad aliquam aliam partem ut locum ad studium citra montes nisi ad civitatem nostram paduanam, ubi est nostra intencio quod vigeat studium generale, sub pena libri quingentarum pro quolibet qui iret ad studium in aliqua parte alia tera quam in civitate Padue, quam penam exigant rectores dictarum terrarum habentes partem ut habunt de alijs penis sibi commissis” (Ibid. R. 3. F. 41 v.).

²¹ *Dupuigrenet Desroussilles F. L'Università di Padova... P. 611.*

²² *Dalla Pozza A.M. La cultura vicentina... P. 85.*

²³ “Quia informati fuimus quod quantitas ducatorum III m. concessa posse expendi, nullo modo est sufficiens ad ponendum studium Padue bene in ordine, quia doctores famosi capiunt quasi dictam quantitatem et ob hoc necesse est expendere plures denarios, quia sunt etiam omnino necessarii multi alii dictores ultra illos famosos... vobis scribimus et mandamus quatuor infrascripta... debeatis observare... quod infrascripti doctores conduci et accipi debeant ac intelligant esse conducti pro anno futuro cum quantitate pecunie infrascripta pro quolibet deputata... Et pro hoc anno non debeat diminui... solarium suum, et si summum ascenderet ultra ducatos IIII m. Illud plus expendatur solummodo pro hoc anno futuro, quo elapso, nolumus quod plus expendatur pro dicto studio quam ducati IIII m. in anno... (УИТ. no: *Troilo S. Andrea Giuliano, politico e letterato veneziano del Quattrocento. Genève; Firenze, 1932. P. 11–12*).

²⁴ “Vadit pars quod pro anno futuro apud quantitatem alias limitatum de introitibus Padue distribui et dispersari debeant ducati millequingenti in antedictis famosis doctoribus forensibus illarum facultutum in quibus maiorem necessitate paritur studium antedictum... Et sit captum... quod publicum debeat in terris nostris in quibus erit expeditos quod omnes nostris fideles et subditi qui volent studere in aliqua alia facultate quam in gramatica... non possint ire nec stare ad aliud studium quam ad studium paduani, sub pena ducatorum quingentorum pro quolibet contrafacento...” (Senato, Secreta. R. 3. F. 60 r.).

²⁵ “Cum alias concessum fuerit Magnifico domino Malateste de Malatestas... quod posset conduci facere Venetias et de Venetijs Paduam staria centum frumenti et anforas tres cum dimida vini pro... expensis necessarijs pro quondam filio suo studente in studio nostro Paduano et officiales nostri dacij ... dicant quod bulletum de exhando dictum vinum facere non possunt... Vadit pars quod

auctoritate huius consilij ... mandetur dictis officialibus daciij vini quod non obstante hoc omnino bulletam liberam facere debeant..." (Senato, Miste. R. 49. F.69 r.).

²⁶ "Vadit pars quod omnes doctores solariati a nostro comuni in civitate Padue refirmentur de novo per alios annos duos. Et sic scribatur rectoribus nostris Padue quantus debeant exequi et observare cum solariis modis et conditionibus quibus sunt ad presens" (Ibid. R. 49. F. 11 v.).

²⁷ *Lazzarini V.* Crisi nello Studio di Padova a mezzo il Quattrocento // Atti dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, CXIII, 1950–1951. P. 204.

²⁸ *Gozzi G., Knapton M.* Storia di Venezia dalla Guerra di Chioggia alla riconquista della Terraferma. Torino, 1987. P. 225.

²⁹ Около 100 000 дукатов в год в середине XVI в., согласно отчету одного из подеста Падуи (Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma. Vol. 4. Podestaria e capitanato di Padova. Milano, 1973. P. 40–41).

³⁰ *Pastore Stocchi M.* Scuola e cultura umanistica fra due secoli // Storia della cultura veneta. Vol. 3/1. Venezia, 1980. P. 101–102.

³¹ *Nardi B.* La Scuola di Rialto... P. 96–99.

³² *Dupuigrenet Desroussilles F.* L'Università di Padova... P. 608.

³³ Так, жителей Пармы в этом списке было всего на один больше – девять (*Gloria A.* Monumenti della Università di Padova. Padova, 1888. Vol. 1. P. 69–75).

³⁴ *Gothein P.* Zaccaria Trevisan. P. 11–12.

³⁵ *De Sandre G.* Dottori, Università, Comune a Padova nel '400 // Quaderni per la storia dell'Università di Padova, 1. Padova, 1968. P. 16.

³⁶ *Bertanza dalla Santa.* Documenti per la storia della cultura in Venezia // Monumenti storici pubblicati dalla R. Deputazione Veneta di Storia Patria. Ser. I. Documenti. Vol. XII. Venezia, 1907. P. XIV–XV.

³⁷ *Cecchetti B.* Libri, scuole, maestri, sussidii allo studio in Venezia nei secoli XIV e XV // Archivio Veneto, XVI (1886). T. XXXII. P. 330; *Sabbadini R.* La scuola e gli studi di Guarino Guarini Veronese. Catania, 1896. P. 26–27.

³⁸ *Cecchetti B.* Libri, scuole, maestri... P. 330; В 1386 г. Кристофоро Денте, учитель в Кьодже, до этого преподававший (в частном порядке) в Венеции, был допущен "к школьному преподаванию на услужение коммуны" ("pro lectore scholarum ad servitium communis"), с получением государственного жалования (*Bertanza dalla Santa.* Documenti per la storia della cultura... P. 245).

³⁹ *Cecchetti B.* Libri, scuole, maestri... P. 332–337.

⁴⁰ *Nardi B.* La Scuola di Rialto... P. 93–94.

⁴¹ "Sepe me per tuos qui huc accedebant admonuisti, item etiam per te ipsum, cum forte salutandi gratia te convenissem, ut si michi adesset aliquis iuvenis et doctus et honestus, curarem apud te esset gratia discipline filii tui adhuc adolescentuli... Tu ad me respiciebas, ego ad fortunam. Nunc vero... accidit ut infortunium amici mei, quem ad te mitto, tibi commodo futurum sit, nisi locum illum alius occupaverit..." (*Colombo C.* Gasparino Barzizza a Padova. Nuovi ragguagli da lettere inedite // Quaderni per la storia dell'Università di Padova. MCMLXIX. V. 2. P. 2. P. 17).

⁴² *Pertusi A.* L'umanesimo greco dalla fine del sec. XIV agli inizi del sec. XVI // Storia della cultura veneta. Vol. III/1. Vicenza, 1980. P. 200–202.

⁴³ *Zeno I.* Vita Caroli Zeni // R. I. S. T. XIX. P. VI. Fasc. I. Bologna, 1940. P. 23.

⁴⁴ Об это говорил Пьер Паоло Верджеро в письме к Колюччо Салютати в 1405 г.: Карло Дзено к тому времени уже в течение двух лет переводил на латынь "Государство" Платона, и Верджеро в шутку уверял, что "скорее уж он сам успеет прочитать это произведение по-гречески" ("Illustrem virum Carolum Zeno de Venetiis, apud quem, jam prope biennio elapso, hanc dissonantiam aperui, cum ille politiam Platonis in latinum translatum haberet, ego vero id etiam antea in Greco deprehendissem" (Epistole di Pietro Paolo Vergerio signore di Capodistria // Monumenti storici pubblicati dalla R. Deputazione di Storia Patria. Ser. IV. Miscellanea. Vol. 5. Venezia, 1887. P. 40).

⁴⁵ И вызвавшие похвалу Гварино Гварини (Epistolario di Guarino Veronese, raccolto da R. Sabbadini. Vol. I // Miscellanea di storia veneta. Ser. III. T. VIII. Venezia, 1915. P. 57–58).

⁴⁶ См.: *Gothein P. Zaccaria Trevisan*. P. 36 e segg.

⁴⁷ *Troilo S. Andrea Giuliano...* P. 19 e segg.

⁴⁸ *Dazzi M. Leonardo Giustinian (1388–1446) // Umanesimo europeo e umanesimo veneziano...* P. 173–192; см. также: *Dazzi M. Documenti su Leonardo Giustinian // Archivio Veneto*. 15. 1943. P. 312–319.

⁴⁹ *Branca V. Ermolao Barbaro e l'umanesimo veneziano // Umanesimo europeo e umanesimo veneziano...* P. 193 e segg.

⁵⁰ *Chambers D.S. The Imperial Age of Venice. 1380–1580. L., 1970. P. 149.*

⁵¹ *Foscarini M. Della letteratura veneziana ed altri scritti intorno ad essa. Ristampa dell'edizione di Venezia 1854. Venezia, 1965. P. 335.*

⁵² Это затрагивает не только творчество наиболее известных гуманистов, таких, как Гварино Гварини (Epistolario di Guarino Veronese...) или Пьер Паоло Верджеро (Epistole di Pietro Paolo Vergerio...), но и творческую деятельность интеллектуальной элиты террафермы в целом. В пример можно привести следующие работы, включающие в себя как историографическое исследование, так и публикации источников: *Cogo G. Di Ognibene Scola, umanista padovano // Nuovo Archivio Veneto*. Tomo VIII. Venezia, 1894; *da Schio G. Sulla vita e sugli scritti di Antonio Loschi. Padova, 1858; Segarizzi A. Cristoforo de Scarpis // Nuovo Archivio Veneto, n.s. Vol. XV (1915). T. XXIX; Castellani G. Giorgio da Trebisonda, maestro di eloquenza a Vicenza e a Venezia // Nuovo Archivio Veneto*. Vol. VI (1896). T. XI. P. I; *Leitner Ch., De Ruitz M. Contributo alla biografia dell'umanista Ognibene Bonisoli da Lonigo // Archivio Veneto, n.s. Vol. CXXV (1985).*

⁵³ *Da Schio G. Sulla vita e sugli scritti di Antonio Loschi...* P. 10.

⁵⁴ Он занимался литературой и сделал комментарии, в частности, к двенадцати речам Цицерона.

⁵⁵ *Pastore Strocchi M. Scuola e cultura umanistica...* P. 117

⁵⁶ “Committimus tibi circumspecto et sapienti viro Antonio de Luscius, dilecto civi et fideli nostro, quod pro exequendo infrascripta mandata nostra, debeas ire noster Ambasciator, et te conferre ad praesentiam summi Pontificis. Cui facta humili reverentia, et devota recommendatione (et praesentatis nostris litteris credentialibus in tui personam tibi assignatis), debeatis reverenter exponere parte nostra...” (*Da Schio G. Sulla vita e sugli scritti di Antonio Loschi... Documenti*. P. 177).

⁵⁷ “Doleo siquidem, et irascor quod in civitate Mediolani aliqui tantae audacie, verum (ut rectius loquar) temeritatis, eo juncti sint quod Ducem ferro necare praesumpserint... Laetor deinde, quod audio inimicos tuos...fuisse depulsos, et ad te exercitum inclinasse... Nam in tanta rerum vertigine ne erumpat aliquis dolus in caput tuum, non timere non possum...” (*Da Schio G. Sulla vita e sugli scritti di Antonio Loschi... Documenti*. P. 170–171)

⁵⁸ *Sabbadini R. Vita di Guarino Veronese. Genova, 1891. P. 17.*

⁵⁹ “Quis enim tantas de me laudes et utinam versa proferret, nisi quo singulari me quodam amore complecteretur, ut Petrus?... Ego vero id et iocundum et gratum habeo... Haec cum ita sint, pater optime, minime formidabo te rogare te orare ut me complectaris meque ita diligas, ut gloriari mecum hoc possim me in tam benigni tam excellentis et omni denique laude dignissimi hominis amicitiam venisse eaque munitum esse...” (Epistolario di Guarino Veronese... Vol. I. P. 59).

⁶⁰ *Sabbadini R. La scuola e gli studi di Guarino Guarini Veronese. Catania, 1896. P. 35–36.*

⁶¹ К тому времени Гварино уже преподавал в Вероне: см. *Castellani G. Giorgio da Trebisonda, maestro di eloquenza a Vicenza e a Venezia...* P. 124–127.

⁶² Это предположение выдвигалось и рядом исследователей, к примеру, Манлио Пасторе Стокки: *Pastore Strocchi M. Scuola e cultura umanistica...* P. 108.

⁶³ Epistolario di Guarino Veronese... Vol. I. P. 34.

⁶⁴ Где его учителем, к слову, был Джованни Конверсино да Равенна.

⁶⁵ *Smith L. Pier Paolo Vergerio: De Situ Veteris et Inclute Urbis Romae // The English Historical Review*. Vol. XLI. 1926. P. 572.

⁶⁶ *Zeno I. Vita Caroli Zeni...* P. 95; Пьер Паоло Верджеро направил Карло Дзено по этому случаю приветственное письмо (P.P. Vergerio. *Epistolario / A cura di L. Smith. Roma, 1934. P. 251–252*).

⁶⁷ *Zanutto L. Pier Paolo Vergerio e le sue aspirazioni al decanato cividalese // Nuovo Archivio Veneto. N.s. Anno XI. T. XXI. P. I. Venezia, 1911. P. 125.*

⁶⁸ *Ibid.* См. также: *Cessi R. Un'avventura di P.P. Vergerio // Giornale storico della letteratura italiana. Vol. 54. 1909. P. 383.*

⁶⁹ Текст трактата опубликован в статье: *Robey D., Law J. The Venetian Myth and the "De Republica Veneta" of Pier Paolo Vergerio // Rinascimento. Ser. IIa. Vol. 15. Firenze, 1975.*

⁷⁰ Спор о различных вариантах датировки трактата подробно разобран в предисловии к основному тексту в статье Д. Роби и Дж. Лоу (*Robey D., Law L. The Venetian Myth...*). Также см.: *Gaeta F. Storiografia, coscienza nazionale e politica culturale...* P. 7–8.

⁷¹ "Antonio Losco sapientissimo che comentò le 12 orazione di Ciceron si eloquente et misteriosamente che nullo vi seguite" (*Itinerario di Marin Sanuto per la terraferma veneziana nell'anno MCCCCLXXXIII. Padova, 1847. P. 110*).

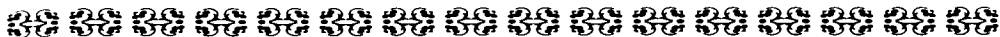
⁷² "Graviter ac moleste fero non ita civibus tuis satisfactum esse a Christophoro, ut omnis sit querendi causa sublata... Nee ignoras quantum Venetiae debeat, quae aluit erudiit, officia contulit, amicitias complures et quidem principales impertierit, adeo ut si vocantem vel potius reposcentem repudiet, longe ingrator censendus sit" (*Epistolario di Guarino Veronese... Vol. 1. P. 309*); Кристофоро Скарпа прибыл в Венецию в 1409 г. и спустя некоторое время получил венецианское гражданство de extra. В 1420 г. он был приглашен Леонардо Джустинианом в качестве учителя для его маленького сына, однако вскоре после этого принял решение отправиться преподавать в Виченцу. Видимо, именно этот поступок Скарпы вызвал столь гневную реакцию Гварино Гварини.

⁷³ См: *Randall J.H. The School of Padua and the Emergence of Modern Science. Padova, 1961. P. 16 e segg.* О европейской славе университета Падуи, в частности, упоминает в своем отчете Сенату венецианский подеста города Бернардо Наваджеро после окончания отправления своей должности в 1549 г.: по его словам, университет пользуется исключительной славой во Фландрии, в Германии и в той части Франции, где ему "удалось побывать": "Nella Flandria, nella Germania e in quella parte di Franza ove io sono stato ha tanto credito questo studio di Padua, che molti con la sola riputatione di esser stati al Studio di Padua sono ammessi ad honori, et maneggi di molta importanza" (*Relazioni dei Rettori veneti al Senato... Padova... P. 25*).

⁷⁴ *Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. М., 2000. С. 624.*

⁷⁵ "De biblioteca mea in qua consistit omnis mea felicitas..." (цит. по: *Cecchetti. Libri, maestri, scuole... P. 173*). Он неохотно соглашался занять пост капитана, ибо это отрывало его от литературных занятий: "Quod aegrius fero, sperabam in hoc otio vires ingenioli mei sopitas temporum ac rerum perturbationibus excitare, fessas reficere, atque ad bonarum atrium studia, quibus ab extrema pueritia ineunte adolescentia ad hanc usque aetatem, quantum publicarum rerum labor concesserat, me dederam, reverti, quoniam nulla unquam mihi maior voluptas fuit" (цит. по: *Manlio Pastore Stocchi. Scuola e cultura umanistica... P. 119*).





ЭСХАТОЛОГИЯ ГЕОРГИЯ ТРАПЕЗУНДСКОГО И ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЯ К “ЧУЖОМУ”

К.И. Лобовикова

Греческий эмигрант Георгий Трапезундский (1395(96?)–1472(73?)), в юном возрасте переехавший с родного Крита в Италию, вошел в историю Кватроченто как известный ритор и философ, а также переводчик греческих философов и Отцов Церкви на латинский язык.

Георгий Трапезундский всегда оставался некоей загадкой: грек, предпочитавший писать на латыни, переводчик Платона, начавший самую яростную атаку на Платона за всю историю Ренессанса, известнейший гуманист, защищавший средневековую схоластику, и, пожалуй, самое парадоксальное – благочестивый христианин, который рисковал своей жизнью, чтобы встретиться с турецким султаном Мехмедом II Завоевателем и сказать ему, что он, Мехмед II, станет императором всего мира.

Георгий принадлежал к тому поколению византийцев, перед которым стоял сложный выбор между “турецким тюбаном и папской тиарой”. Моя статья посвящена анализу отношения Георгия Трапезундского к исламу и туркам в контексте его эсхатологии. Если рассматривать этот вопрос шире, то его можно переформулировать в проблему отношения Георгия к “чужому”.

В период с 1453 по 1467 г. Георгий Трапезундский написал турецкому султану три трактата и три письма, в которых сформулировал принципы и методы мирного диалога мусульман и христиан. Что это за принципы? Во-первых, отрицание взаимных оскорблений и анафем¹. Во-вторых, желание узнать точку зрения противоположной стороны².

В-третьих, осуждение насильственных методов разрешения спора: “Те же, которые судят мечом, а не разумом, не судят, а используют насилие. Это неразумно, а поэтому неугодно Богу. Ибо разум есть рассуждение, и рассуждение есть изучение аргументов обеих сторон”³.

Георгий Трапезундский утверждал, что и мусульмане, и христиане пытались решить спор войной, что достойно осуждения: “Тем не менее, давно существующим и поэтому труднорешаемым кажется раздор, из-за которого христиане и мусульмане разделены. Ибо давно возник этот раздор, потому что никто из правителей ради любви к Богу и ближним в (примирительном. – *К.Л.*) движении не усердствовал, но правители – христиане, и мусульмане – только меч и силу использовали и поэтому ничего не добились”⁴.

Из приведенного отрывка становится ясно, что Георгий уклонился от еще одного полемического аргумента, характерного как для византийских, так и для западноевропейских авторов. Он намеренно избежал осуждения ислама как религии войны и насилия. Таким образом, воинственность и склонность к насильственному решению конфликтов присуща, по мнению философа, не только мусульманам, но и христианам.

Он полагал, что христиане должны больше знать об исламе, равно как и мусульмане должны быть более осведомленными в христианстве⁵. Георгий пришел к выводу, что взаимное невежество (и особенно невежество в сфере языков), а также применение насилия препятствовали плодотворному диалогу мусульман и христиан: “Незнание умножало разногласия. Ибо христиане и мусульмане не могут беседовать друг с другом из-за незнания языков. Более всего умножало раздор и ненависть между нами и вами то, что многие, прежде чем тщательно изучить, что и как (другая сторона. – *К.Л.*) говорит, во что и как верит, как и что исповедует, осуждают и используют меч якобы в защиту истины, что является несправедливым и негодным Богу. Я же, услышав от некоторых людей (о) написанных в Коране заповедях⁶, не считаю эти различия большими, чем можно преодолеть, но (считаю их) незначительными и легко разрешаемыми, если некто с усердием изучает Писания и неписанные природные законы, кои внушила мудрость, (а) затем без раздора и любви к спорам разговаривает с ближним, дабы приблизиться к истине, но не одержать победу”⁷.

Георгий Трапезундский восхищался турецким языком, что было нехарактерно для византийцев, убежденных в превосходстве греческого языка. Философ писал Мехмеду: “Ты же, о всезлатый эмир, прими охотно мое сочинение. Написал я его в более простой манере, чтобы его было возможно более легко перевести твоим людям на солнечный и ослепительный язык турок, сладкозвучие и немногосложность слов, смелость и мужественность произношения которого подтверждают все, кто изведает его”⁸.

Георгий полагал, что различия между обрядами и образом жизни христиан и мусульман не нужно преодолевать, так как каждый народ имеет право на собственный образ жизни: “Ибо если один дом, состоящий из мужа и жены, и многих и сыновей, и дочерей, и зятьев, и невесток, не может согласиться жить на один манер, (то) кажется мне глупостью считать, что вся вселенная может одним правилом жизни руководствоваться”. Георгий убеждал Мехмеда в том, что нет ничего, что действительно препятствовало бы объединению христиан и мусульман.

Георгий считал, что христиане и мусульмане должны миролюбиво беседовать друг с другом, а не искать победы в споре⁹. Итак, он предложил Мехмеду II идею о проведении мирных диспутов по вопросам веры между христианами и мусульманами, целью которых должны были быть не поиски доказательств своей правоты, но поиски истины. Георгий так пишет об этом: “Поэтому, величайший эмир, владыка мира, постанови, прошу тебя, чтобы

это письмо, призванное помочь при изучении Писаний, было ради многих (преимуществ. – *К.Л.*) тщательно и верно переведено и чтобы производилось исследование Писаний. Таковое (занятие. – *К.Л.*) является божественным и царским делом и достойным твоей души и способным приготовить, а точнее сказать, устроить тебе вечную славу. Ибо если это произойдет, то я надеюсь, что по милости Божией случится великая польза, в особенности будут происходить по распоряжению твоему частые диалоги между мудрыми христианами и мусульманами, которые не стремятся собственную точку зрения утвердить, но ради любви искать истину”¹⁰.

Стремление разрешить спор мусульман и христиан в результате мирной дискуссии было отличительной чертой концепции современника Георгия, испанского кардинала Хуана Сеговийского¹¹. Георгий и Хуан Сеговийский не были лично знакомы и, скорее всего, независимо друг от друга выдвинули идею исламо-христианских конференций в качестве принципиально нового метода решения конфликта мусульман и христиан. Оба автора противопоставляли этот метод насильственным способам разрешения противоречий.

Диалог христианства и ислама начался задолго до появления на свет Георгия Трапезундского, но он был первым византийским и итальянским автором, который сделал попытку сформулировать причины неэффективности диалога мусульман и христиан. Георгию удалось подняться над спором и проанализировать поведение обеих спорящих сторон. По сути это была первая сознательная рефлексия на тему диалога христианства и ислама.

Георгий Трапезундский заявил о внутреннем единстве ислама и христианства. Современник Георгия Николай Кузанский пошел дальше и сформулировал тезис о внутреннем единстве всех религий¹². В трактате “О мире веры” он доказывает принцип “*una religio in rituum varietate*” (одна религия при различии обрядов). Эта идея Кузанца очень близка концепции Георгия Трапезундского, который утверждал, что если существует один Бог, следовательно должны существовать на земле “одна вера, одна церковь и одно царство” (*μία πίστις, μία ἐκκλησία καὶ βασιλεία μία*)¹³. Но означает ли это, что для Георгия ислам был идентичен христианству? Я полагаю, что нет.

Трактаты и письма Георгия к султану были попыткой обратить Мехмеда в христианство. Георгий Трапезундский не был единственным, кто пытался объяснить Мехмеду II догматы христианской веры. Знаменитое письмо турецкому султану римского папы Пия II¹⁴, трактаты патриарха Геннадия Схолария¹⁵ и Георгия Амируци также представляют собой изложения христианской веры, написанные для Мехмеда II¹⁶.

Но Георгий был единственным, кто действительно верил в возможность обращения Мехмеда II и всеми силами стремился подготовить султана к принятию христианства. Никто не написал для султана на эту тему больше, чем Георгий Трапезундский, никто так не стремился лично встретиться с Великим Турком, как он. Георгий не осознавал утопичность своего проекта, что объясняется, на мой взгляд, особенностями эсхатологической теории

философа с Крита, а также его убежденностью в собственной способности предсказывать будущее.

Изучение отношения Георгия к исламу невозможно без понимания его эсхатологической концепции. П. Магдалино справедливо отметил, что без изучения эсхатологических представлений эпохи Средневековья мы никогда не сможем понять чувства и мысли тех людей, которые жили вовсе не в эпоху Средних веков, как мы думаем, но в эпоху ожидания близкого конца света¹⁷.

В самом начале трактата “О божественности Мануила” Георгий кратко формулирует свои апокалиптические предсказания:

1. Во-первых, перед приходом Антихриста все народы по необходимости обратятся к божественной истине, но не по принуждению нас (христиан), но по своей инициативе¹⁸.

2. Во-вторых, эта божественная и удивительная перемена произойдет под предводительством одного из потомков Исмаила¹⁹.

3. В-третьих, что сейчас пришло это время²⁰.

4. В-четвертых, что настоящий правитель турок есть тот потомок Исмаила, который все это совершит²¹.

5. В-пятых, он будет править абсолютно всем миром²².

Таким образом, Георгий полагал, что Мехмед II должен был стать последним вселенским христианским императором²³. Почему Георгий пришел к такому выводу? Во-первых потому, что Мехмеду удалось захватить Константинополь²⁴. Во-вторых, для Георгия было чрезвычайно важно то, что Мехмед II был, как полагал философ, потомком Исмаила и Авраама.

Почему Георгий был уверен, что конец света близок? Георгий ожидал конец света в 1667 г., т.е. в 7170 г. от сотворения мира²⁵. Не трудно заметить, что эта дата является символом восьмого дня (т.е. восьмого тысячелетия), когда, согласно византийской эсхатологической традиции, космическая неделя должна завершить полный цикл²⁶.

Но, как было сказано, Георгий полагал, что конец света уже начался. Он писал: “С настоящего момента до прихода Антихриста осталось двести лет”²⁷.

Согласно П. Магдалино, определение времени наступления конца света в Византии осуществлялось тремя способами: “слепое датирование”, “датирование с помощью вычислений”, “датирование со стороны”²⁸.

Георгий Трапезундский использовал все три метода. “Слепое датирование” было отражением естественных природных явлений или исторических событий, которые рассматривались как предвестники наступления конца света. Для Георгия такими событиями стали падение Константинополя и чрезмерное и опасное, с его точки зрения, увлечение римских католических священников философией Платона. “Датирование с помощью вычислений” было связано с выявлением нумерологически значимых дат. В случае Георгия Трапезундского предполагаемая дата конца света была связана с символом восьмого дня космической недели. “Датирование со стороны” представляло

собой определение времени наступления последних времен при помощи апокалиптических текстов. В своих предсказаниях Георгий опирался прежде всего на Апокалипсис Псевдо-Мефодия Патарского.

Идея о том, что один из потомков Исмаила станет последним христианским императором, принадлежит Псевдо-Мефодию Патарскому, автору одного из самых популярных в Византии и на латинском Западе апокалипсисов²⁹. Псевдо-Мефодий оказал большое влияние на эсхатологическую концепцию Георгия Трапезундского³⁰.

Согласно Псевдо-Мефодию, последний христианский император должен победить исмаилитов, т.е. арабов-мусульман, потомков библейского Исмаила, и основать на земле последнее христианское царство, которое просуществует до появления эсхатологических народов Гога и Магога и до прихода Антихриста. После чего последний император, будучи не в состоянии противостоять народам Гога, Магога и Антихристу, должен положить свою корону на крест, воздвигнутый на пустынной Голгофе. Подняв руки к небу, он увидит крест с короной, возносящийся к Богу³¹.

Псевдо-Мефодий полагал, что последний император будет потомком эфиопской принцессы по имени Кушьят (“эфиопская женщина”), которая, согласно легенде, была матерью Александра Македонского. Вот почему, согласно Псевдо-Мефодию, передавая корону Христу, последний император исполнит пророчество царя Давида: “Эфиопия прострет свои руки к Богу” (Пс. 67, 32).

Из Книги Бытия Псевдо-Мефодий знал, что Исмаил был сыном Авраама и египтянки. Поэтому автор Апокалипсиса решил, что Исмаил является потомком эфиопской принцессы.

Псевдо-Мефодий также предсказывал, что исмаилиты придут из эфиопской пустыни, чтобы завоевать Персию, Грецию и Рим и наказать христиан за их грехи³².

Только после того, как христиане претерпят достаточно страданий, согласно Псевдо-Мефодию, должен прийти последний христианский император, чтобы остановить исмаилитов и открыть на земле эпоху мира и благоденствия.

Таким образом, эсхатологическая теория Георгия Трапезундского восходит к предсказаниям епископа Патарского³³.

“Последний император” в рассуждениях Георгия – это прежде всего христианский император христианского всемирного царства. Но Великий Турок был мусульманином. Георгий решает этот вопрос так: он предлагает Мехмеду II принять христианство. В трактате “О божественности Мануила” Георгий преподносит идею перехода в христианство в завуалированном виде. Он предлагает турецкому султану, в недалеком будущем императору всей ойкумены, сменить имя и называться Мануилом³⁴. Как Георгий аргументирует свое предложение? По мнению автора, Бог изменял имена тех, кого избирал для совершения великих и удивительных деяний³⁵. Изменялась часть

имени (как Авраам от Аврама) или сохранялась первая буква или слог (как Израиль от Иакова)³⁶. Георгий, таким образом, “советуя взять имя Мануил (Μανουήλ), сохраняет первый слог от прежнего имени (Μαχούμειτ).

Почему Георгий остановил свой выбор на имени Мануил, ведь византийские императоры носили и другие имена, начинающиеся на ту же букву? Например, Маврикий, Михаил и Матфей.

Ответ, на наш взгляд, кроется в эсхатологических представлениях и ожиданиях автора. Имя Мануил – это византийский вариант еврейского Еммануил. В Евангелии цитируется знаменитое место из пророка Исайи: “Се Дева во чреве примет, и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил”³⁷. Далее следует евангельское пояснение: “что значит: с нами Бог”³⁸. Итак, Георгий видел в Мехмеде Завоевателе некий образ и символ Мессии, т.е. Иисуса.

Так как Георгий Трапезундский считал, что до конца света, а следовательно, и до Второго Пришествия Христа осталось совсем немного времени³⁹, то, скорее всего, для Георгия появление Мехмеда-Мануила, как императора христианского всемирного царства, было закономерной прелюдией ко второму пришествию Мессии.

Для византийской традиции было характерно отождествлять турок с эсхатологическими народами Гога и Магога, появление которых сигнализирует о скором пришествии Антихриста⁴⁰. Гога и Магога олицетворяли силы зла. Георгий смотрел на проблему иначе. Он полагал, что Мехмед, приняв христианство и изменив имя, станет предвестником Мессии. Георгий, по-видимому, надеялся, что вслед за Мехмедом и его народ примет христианство, вследствие чего и произойдет “божественное единение мусульман и христиан”⁴¹.

Георгий рассматривал совпадение первой буквы имени правителя турок с начальной буквой имени “Мануил” как еще одно подтверждение правильности своей догадки: Бог избрал Мехмеда как правителя мира, которому суждено объединить ойкумену в единой христианской вере. Георгий полагал, что ему удалось понять замысел Бога относительно правителя турок. Ведь Георгий считал, что это не он хочет изменить имя Мехмеда, этого хочет Бог: “Мы могли бы сказать, почему мы называем Мануилом того, кого не так называют. Итак, мы говорим, что в согласии с божественным Писанием необходимо будущему императору всего мира называться не его ныне используемым именем, но именем, которым он удостоен свыше”⁴². Упоминание священного Писания, вероятно, представляет собой туманный намек на процитированное выше место из Евангелия, поясняющее значение имени “Мануил”.

Моя интерпретация предложения Георгия подтверждается выражением “василевс василевсов и автократор автократоров”⁴³. Эту стандартную византийскую формулу обращения к правителям, известную из иранской сасанидской практики, Георгий неоднократно использовал по отношению к Мехмеду II⁴⁴. Это выражение традиционно употреблялось на императорских монетах как официальное утверждение доктрины *συμβασιλευία* (идеи о том, что Христос является со-правителем византийского императора).

Выражение “василевс василевсов и автократор автократоров” присутствует в Послании Апостола Павла (1. Tim. 6.15) и в книге Откровения (17.14, 19.6). В обоих случаях оно относится ко Христу в его втором Пришествии.

П. Магдалино справедливо полагает, что апокалиптические коннотации этой библейской цитаты игнорируются современными учеными, но они не были забыты византийскими авторами, в частности Псевдо-Мефодием⁴⁵. Я полагаю, что Георгий Трапезундский использовал это выражение именно в его апокалиптическом значении.

Мессианский характер фигуры последнего императора не был чем-то необычным для византийской традиции, испытавшей влияние иудейской эсхатологии. Так, в небольшом анонимном эсхатологическом трактате, озаглавленном ‘Ο ἀληθινὸς βασιλεὺς⁴⁶ (известном также как парафраз предсказаний императора Льва мудрого, а также как “Сento об истинном императоре”), последний император рассматривается как прототип Мессии. Так, анонимный автор говорит о последнем императоре как о помазаннике (ὁ ἡλειωμένος)⁴⁷; говоря об императоре, упоминает Бога небес и земли (τοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς)⁴⁸. Он называет истинного василевса ожидаемым (τὸν ἐλπίζόμενον)⁴⁹ и избранным императором (ἐκλεκτὸν βασιλεὺς)⁵⁰. Давая императору множество эпитетов, анонимный автор, в отличие от Георгия Трапезундского, все же не решается назвать его имя.

Анонимный трактат представляет собой компиляцию из разнообразных эсхатологических иудейских, раннехристианских и византийских текстов о мессианском правителе. Таким образом, Георгий Трапезундский, предлагая Мехмеду Завоевателю принять имя Мануил, следовал византийской эсхатологической традиции.

Тем не менее, никто из современников Георгия не рискнул отождествить Мехмеда II с последним истинным императором-предвестником Мессии.

Изучение эсхатологических представлений Георгия позволяет понять механизмы формирования нового отношения к “чужому”. Его энтузиазм по поводу возможности обращения в христианство Мехмеда Завоевателя был продиктован верой Георгия в собственный дар провидца и влиянием, которое оказал на него Апокалипсис Псевдо-Мефодия.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Γεώργιος ὁ Τραπεζούντιος. Περὶ τῆς ἀληθείας τῆς τῶν χριστιανῶν πίστεως // Γεώργιος ὁ Τραπεζούντιος καὶ αἱ πρὸς ἐλληνοτουρκικὴν συνεννοήσιν προσλάθειαι αὐτοῦ / Ed. Zoras. Αθήναι, 1954. P. 98/135–145 (далее – Γεώργιος ὁ Τραπεζούντιος. 1954.

² Γεώργιος ὁ Τραπεζούντιος 1954. P. 96/107–116.

³ Ibid.

⁴ Ibid. P. 97/117–134.

⁵ Ibid. P. 98–99.

⁶ Георгий Трапезундский черпал свои сведения об исламе из бесед с мусульманами (в данном случае он отмечает, что “слышал” о написанных в Коране заповедях), а также из самого Корана. Он цитирует Коран редко, его знания об исламе хаотичны и отрывочны. Из-

вестно, что перевод Корана в Византии был запрещен. Вопрос о существовании в Византии греческого перевода Корана обсуждается в статье Э. Траппа, который полагал, что такой перевод существовал (см.: *Trapp E. Gab eine byzantinische Koranübersetzung? // Diptycha. 1981. Т. 2. Р. 7–18*). Я полагаю, что Георгий Трапезундский использовал латинский перевод Корана. О латинских переводах Корана см.: *d'Averny M.-Th. Deux traductions Latines du Coran au Moyen Age // Archives d'histoire doctrinal et littéraire du Moyen Age. Vol. XVI. 1947–1948. P. 69–131*.

⁷ Γεώργιος ὁ Τραπεζούντιος 1954. P. 98–99.

⁸ Ibid. P. 99/166–169.

⁹ Ibid. P. 98–99/146–158.

¹⁰ Ibid. P. 113/554–561.

¹¹ *Cabanelas D. Juan de Segovia y el problema islámico. Madrid, 1952. P. 303–310.*

¹² *icolai de Cusa. De pace fidei / Trad. Galiboi. Sherbrooke, 1977.*

¹³ Γεώργιος ὁ Τραπεζούντιος. Περὶ τῆς αἰδίας τοῦ αὐτοκράτορος δόξης καὶ τῆς κοσμοκρατορίας αὐτοῦ // *Collectanea Trapezuntiana. Texts, Documents and Bibliographies of George of Trebizond / Ed. J. Monfasani, N.Y., 1984, CXLIV / I. 5, 9. Далее – СTr. CXLIV.*

¹⁴ *Pius II. Lettera a Maometto / Ed. G. Toffanini. Naples, 1953.*

¹⁵ *Oeuvres complètes de Gennade Sholarius / Ed. L. Petit, X. A. Sidéridès, M. Jugie. P., 1928–1936. Vol. III. P. 434–475.*

¹⁶ *Georges Amiroutzès et son "Dialogue sur la foi au Christ tenu avec le sultan des Turcs" / Ed. A. Argyriou, G. Lagarrigue // Byzantinische Forschungen 1987. N XI. P. 29–221. Издание ранее считавшейся утерянной заключительной части трактата Георгия Амируци см.: *Monfasani J. The "Lost" Final Part of George Amiroutzes' Dialogus De Fide In Christum and Zanobi Acciaiuoli // Humanism and Creativity in the Renaissance. Essays in Honor of Ronald G. Witt. Brill, Leiden, Boston, 2006. P. 216–228.**

¹⁷ *Magdalino P. The year 1000 in Byzantium // The Medieval Mediterranean, 2003. Vol. 45. P. 235.*

¹⁸ Γεώργιος ὁ Τραπεζούντιος. Περὶ τῆς θειότητος Μανουήλ // *Collectanea Trapezuntiana... CXLV. P. 570. Далее – СTr. CXLV.*

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ СTr. CXLV. P. 572.

²⁴ СTr. CXLIV. I. 2.

²⁵ СTr. CXLV. P. 572.

²⁶ *Sharf A. The Eight Day of the Week // Καθηγήτρια. Essays presented to Joan Hussey for her 80th Birthday / Ed. J. Chrysostomides. London, 1988. P. 27–50; Podskalsky G. Ruhestand oder Vollendung? Zur Symbolik des achten Tages in der griechisch-byzantinischen Theologie // Fest und Alltag in Byzanz / Ed. G. Prinzing, D. Simon. München, 1990. P. 157–166, 216–219; Magdalino P. The Year 1000... P. 236–238.*

²⁷ СTr. CXLV. 4. P. 572.

²⁸ *Magdalino P. The Year 1000... P. 239.*

²⁹ Псевдо-Методий был епископом, богословом и мучеником, жившим в III в. Под его именем и с указанием неверной диоцезы (Патара) был написан и распространялся так называемый Апокалипсис Псевдо-Методия. Я ссылаюсь на Апокалипсис по изданию: *Sackur E. Sibyllinische Texte und Forschungen. Pseudo Methodius. Adso und die Tiburtinische Sibylle, Halle, 1898 (Repr.: Turin, 1963)*. Греческая и славянская версии Апокалипсиса были изданы В. Истриным: *Откровения Методия Патарского и апокрифические Видения Даниила. М., 1987. Новое критическое издание греческой и латинской версий Апокалипсиса: Aerts W.J., Kortekaas G.A. A. Die Apokalypse des Pseudo-Methodius. Die ältesten griechischen und lateinischen Übersetzungen.*

Lovanii, 1998. Сирийская версия Апокалипсиса и ее немецкий перевод: *Reinink G.J.* Die syrische Apokalypse des Pseudo-Methodius. Louvain. 1993.

³⁰ О влиянии Псевдо-Методия на Георгия Трапезундского см.: *Monfasani J.* George of Trebizond... P. 132–136.

³¹ *Sackur E.* Pseudo Methodius... P. 92.

³² *Sackur E.* Pseudo Methodius... P. 80.

³³ СTr. CXLV. P. 571.

³⁴ *Ibid.* P. 570.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Матф. 1, 23. Ис. 7, 14.

³⁸ Матф. 1, 23.

³⁹ СTr. CXLV. P. 571.

⁴⁰ *Anderson A.R.* Alexander's Gate, Gog and Magog, and the Close Nations. Cambridge, 1932; *Hyonis Sp.* Byzantine Attitudes toward Islam during the Late Middle Ages // Greek, Roman and Byzantine studie 1971. N 12. Part 2. P. 418; *Vasiliev A.* Medieval Ideas of the End of the World: West and East // Byzantion. 1942–1943. N 16. P. 462–502; *Magdalino P.* The Year 1000... P. 234–271.

⁴¹ τὴν θεῖαν ἕνωσιν ταύτην. Георгий часто упоминает божественное единство (иногда просто единство) мусульман и христиан. Эта идея связана с другой мыслью Георгия Трапезундского о том, что на земле должны существовать “одна вера, одна Церковь и одно царство”. Здесь очевидно влияние на Георгия идей неоплатонизма. Единое и единство являются важнейшими категориями неоплатонической философии. Так Прокл в платоновской теологии неоднократно говорит о “божественном единстве” (ср.: *Прокл.* Платоновская теология. I, 68, 10–15; I, 98, 20–25). Это выражение (в вариациях: “блаженнейшее единство”, “непостижимое единство”, “божественное единство”) часто употребляет и Псевдо-Дионисий Ареопagit (ср.: *Дионисий Ареопagit.* О божественной иерархии, 75, 15; 88, 14; 89, 10; *Дионисий Ареопagit.* О божественных именах, 173, 3; 117, 10; 126, 4; 128, 7; 128, 15, 156, 17; 219; 220, 2).

⁴² СTr. CXLV. P. 570.

⁴³ СTr. CXLIV. I.1.: ὁ βασιλεὺ βασιλέων καὶ αὐτοκράτορων.

⁴⁴ СTr. CXLIV. I.1; СTr. CXLV. P. 570; LXXXII. P. 283; Γεώργιος ὁ Τραπεζοῦντιος 1954. P. 93.

⁴⁵ *Magdalino P.* The Year 1000... P. 253.

⁴⁶ *Georgii Codini Excerpta* 1655. P. 275–278; *Migne J.P.* Patrologiae cursus completus. Series Graeca (далее – PG). 107, 1141–50; О трактате см.: *Alexander P.J.* The Bysantine Apocalyptic Tradition. Berkeley, 1985. P. 130–136.

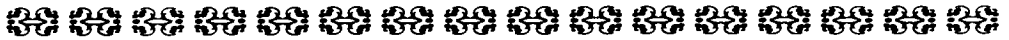
⁴⁷ PG 107, 1141, 19; 1144 В 5, В 15; 1148 А 2.

⁴⁸ *Ibid.* 1141, 19. Ср. У Георгия Трапезундского, который утверждал, что если Мехмеду Завоевателю удастся объединить христиан и мусульман в одной вере, то он станет императором не только земли, но и небес.

⁴⁹ *Ibid.* 1148 А 12.

⁵⁰ *Ibid.* 1141, 4.





PRAECEPTOR EUROPAE:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ МАРСИЛИЯ ФИЧИНО,
ГЛАВЫ ФЛОРЕНТИЙСКОЙ ПЛАТОНОВСКОЙ АКАДЕМИИ

О.Ф. Кудрявцев

Интерес к деятельности Фичино за пределами Италии проснулся довольно рано, хотя общеевропейское признание гуманист получил после публикации своих главных работ – “Платоновского богословия” (1482) и переводов Платона с комментариями (1484). В 1488 г. с видимым удовольствием он приводил свидетельство флорентийского богослова Павла Аттананти о том, что всю Европу заставил любить и почитать себя¹. По собственному признанию гуманиста в 1491 г., его письма имели хождение не только в Италии, но и направлялись в Испанию, Францию, Германию, Венгрию²: В качестве популяризатора трудов Платона и всей, как считалось, им суммированной традиции древнего богословия Фичино привлекал к себе внимание участников набиравшего силу гуманистического движения, а также не чуждых устремлениям ренессансной культуры государей и представителей правящего класса стран заальпийской Европы. Многих из них, сумевших сблизиться с флорентийским гуманистом, даже если с ним поддерживалось только заочное общение, можно отнести к возглавляемому им философскому товариществу, известному в историографии как Платоновская академия.

Венгрия

Самые ранние и прочные отношения установились у Фичино с людьми науки и культуры из Венгрии или с итальянцами, надолго обосновавшимися в этой стране. Первым, судя по всему, свел знакомство с Фичино Янош Варади, фигурирующий в их переписке под именем Иоанна Паннония. В послании Фичино середины 80-х годов он вспоминал, как, прибыв в Италию, он узнал от двух астрологов о намерении флорентийского гуманиста возродить философскую мысль древности; далее Иоанн уточнял, что еще до его приезда Фичино приступил к переводу Платона, а это означает, что на Апеннингах он появился не ранее лета 1463 г. По-видимому, между ними состоялось личное знакомство, иначе трудно объяснить, каким образом венгерский гуманист и богослов мог быть столь полно осведомлен о составе и порядке ранних трудов Фичино, о целях, обстоятельствах, сомнениях и колебаниях, которые им сопутствовали. И только на правах старого друга он мог обратиться к Фичино

с предложением опасаться, как бы восстановление древних, коему был предан флорентийский платоник, не оказалось скорее суетным, нежели делом благочестия³.

В своем весьма пространным ответе Фичино доказывал обусловленность вышней волей его ученой миссии по возрождению древнеязыческой мудрости, панораму развития которой он обрисовал (в очередной раз) для Иоанна Паннония; более того, свою деятельность он преподносил как некое призвание, нацеленное – ни больше, ни меньше – на то, чтобы спасти христианскую религию от угроз, обусловленных распространением двух нечестивых, с его точки зрения, школ перипатетической философии – александристов и авероистов⁴. На фоне всех других эпистол гуманиста письмо Иоанну Паннонию выделяется вполне откровенным и точным объяснением задач и смысла всех предпринимаемых Фичино трудов и поэтому может рассматриваться в качестве своего рода манифеста возглавляемого им направления мысли и ученого товарищества – Платоновской академии.

Иоанна Паннония, случается, путают с еще одним знакомым Фичино венгром, носившим сходное в латинском написании имя, – Яном Паннонием (по-латыни: *Ioannes Pannonius*), крупным церковным иерархом (епископом Печским) и известным неолатинским поэтом. Ему Фичино преподнес один из списков первой версии «Комментария на “Пир” Платона, о Любви»; в посвятельном письме, датированном августом 1469 г., флорентийский гуманист, называя его платоником, говорил о его авторитете, который должен внушить доверие венграм к писаниям Фичино, и уверял в своей любви к нему, которую, если не сможет донести письмо, засвидетельствует Петр Гаразда, “муж ученый и приятель наших друзей”⁵. Ян Панноний в свою очередь сделал Фичино комплимент в одном из стихотворных произведений, утверждая, что в нем живет душа Платона⁶.

Связи с венгерской интеллектуальной и политической элитой, прерванные смертью Яна Паннония (1472), были восстановлены в 1477 г., когда давний друг флорентийского платоника Франческо Бандини – тот самый Бандини, который сыграл главную роль в организации знаменитого чествования Платона, будто бы описанного в «Комментарии на “Пир”...» у Фичино – обосновался при дворе Матвея Корвина⁷. Между 1477 и 1479 гг. своему сподвижнику в Венгрию Фичино направил собственное сочинение “О жизни Платона” и отдельно предисловие к нему⁸.

Через Бандини и близких к нему гуманистически образованных аристократов у Фичино сложились прочные отношения с двором короля Матвея. Венгерского монарха он восхвалял в упомянутом уже предисловии к жизнеописанию Платона за покровительство эллинской образованности, которая, изгнанная из Греции, нашла приют в Паннонии, его владениях⁹. Однако от предложения переселиться туда под покровительство Матвея, “наисиятельного короля Паннонии”, переданного ему Бандини и Николаем Батори, епископом Вацким, Фичино отказался. “Выдержать путь мне трудно, – оправ-

дывался он в июне 1479 г. – Жить под этим небом, пожалуй, еще труднее”¹⁰. Впрочем, через несколько лет он станет предлагать Бандини и епископу Вацкому послать вместо себя (*ferre alter ego*) своего родственника Себастиано Сальвини¹¹.

В октябре 1480 г. Фичино, выполняя, по-видимому, поручение властей Флоренции и других итальянских государств, обнаруживших всю реальность угрозы турецкого захвата Апеннинского полуострова, обратился непосредственно к венгерскому королю с призывом возглавить войну против “страшного и ужасного” врага христианства¹².

Король, пополнявший собственное библиотечное собрание трудами гуманиста, как видно, очень ценил их. Посредником между Фичино и монархом выступал все тот же Бандини, из письма к которому за май 1482 г. узнаем, что Фичино посвятил королю Матвею две книги своих эпистол, отданные для переписки на средства некоего Франциска Юния, а также намеревался направить и другие свои труды, как только они выйдут из печати¹³; об их переделке он сообщал в следующем письме Бандини¹⁴. Скорее всего, самым концом 1484 г. или началом 1485 г. нужно датировать два письма по тому же адресу, извещающие о посылке в Венгрию Бандини переводов Плотина, изданных осенью 1484 г. за счет Филиппо Валори¹⁵. В ряде писем середины 80-х годов XV в. Фичино информирует венгерского корреспондента о том, как продвигается его работа над переводом Платона¹⁶. В последнем письме Бандини Фичино пишет, что вынужден был прервать комментирование Плотина на середине, так как занялся переводом Пселла, Синезия, Порфирия, Ямвлиха и Прискиана Лида. Послание датировано 6 января 1489 г.¹⁷ по флорентийскому стилю, т.е. 1490 г. Далее переписка прекратилась, возможно, из-за смерти Бандини, о котором после этой даты никаких сведений более не сохранилось¹⁸.

Наиболее значительным фактом стало посвящение венгерскому королю 10 июня 1489 г. трактата “О стяжании жизни с небес”, который сложился по ходу комментирования Плотина; на это было получено согласие Лоренцо Медичи (*Laurentio quidem probante*)¹⁹, которому, впрочем, были преподнесены все “Три книги о жизни”, в их составе и та, что адресовывалась Матвею Корвину. 6 января 1490 г. Фичино сообщал венценосному венгерскому корреспонденту об отъезде Филиппо Валори, своего друга и покровителя, в Буду с направляемыми королю книгами Прискиана Лида, Михаила Пселла, частью комментария к Плотину²⁰ – т.е. незадолго перед тем выполненными гуманистом переводами с греческого. Более полный список сделанных им новых переложений на латынь древних авторов Фичино давал в упомянутом уже последнем письме к Бандини, в нем он упоминал и о Филиппо Валори, “наипреданнейшем вашему королю человеку, изготовившем для короля *текст Плотина с комментариями* в королевском формате” (курсив мой. – *О.К.*)²¹. Как и две книги Фичиновых эпистол, так и незавершенный перевод Плотина, пополнившие библиотеку Матвея Корвина, копировались на деньги

состоятельных людей²². Вполне возможно, какой-то доход от этих подношений его трудов имел и сам гуманист.

Кроме указанных выше произведений, Фичино тогда же передал для изготовления копии трактат Ямвлиха “О мистериях египтян, халдеев, ассирийцев”, еще одно из переведенных им произведений; на этом настоял, возможно, следуя инструкциям патрона, Таддео Уголетто, библиотекарь короля Венгрии, находившийся тогда во Флоренции, хотя Фичино и выражал недовольство своим трудом, ибо из-за дурного качества оригинала давал не дословный перевод, но смысловой (*non ad verbum, sed ad sensum*)²³.

Со смертью короля Матвея (1490) и последовавшей за ней борьбой за престол Венгрии прочные связи, которые долгие годы сохранялись у Фичино с заинтересованными в его трудах королевским двором и гуманистически образованными представителями элиты этой страны, прекратились.

Германия и Нидерланды

Тесные контакты установились у Фичино с гуманистами и учеными из Германии и Нидерландов. С ним должен был встречаться и завязать добрые отношения Иоганн Рейхлин во время своих посещений Флоренции в 1482 и 1490 гг., если в 1491 г. он вместе с Людвигом Науклером рекомендовал ему молодежь из Швабии (возможно, своего брата Дионисия и Иоганна Штрелера) для их обучения во Флоренции²⁴. От Фичино, за трудами которого Рейхлин внимательно следил (см. в конце параграфа), он мог воспринять импульс к освоению древнейшей философско-богословской мудрости, в частности иудейской каббалы и учения пифагорейцев.

Главного сторонника и приверженца среди немцев Фичино нашел в лице Мартина Преннингера, известного южнонемецкого юриста, посетившего главу флорентийских платоников еще в 1476–1477 гг., но особенно активно общавшегося с ним в 1489–1493 гг. Сохранилось четырнадцать писем, направленных Фичино своему немецкому почитателю в эти пять лет (к сожалению, ответные письма Преннингера, которых должно быть не меньше, не сохранились)²⁵. Посвящением Преннингеру, датируемым июлем 1490 г., открывается девятая книга Фичиновых “Эпистол”: “Итак, прими охотно и читай счастливо, Ураний, мой небесный друг, Мартиновы, а равно и Марсилиевы письма. Будь счастлив, *alter ego*”²⁶. Обращает на себя внимание то, что в духе эпохи Преннингер взял (а вполне возможно, был присвоен ему Фичино) гуманистический псевдоним “*Uranius*”, “Ураний”, т.е. “небесный”²⁷; Фичино также называл его “*alter ego*”, “вторым я”, подчеркивая особое отношение к нему, и в последующем повторял это обращение не раз.

Самым ранним из сохранившихся писем к Преннингеру является послание Фичино за июнь 1489 г., в котором он, отвечая на просьбу адресата, приводил перечень своих трудов и переводов и указывал, какие сочинения латинян могут быть отнесены к платоновской традиции; в этом же письме, рассуждая

о двух путях к счастью (ad felicitatem) – философии и религии, – он пояснял, что у Платона оба они объединены; наконец, Фичино сообщал о посылке Преннингеру текста Алкиноя и обещал в другой раз выслать “божественного Ямвлиха”²⁸. Приведенный документ интересен прежде всего потому, что обнаруживает сразу все основные направления того, что можно было бы назвать “внешней составляющей” деятельности флорентийской Платоновской академии: информацию о ее трудах, их популяризацию и распространение, а также наставления в “платонической науке” взыскующих ее, но не имеющих возможности получать уроки ее непосредственно от главы Академии.

Как явствует из следующего письма за август 1489 г., Фичино, продолжая свою просветительскую деятельность, по просьбе Преннингера высылал ему собственные переводы Ямвлиха, Прокла и Синезия и указывал дату своего рождения и даже констелляцию небесных светил, при которой он появился на свет²⁹. В апреле 1490 г. Фичино информировал о выходе в свет “Трех книг о жизни” и обещал прислать в дар ее экземпляр – таким образом он благодарил за преподнесенные ему Преннингером кинжальные ножи, украшенные драгоценными камнями и золотом³⁰. В следующий раз Фичино сообщал, что письмо от 26 апреля 1490 г. с тремя рейнскими гульденами он еще не получил, тогда как другие письма Преннингера от 12 марта и 23 мая до него уже дошли. Впрочем, он тут же добавлял: “Не нужно мне от тебя, Мартин, ни золота, ни серебра, но только тебя; я удовлетворюсь одним тобой”³¹. Прямое отношение к Преннингеру имеет и предисловие к “Апологиям наслаждения”, коими заканчивается десятая книга “Эпистол”, в нем Фичино, используя символику чисел, рассуждает о платонической любви, связывающей его с “alter ego”³².

Подобно Рейхлину, Преннингер направлял во Флоренцию к Фичино молодых немцев для прохождения наук; об этом известно из писем за июнь и июль 1491 г. В первом из них Фичино уверял своего корреспондента в том, что позаботится о здоровье, воспитании и образовании своих подопечных, во втором – что они уже делают определенные успехи³³. Разузнав еще в 1489 г. о точной дате рождения флорентийского вождя платоников, его немецкий почитатель торжественно отметил этот день, 19 октября, в 1491 г. в Тюбингене “в собрании докторов и с большими издержками”, о чем Фичино узнал от Штрелера, путешествовавшего вместе с Дионисием Рейхлиным по Италии, и по поводу чего горячо благодарил Преннингера³⁴. В этом чествовании своего рода “живого классика”, как бы нового воплощения платоновской мудрости, заметно подражание самому Фичино, описавшему в «Комментарии на “Пир” Платона...» празднование ученым миром Флоренции дня рождения и смерти афинского философа. Преннингер, увлеченный идеями Фичино, учившего о постоянном возобновлении в разные времена и у разных народов древней традиции “благочестивой философии”, похоже, и в своем флорентийском наставнике поспешил увидеть возобновление этой традиции, создавая ему “настоящий культ”³⁵.

Весной – ранним летом 1492 г., когда Преннингер по поручению графа Вюртембергского Эберхарда Бородатого направил посольство к папе в Рим, он имел случай опять встретиться с Фичино, который упоминает об этом не раз³⁶. Возможно, их беседами была спровоцирована посылка письма с “Гимнами Орфею”, в котором Фичино сообщал о не опубликованных им ранних своих переводах и работах, в том числе и о комментариях к Лукрецию³⁷. В другом послании за август 1492 г. Фичино извещал о прибытии из Греции большой партии греческих рукописных книг, приобретенных Иоанном Ласкарисом еще по заказу Лоренцо Великолепного, но полученных уже его сыном Пьеро; в приложении к письму даны выдержки из перевода Проклова комментария к “Государству” Платона³⁸.

Неоднократно через Штрелера Преннингер просил Фичино указать круг его друзей и учеников, что тот и сделал в специальном послании, назвав имена восьмидесяти лиц, которых с полным основанием можно отнести к товариществу, известному как флорентийская Платоновская академия³⁹. Последнее из дошедших до нас посланий к Преннингеру посвящено звездам – излюбленной теме обсуждений обоих гуманистов⁴⁰.

Переписка Фичино и Преннингера, имевшая не частный характер, но предназначенная к публичному распространению, стала наиболее важным средством *прямого* влияния идей и культурных устремлений флорентийского неоплатонизма на направление духовных исканий гуманистических кругов Германии⁴¹.

Помимо Преннингера, Фичино адресовал письма также лицам, близко с ним связанным. Графу Эберхарду Вюртембергскому, на службе у которого состоял Преннингер, он сообщал, как его подданный, находясь в Италии, превозносил доблести своего государя⁴², или доказывал, что среди германских князей Эберхард занимает такое же выдающееся положение, какое Солнце среди других светил⁴³. В связи с этим вполне логичным было то, что летом 1492 г. Фичино посвятил Эберхарду первую, краткую редакцию своего трактата “О Солнце”⁴⁴. Видимо, по рекомендации Преннингера Фичино завязал отношения с Георгом Хервартом из Аугсбурга, адресуясь к которому, он в апреле 1491 г. как о близком друге отзывался об их общем знакомом: “Если ты любишь Марсилию, люби Мартина по фамилии Пнингер (Преннингер. – О.К.)...”⁴⁵. Это был ответ на полученные от Херварта ценный подарок – кубок из золота и серебра – и письмо, которое, надо полагать, из уважения к дарителю Фичино включил в свою переписку и в котором новый немецкий почитатель флорентийского платоника уверял, что день их встречи – самый радостный и счастливый в его жизни⁴⁶.

Из переписки Фичино известно также о его добрых отношениях с кельнским каноником Менкением, которого, повредившего в пути ногу в январе 1494 г., в качестве врача он навестил во Флоренции и который выразил желание следить за изданием (видимо, переизданием) “Трех книг о жизни”⁴⁷. С Павлом Миддельбургским, нидерландским математиком и медиком, нахо-

дившимся с 1482 г. на службе у герцога Урбинского Гвидобальдо да Монтефельтро, Фичино сошелся на почве их общего увлечения астрономической наукой, которую, по утверждению флорентийского платоника, тот усовершенствовал; об этом сказано в знаменитом письме о “золотом веке” (сентябрь 1492 г.), в нем, адресуясь к Павлу, Фичино вел речь о совершаемом в их время и с их, Павла и Фичино, участием грандиозном культурном перевороте⁴⁸.

О том, сколь пристально ученый мир Германии следил за публикациями уже прославившегося своими трудами главы флорентийской Платоновской академии, свидетельствует Иоганн Штрелер. В послании к Иоганну Капниону (гуманистическое прозвище Рейхлина) за 1491 г. он, именую Фичино “отцом нашим” (*pater noster*) (подразумевались, по-видимому, немцы, находившиеся во Флоренции под присмотром Фичино), сообщал, что Плотин еще не вышел из печати и будет он стоить два рейнских гульдена, что для него, Капниона, он уже купил Платона (конечно, в Фичиновом переводе) и “Платоновское богословие”, недавно перед тем отпечатанное в Венеции. Позже, в июле 1492 г., тому же лицу он пишет о завершении издания Платина и спрашивает, интересуется ли оно его, а также доводит до сведения адресата предложение Мартина Бремингера (Преннингера?) уступить по договорной цене (*de expensis tu cum eo convenias*) труды Платона, “Платоновское богословие” Фичино, “Гептапл” Пико и “Смесь” Полициано⁴⁹.

Таким образом, на пике и к концу своей ученой карьеры Фичино нашел среди немцев немало приверженцев, которые, проявив чрезвычайный интерес к его трудам и религиозно-философским исканиям, обеспечили ему устойчивое и долговременное влияние на последующее развитие гуманистической мысли Германии и других стран заальпийской Европы.

Франция

В сентябре 1496 г. Марсилий Фичино был, несомненно, ободрен свидетельством о его популярности на берегах Сены, присланным старейшим французским гуманистом Робером Гагеном: “Твоя доблесть и мудрость столь хорошо известны в нашей Парижской Академии, что имя твое почитают и прославляют как в собраниях ученых мужей, так и в школьных классах”. Далее он говорит о широком использовании Фичиновых переводов Платона, о том, что славу флорентийского гуманиста умножили Плотин, переложенный им на латынь, и другие плоды его ученых бдений (*alia lucubrationis tue volumina*), а также опубликованная им переписка (*familiares epistole*), из-за которой многие парижские студенты воспылали желанием увидеть его воочию и познакомиться лично с человеком столь высокой учености. Кончает Гаген просьбой к Фичино принять и присмотреть за прохождением наук во Флоренции одного из своих молодых друзей и соотечественников⁵⁰.

Завязались отношения Фичино с французскими интеллектуалами, интересовавшимися новейшими достижениями итальянского гуманизма, не позд-

нее 1491–1492 гг., когда Жак Лефевр д’Этапль, совершая поездку по Италии, наведаясь во Флоренцию⁵¹. Там он, по-видимому, встречался с Фичино и, вне всякого сомнения, с людьми из его окружения⁵². Учитывая интересы французского гуманиста, богослова и издателя, оправданно предположить, что по возвращении из Италии в 1492 г. он участвовал в парижской публикации “Трех книг о жизни”⁵³. В начале следующего 1493 г. он написал под влиянием этого Фичино трактата и “Тезисов” Джованни Пико делла Мирандола сочинение “О натуральной магии” (*De magia naturali*), посвященное Герману де Ганэ, которое, впрочем, так и не напечатал⁵⁴. Но самым большим вкладом Лефевра д’Этапля в популяризацию трудов Фичино стали публикации латинских переводов “Герметического свода”, первым изданием вышедшего в Париже летом 1494 г. со скромными пояснениями (*argumenta*) самого Лефевра, признававшегося, что предпринял сей труд, “движимый как любовью к Марсилию (который почитаем им как отец), так и величием Меркуриевой мудрости”⁵⁵; впрочем, во втором издании “Герметического свода” (Париж, 1505 г.⁵⁶) этого превознесения Фичино уже не было, а в обновленных пояснениях к нему открыто осуждалось магическое искусство⁵⁷. Нет нужды доказывать, что Лефевр д’Этапль, как и другие пропагандисты трудов Фичино за Альпами, мог, руководствуясь своими установками, изменять, а то и прямо искажать мысль флорентийского платоника. И все же один пример... Публикуя Дионисия Ареопагита в переводе Амвросия Траверсари (1481, переиздание – 1498), Лефевр в числе прочих свидетелей называл и Фичино, утверждая, что платоники – Нумений, Филон, Плотин, Ямвлих, Прокл – восприняли (*usuraverunt*) от Иоанна, Павла, Иерофея, Дионисия Ареопагита все богословское учение, а затем присовокуплял: “Если бы сей Марсилиус не хотел быть снисходительнее ко врагам христианской мудрости, он бы открыто признался – украли”⁵⁸. Разумеется, и содержание, и тональность этого замечания далеки от того, что писал о путях развития древнейшего богословия сам Фичино.

Еще более тесные отношения сложились у Фичино с Германом де Ганэ, каноником соборов Парижа и Буржа, а с 1497 г. – епископом Кагора, представителем той части служилой “французской аристократии, которая живо интересовалась новейшими духовными веяниями эпохи и оказывала поддержку людям культуры; Герман де Ганэ покровительствовал, в частности, Лефевру д’Этаплю, позже – Шарлю де Бовелю. К весне 1494 г. он был уже близок с Фичино настолько, что флорентийский гуманист мог назвать его “дражайшим моим Германом”, братом, рожденным общей их матерью Философией⁵⁹; а постольку поскольку у братьев ничего не должно быть порознь, то Фичино решил предоставить ему все свои работы: «Итак, я пошлю тебе вначале уже переписанные для тебя книги Дионисия и многих платоников (по-видимому, Порфирия, Ямвлиха, Синезия, Прискиана Лида, Михаила Пселла. – *О.К.*), которых ты давно домогаешься. Потом комментарии к “Пармениду”, с которых для тебя сейчас готовится список, затем последуют, пожалуй, комментарии к “Тимею” и “Софисту”... и (мои) “Письма”»; в заключение сказано, что Фичино

готов предоставить и перевод Плотина, если у его французского “собрата” этого труда совсем нет⁶⁰.

Документ этот ценен прежде всего тем, что показывает, сколь охотно Фичино шел на распространение своих трудов за пределами Италии и в сколь большом объеме они, подчас едва завершенные (ведь в цитированном письме речь шла о работах конца 80-х – первой половины 90-х годов), становились достоянием ученого мира Европы. Мотивами такой готовности поделиться своими разработками были не только славолубие и надежда на какое-то вознаграждение (о котором можно лишь гадать), но и с первых лет “платонического служения” вдохновлявшее Фичино убеждение в благотворности для духовного здоровья человечества открываемой богословской мудрости древних.

В следующем, написанном полгода спустя письме (октябрь 1494 г.) Фичино выражал надежду на то, что адресат скоро получит обещанные тексты платоников, и сожалел, что не смог из-за нерасторопности переписчиков отправить ему трактаты Дионисия Ареопагита, тут же уверяя, впрочем, в быстрой их пересылке вместе с собранием своих писем (которое, кстати сказать, в действительности выйдет только в 1495 г.); он также сообщал об изготовлении списка комментария к “Пармениду” и работе над списком комментария к “Тимею”⁶¹.

Затем последовало вторжение французов во Флоренцию (17 ноября), едва не закончившееся разграблением города. В этих условиях Фичино ободряло то обстоятельство, что в составе французского войска находился брат Германа Жан де Ганэ, президент парламента и канцлер короля; получив рекомендательное письмо от Германа, между 12 и 24 декабря 1494 г. Фичино направился к его брату, которого застал у монарха, о чем и написал Герману⁶². Чтобы закрепить наладившиеся отношения, он одарил Жана де Ганэ и историографа короля Паоло Эмили списком своего недавно созданного трактата “О Солнце”⁶³.

Впрочем, связи с пришельцами из-за Альп Фичино начал налаживать еще раньше. Уже в сентябре 1494 г. Жан Матерон де Салиньяк, посланный французским королем Карлом VIII к Пьеро Медичи, дабы договориться об условиях прохода королевской армии через территорию Флорентийского государства, получил от Фичино копии его сочинения “О Солнце” и “О свете” с посвятителным письмом, в котором флорентийский гуманист, перевозноя “Фебову мудрость и блеск добродетели” французского посла, рассуждал об Аполлоне-Солнце, источнике света, тепла, гармонии, знания, начале красоты, дружбы и любви, образе небесного Бога; впрочем, эти характеристики Аполлона-Солнца могли легко быть восприняты и как славословие королю⁶⁴.

Самому французскому монарху, когда он вступил во Флоренцию, Фичино посвятил речь, в которой называл его Божьим посланцем, предназначенным освободить от владычества варваров Святую Землю, “королем-миротворцем”, пришедшим в Италию вернуть себе наследственные владения и установить

справедливый мир, а также оборонить не только своих подданных, но и весь круг земель Божьих от турок⁶⁵. В своей речи Фичино повторял общие места профранцузской пропаганды, развернутой в это время⁶⁶; однако, как и в тех случаях, когда он обращался к венгерскому королю и к папе, так, похоже, и в этом он действовал не только в собственных видах, но и в интересах своей коммуны, в частности “подсказывая” французскому монарху антиосманское направление политики, выгодное прежде всего итальянцам.

Что, в итоге, дошло из обещанного Фичино до Германа де Ганэ, который при жизни флорентийского гуманиста из всех французов проявлял наибольшую заинтересованность в его трудах? П.О. Кристеллер нашел кодекс, принадлежавший Герману, в котором содержались комментарии к Павловым посланиям, выдержки из Фичинова перевода трактата Ямвлиха “О таинствах...” и заметки (annotationes) из комментария к “Пармениду”⁶⁷. Скорее всего, в нем представлены далеко не все труды Фичино, которыми он поделился со своим французским почитателем. В марте 1495 г. он оповестил Германа о смерти своих друзей – Джованни Пико, приключившейся в тот самый день, когда французские войска вошли во Флоренцию, и о смерти Анджело Полициано двумя месяцами раньше, – присовокупив краткие реестрики их трудов⁶⁸. А позже в качестве своего рода утешения послал ему рукопись с переводом трактата Афинагора “О воскресении”⁶⁹.

Последним из известных нам писем Герману де Ганэ стало обнаруженное П.О. Кристеллером в первом издании Фичинова перевода Афинагора (Париж, 1498) послание, содержащее комментарий к орфическому гимну о природе⁷⁰. Как видно из контекста, этот Де Ганэ еще прежде просил прислать ему сочинение, приписываемое легендарному Орфею, переложение которого на латынь было выполнено Фичино в 1462 г., в числе его первых опытов перевода с древнегреческого. Любопытно, что Фичино, который ранние переводы не публиковал и никак не популяризировал, опасаясь прослыть пропагандистом языческих религиозных культов, удовлетворил желанию своего французского почитателя и переправил ему выполненную им латинскую версию орфического сочинения, снабдив ее толкованием. Это, несомненно, свидетельствует об особом доверии, установившемся между главой флорентийских платоников и Германом де Ганэ. И увлеченный изучением древнейших богословских тайн французский последователь Фичино не обманул ожиданий наставника: опубликовав его письмо, текст самого источника он не напечатал.

Англия

Отношения Фичино с гуманистическими кругами Англии должны были завязаться не позднее 1485–1486 гг., когда кентерберийский монах Уильям Селлинг, которого можно отнести к первым тамошним гуманистам, наряженный послом к папе Иннокентию VIII, проезжал через Флоренцию (впервые Селлинг посетил Италию в 1464 г., приобретя там ценные греческие ру-

кописи)⁷¹; в этом городе он оставил одного из лучших своих учеников Томаса Линакра (находился во Флоренции в 1485–1486 гг.), вслед за которым там появился Уильям Гроцин (жил во Флоренции в 1488–1490 гг.); и тот и другой изучали во Флоренции греческую словесность под руководством Анджело Полициано и других ее знатоков⁷². Основываясь на ранних своих впечатлениях, Линакр в посвящении к изданию греко-латинского словаря Джулио Полидевка (Флоренция, 1521) первым в числе тех, кои свидетельствовали собой о расцвете духовной жизни Флоренции времен Лоренцо Великолепного, называл “Марсилия Фичино, единственного, кто тогда учением и нравами подражал Платону”⁷³.

Более тесные отношения сложились у Фичино с близким другом Линакра и Гроцина Иоанном Колетом, который в 1492–1496 гг. обучался богословию во Франции (Орлеан, Париж) и Италии (Рим)⁷⁴ и в связи с этим интересовался трудами Фичино и Джованни Пико⁷⁵. Нет никаких данных, подтверждающих принятое в историографии мнение⁷⁶; будто Колет был знаком с Фичино⁷⁷, более того, он сам выражал сожаление, что никогда не видел флорентийского платоника⁷⁸; тем не менее сохранившиеся фрагменты переписки между ними свидетельствуют об определенной духовной близости этих двух гуманистов-богословов.

Первым, как видно, начал Колет⁷⁹. В своем послании к Фичино (конец 1498 г.) Колет почтительно назвал его Солнцем. Польщенный Фичино мягко ему возразил в феврале 1499 г., обыграв одно из положений своей философии любви: сила любви – наставлял он своего юного английского корреспондента – проявляет себя в том, что любящий человек образ любимого в своем сознании делает совершеннее, чем он есть на самом деле; вот и “ты, любящий Иоанн, лишь только увидел свет духа нашего, сверкающий в писаниях (наших. – *О.К.*) так же как Луна в воде, почти согласный с твоим духом, еще сильнее воспылал любовью и, одержимый ею, тотчас принял Луну за Солнце”⁸⁰. В письме этом, обнаруженном в экземпляре венецианского издания “Эпистол” 1495 г., которое хранится в Оксфордской библиотеке, и впервые опубликованном Р. Марселем⁸¹, обращают на себя внимание два обстоятельства: во-первых, Фичино не случайно выбирает для себя образ Луны, ибо образ Солнца, само собой разумеется, по праву мог быть отнесен только к Платону, отражением которого – и в учении, и в жизни – хотел быть его ренессансный последователь; во-вторых, ясно сказано о знакомстве Колета с трудами (*scriptis*) Фичино.

Из сочинений Фичино Колет определенно и очень хорошо знал “Эпистолы”, оксфордский экземпляр которых испещрен его маргиналиями⁸². По длинным заимствованиям из “Платоновского богословия” ясно, что Колет освоил и эту работу Фичино⁸³. Возможно, ему был известен также трактат “О Солнце и свете”, вышедший в начале 1493 г., чтение которого могло подсказать ему мысль сравнить Фичино с Солнцем⁸⁴.

Варианты своего ответа – эти черновики и неокончателный текст только и сохранились – Колет писал весной 1499 г. на обороте скопированной им эпистолы Фичино. Именно в них Колет говорит о том, как он хотел бы повидать Фичино, а также к полученному письму просит прислать еще одно письмо⁸⁵. И Фичино откликнулся. Летом 1499 г. он направил Колету послание, гораздо пространнее первого, доказывая в нем превосходство разума перед любовью, влечением и волей⁸⁶.

Этими двумя письмами с философскими рассуждениями на темы, к которым Фичино часто обращался в своих произведениях, его заочное наставничество Колета в платонической науке и завершилось. Стоит отметить, что в этот же период увлечение английского богослова-гуманиста идеями афинского философа засвидетельствовано еще одним документом – письмом Эразма Роттердамского, отправленном из Лондона в декабре 1499 г. Роберту Фишеру. Восторженно отзываясь о своих английских знакомых Гроцине, Линакре, Море, о Колете Эразм писал: “Когда я слушаю моего Колета, мне кажется, что я слышу самого Платона”⁸⁷. Обращает на себя внимание, что Колет выступал в Оксфорде с “Толкованиями на Послания Блаж. Павла к Римлянам” в 1498–1499 гг.⁸⁸, т.е. вскоре после того, как Фичино был занят публичным комментированием этого же произведения во Флоренции (1496–1497). И, вполне возможно, что такое совпадение – не простая случайность. Во всяком случае некоторые положения, высказанные Колетом, говорят об идейной близости двух мыслителей. Так, подобно Фичино, он обрушивается с критикой на принцип частного владения имуществом, узаконенный, как сказано в “Толкованиях на Послания Блаж. Павла...”, правом народов (*ius gentium*), противный изначальным установлениям благой природы, повелевающей всем иметь все сообща (*omnium rerum communionem*). О предпочтении порядка общности, единства людей такому состоянию, когда они разделены собственностью, преследованием каждый своей выгоды (*progrum commodum*), он с осуждением пишет в другом своем произведении “О мистическом теле Христовом”⁸⁹. Имея в виду, что позже, в “Утопии” Томаса Мора, эти идеи и главы флорентийских платоников и его английского корреспондента получают более полное и обстоятельное обоснование и выражение, творчество Колета с полным основанием можно рассматривать как необходимое звено в развитии общежительных идеалов ренессансного гуманизма⁹⁰.

Польша

Известно лишь одно лицо в Польше, с которым Фичино поддерживал на протяжении ряда лет активные и, пожалуй, дружеские отношения, хотя единомышленниками их назвать невозможно. Это – бежавший после разгрома в 1468 г. папой Павлом II римской академии Помпония Лэта сначала в Турцию, а с 1469–1470 гг. обосновавшийся в Польше Филиппо Буонаккорси, извест-

ный также под именем Каллимаха Римского и академическим псевдонимом Эспериенте. Он занимал высокие должности и был весьма влиятельным человеком при польском королевском дворе⁹¹. Сохранилась переписка между Фичино и Каллимахом, по три письма с одной и с другой стороны⁹². Первым ранее 1485 г. написал Фичино⁹³, приветствуя своего “сотоварища-платоника Каллимаха” и восхищаясь его разносторонностью, объяснение которой он искал в популярной среди неоплатоников теории о том, что качества характера человека уже с рождения определены его демоном-покровителем⁹⁴. Однако это дружеское обращение к нему как к “сотоварищу-платонику” не удержало Каллимаха от полемики⁹⁵, в которой он указывал, что в человеке душа не оставляет места для какой бы то ни было другой духовной сущности⁹⁶.

Затем Фичино писал Каллимаху в апреле 1485 г., сообщая, что он занят переводом Плотина⁹⁷; на это письмо Каллимах отреагировал, по-видимому, в самом конце 1486 г. шутливо-игривым и в то же время исполненным почтения посланием Фичино, названному в нем “ученым восстановителем Академии” (*Achademie restitutor doctissime*) и “украшением нашего века” (*seculi nostri decus*). Из него мы узнаем, что состоялось личное знакомство двух гуманистов; Каллимах обещал своему флорентийскому другу обсудить кое-какие “вопросики” (*questiunculas*), когда тот закончит перевод Платона⁹⁸. Кроме ответного письма, как явствует из прибавки к нему, сделанной гуманистом, представителем известной флорентийской купеческой семьи Латтанцио Тедадьди, Каллимах через него направил Фичино также кое-какие “экзотические” подарки: “меховое облачение из куницы, другое меньшего размера облачение из пуха какой-то птицы, меч с рукоятью из рога, похожего на камень яшму (вещь замечательнейшая) и пару обуви из скифской кожи”⁹⁹.

Новый обмен письмами состоялся в 1488 г. уже по инициативе польского корреспондента, который сообщал Фичино о пожаре, уничтожившем все его имущество; погибли в огне и “вопросики”, предназначенные им Фичино, кое-го он шутливо-уважительно именует “насельником и устройтелем Платоновского сада” (*rigatorem et colonum Platonice silve*). Стоит обратить внимание, что за Фичино Каллимах признает право на учительство, за собой – учиться у него¹⁰⁰. Стараясь найти философское утешение для своего друга, в ответном послании Фичино сослался на учение Орфея, согласно которому “все должно уничтожиться в огне”¹⁰¹.

С этого времени никаких свидетельств о прямых контактах Фичино и Каллимаха не осталось. Тем не менее, по мнению некоторых исследователей, интерес итальянско-польского гуманиста к идеям Фичино сохранялся и в последующие годы. Так, в его “Предисловии к соннику Леона Туска” (*Praefatio in Somniarum Leonis Tusci*), которое было создано в 1495 г., они усматривают скрытую полемику с Фичино (не названного по имени), доказывавшим, что во сне душа становится свободна от тела и всех с ним связанных действий; вопреки этой концепции в сочинениях Каллимаха отстаивалось неразрывное единство души с телом, которое проявлялось также во снах¹⁰².

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ “Gratissime mihi contigerunt literae tuae, quibus equidem intellexi, et te bene valere et me volare, quod enim (ut scribis), totam iam Europam in amatoriam mihi subegerim servitutum, facere quidem accessu non valui, ergo feci volatu” (*Ficinus M. De Famae volatu*. Et quod sua cuique charissima sunt // Ep. lib. VIII. P. 891. 4). Об Аттаванти и его деятельности в качестве религиозного проповедника и писателя см.: *Dizionario biografico degli italiani* (далее – DBI). 1962. Vol. 4. P. 531–532 (статья без указания имени автора).

² “Quae (literae. – *O.K.*) tamen alibi feliciore fortuna fretae, non solum per omnem Italiam, sed etiam in Hispaniam iamdiu, Galliam, Germaniam, Pannoniam, pervolarunt...” (*Ficinus M. Purgatio de literis non redditis* // Ep. lib. XI. P. 926. 2. Письмо адресовано кардиналу Рафаилу Риарио). Впрочем, как заметил Р. Марсель, ни одного письма Фичино в Испанию не обнаружено: *Marcel R. Marsile Ficin (1433–1499)*. P., 1958. P. 534.

³ “Equidem te amice moneo, caveas, ne forte curiositas quaedam sit isthaec renovatio antiquorum, potius quam religio” (*Ioannes Pannonius Marsilio Ficino. Dubitatio utrum opera philosophica regantur fato an providentia* // Ep. lib. VIII. P. 871. 2; *Abel E. Analecta nova ad historiam Renascentium in Hungaria litterarum spectantia*. Budapestini, 1903. P. 278).

⁴ *Ficinus M. Quod divina providentia statuit antiqua renovari* // Ep. lib. VIII. P. 871. 3; *Abel E. Op. cit.* P. 279–281.

⁵ *Commentarium in Platonis Convivium de Amore nuper a nobis editum tibi potissimum, vir clarissime, dicare constitui, quia et Platonicus es apprime, et nobis singulari quodam amore coniunctus; sic enim Platonica ad Platicum, amatoriam ad amatissimum retulerimus. Dabit praeterea scriptis nostris fidem auctoritas tua non mediocrem... Amor in me tuus mea commendabit tibi, et auctoritas tua Pannoniis ipsa laudabit. Amorem vero in te meum, quando id mea non potest epistola, Petrus Garasda, vir doctus et utriusque nostrum familiaris, cum apud te fuerit, declarabit”* (Mátyás király levelei / Ed. Fr. Vilmos. Budapest, 1893. P. 202–203; *Supplementum Ficinianum* / Ed. P.O. Kristeller. Florentiae, 1937. Vol. 1–2 (далее – SF). Vol. I. P. 88). Подробнее о связях Фичино с Яном Паннонием и о Петре Гаразде см.: *Huszt J. Tendenze platonizzanti alla corte di Mattia Corvino* // *Giornale critico della filosofia italiana* (далее – GCFI). 1930. Vol. XI. Fasc. 1. P. 1–37; Fasc. 2. P. 135–162; Fasc. 3. P. 220–236; Fasc. 4. P. 272–287). Fasc. 1. P. 26–37.

⁶ “Nuper in Elisiis animam dum quero Platonis / Marsilio hanc Samius dixit inesse senex” (SF. Vol. II. P. 269).

⁷ *Huszt J. Op. cit.* Fasc. 2. P. 146–150; *Kristeller P.O. An unpublished description of Naples by Francesco Bandini* // *Kristeller P.O. Studies in Renaissance thought and letters*. Roma, 1969 (далее – SRTL). P. 399; *Vasoli C. Bandini Francesco* // DBI. 1963. Vol. 5. P. 709, 710.

⁸ *Ficinus M. De vita Platonis; Prooemium in opusculum de vita Platonis* // Ep. lib. IV. P. 763–770, 782. 2 (см. изд.: *Abel E. Op. cit.* P. 274). Текст “О жизни Платона” использовался Фичино в качестве вводной части «Комментария на “Филеба”», с которым гуманист выступал публично. См.: SF. Vol. I. P. 79.

⁹ “O ferrea secula, quibus Mars illae saevissimus Atticas diruit Palladis arces! Non igitur in miseram Graeciam, sed in Pannoniam, Marsili, me conferam. Ibi enim floret magnus rex ille Mathias, qui mira quadam potentia similiter et sapientia fretus certis relabentibus annis aedem potenti sapientique Palladi, hoc est Graecorum gymnasia, reparabit” (*Ficinus M. Prooemium in opusculum de vita Platonis*. P. 782. 2; *Abel E. Op. cit.* P. 274).

¹⁰ “Cum accepi tuas (Николая Батори. – *O.K.*) Bandinique literas, quibus vehementer suadetis, ut in Pannoniam proficiscar, gratissimum Mathiae serenissimo Pannoniae regi futurus, perfeceram iam quinque Platonicae sapientiae claves... Venire autem me difficile est. Vivere deinde sub isto coelo forsitan difficilius...” (*Ficinus M. Montes non separant animos montibus altiores* // Ep. lib. IV. P. 782. 3). См. также сообщение Корси: *Cursius J. Vita Marsilii Ficini*. XXII // *Marcel R. Marsile Ficin*. 1433–1499. P., 1958. P. 688. См. в связи с этим: *Huszt J. Op. cit.* Fasc. 4. P. 273; *Marcel R. Marsile Ficin*. 1433–1499. P., 1958. P. 452; *Klaniczay T. Mattia Corvino e l'umanesimo italiano*.

Roma, 1974. P. 17; *Gentile S.* Marsilio Ficino e l'Ungheria all'epoca dell'umanesimo corviniano // Italia e Ungheria all'epoca dell'umanesimo corviniano. Firenze, 1994. P. 97.

¹¹ *Ficinus M.* Petitio commendatioque artificiosa // Ep. lib. VII. P. 858. 1; *Idem.* Multa quae stellae significant, demones persuadent, nos agimus // Ep. lib. VIII. P. 884. 2. См. также: *Kristeller P.O.* An unpublished description... P. 400.

¹² *Ficinus M.* Exhortatio ad bellum contra Barbaros // Ep. lib. III. P. 721–722; *Abel E.* Op. cit. P. 271–273.

¹³ *Ficinus M.* In solo Deo salus // Ep. lib. VII. P. 856. 2; *Abel E.* Op. cit. P. 275–276. См. также: *Kristeller P.O.* De traditione operum Marsilii Ficini // SRLT. P. 125.

¹⁴ *Ficinus M.* Petitio commendatioque artificiosa. P. 857. 4; *Abel E.* Op. cit. P. 276.

¹⁵ “Accedit ad vos tandem Plato noster pia Philippi Valoris opera” (*Ficinus M.* Commendatio librorum platoniorum // Ep. lib. VIII. P. 870. 3; *Abel E.* Op. cit. P. 277); “Platonem, Bandine, quem petitis, arbitror iam ad vos ante has literas pervenisse...” (*Ficinus M.* Quod qua via ducit Deus pergendum sit // Ep. lib. VIII. P. 871. 1; *Abel E.* Op. cit. P. 277).

¹⁶ См.: Ep. lib. VIII. P. 871. 2; 879. 2; 879. 4; *Abel E.* Op. cit. P. 278, 282.

¹⁷ *Ficinus M.* Satis ad unum scribit amicum qui cunctis simul scribit amicis // Ep. lib. IX. P. 895–896; *Abel E.* Op. cit. P. 285–286.

¹⁸ *Kristeller P.O.* An unpublished description... P. 401.

¹⁹ *Ficinus M.* Prooemium in librum De vita coelitus comparanda // Opera omnia Marsilii Ficini. Basileae, 1576. Vol. 1–2 (далее – Op. om.). P. 529; *Abel E.* Op. cit. P. 289–290. См. также: *Della Torre A.* Storia dell'Accademia Platonica di Firenze. Firenze, 1902. P. 622; *Huszt J.* Op. cit. Fasc. 3. P. 228–230; *Gentile S.* Op. cit. P. 105.

²⁰ *Ficinus M.* Amicus in amico. Item excusatio de itinere non suscepto // Ep. lib. IX. P. 896. 2; *Abel E.* Op. cit. P. 286–287.

²¹ “...Philippus Valor, valoris et gratiae plenus, regique vestro omnium deditissimus, *Plotini textus commentariaque* regi transcribit, volumine regio” (кусив мой. – *О.К.*) (*Ficinus M.* Satis ad unum scribit... // Ep. lib. IX. P. 896. 1).

²² См. в связи с этим: *Kristeller P.O.* De traditione operum Marsilii Ficini. P. 125–126.

²³ *Ficinus M.* Tideo procuratori // *Abel E.* Op. cit. P. 288. см.: *Huszt J.* Op. cit. Fasc. 3. P. 232–233; *Kristeller P.O.* De traditione... P. 126.

²⁴ См. ответ Фичино немецким гуманистам: *Ficinus M.* Pro adolescentibus e Suevia missis ad academiam Florentinam // Ep. lib. XI. P. 926. 3. Маловероятно, что “Флорентийской академией” в этом письме Фичино назвал университет своего города, к которому он не имел уже прямого отношения; скорее всего, он вел речь о гуманистических школах и кружках, посещать которые должны были молодые немцы. О Рейхлине и Фичино см. также: *Geier L.* Johann Reuchlin. Sein Leben und seine Werke. Leipzig, 1871. S. 25, 29, 34; *Marcel R.* Op. cit. P. 534, 535; *Brod M.* Johannes Reuchlin und sein Kampf. Stuttgart; Berlin, 1965. S. 53–60. Неверно утверждение А.Н. Немилова (см. его кн. “Немецкие гуманисты XV в.”, Л., 1979. С. 144), будто Рейхлин встречался с Фичино в Риме – городе, в котором флорентийский платоник никогда не бывал.

²⁵ *Zeller W.* Der Jurist und Humanist Martin Prenninger gen. Uranius (1450–1501). Tübingen, 1973. S. 18–20, 65–74.

²⁶ *Ficinus M.* Prooemium // Ep. lib. IX. P. 893. 1.

²⁷ См. подробнее об этом: *Zeller W.* Op. cit. S. 77–79.

²⁸ *Ficinus M.* Responsio petenti Platonicam instructionem et librorum numerum // Ep. lib. IX. P. 899. I. В тексте письма речь идет о работе позднеантичного платоника Альбина, которого в средние века именовали Алкиноом.

²⁹ *Ficinus M.* Responsio desideranti natalem suum et reliqua // Ep. lib. IX. P. 901. 2.

³⁰ *Idem.* In librum de vita, de accepto dono // Ep. lib. IX. P. 908. 5.

³¹ *Idem.* Declaratio amoris amici // Ep. lib. X. P. 912. 2.

³² *Idem.* Prooemium in Apologos de voluptate // Ep. lib. X. P. 921. 2. Фичино посвятил своему немецкому другу четыре из десяти апологий наслаждения (Ep. lib. X. P. 922, 925). См.: *Marcel R.* Op. cit. P. 323.

³³ *Ficinus M.* Charitas et pietas potissimum est sapientis officium // Ep. lib. XI. P. 926. 1; *Idem.* Rationes negotiorum suorum amico reddendae // *Ibid.* P. 928. 2.

³⁴ “Ioannes Streler ille vester, ac prope iam noster, legit mihi hodie parten epistolae ad se tuae, amoris erga nos ardentissimi plenam, qua praeterea significabas te natalem nostrum, et doctorum coetu, et magnifico sumptu celebravisse” (*Idem.* Gratiarum actio // Ep. lib. XI. P. 929. 3 (письмо датировано ноябрем 1491 г.).

³⁵ *Marcel R.* Op. cit. P. 535.

³⁶ См.: Ep. lib. XI. P. 933, 937; XII. P. 949. По мнению Р. Марселя (*Marcel R.* Op. cit. P. 523–524), Фичино встречался с Преннингером в апреле и июне 1492 г., когда немецкий посол ехал в Рим и обратно. 26 июля 1492 г. Фичино благодарил своего друга и покровителя Филиппо Валори, флорентийского посла в Риме, за великолепный прием, оказанный им вюртембергскому послу: “Martinus Uranius, alter ego, ad nos reversus narravit hodie, quam amice, quamque magnifice eum exceperis” (*Ficinus M.* Laudes amici scilicet Bindacii Recasolani // Ep. lib. XI. P. 932. 3).

³⁷ *Ficinus M.* Opiniones non temere divulgandae. Item Orphei carmina // Ep. lib. XI. P. 933, 935.

³⁸ *Idem.* Prooemium in compendium Proculi // Ep. lib. XI. P. 931–943.

³⁹ *Idem.* Catalogus familiarium atque auditorum // Ep. lib. XI. P. 936. 2. Целлер насчитывает 90 персон в этом письме, вероятно, принимая иногда трех- или двухчастные имена за названия двух или трех разных лиц (*Zeller W.* Op. cit. P. 72–73).

⁴⁰ “Iuvat una tecum mi Uranie vir coelestis coelestia saepe tractare” (*Ficinus M.* Saepe in coelestibus gemini sunt. Item Soles duo // Ep. lib. XII. P. 949–950).

⁴¹ См. также: *Zeller W.* Op. cit. P. 75.

⁴² *Ficinus M.* Laudes legitimi principis // Ep. lib. XI. P. 932. 4.

⁴³ *Idem.* Prooemium in comparisonem Solis ad Deum // Ep. lib. XL P. 944. 2. См. об этом также: *Klibansky R.* The continuity of the Platonic tradition during the Middle Ages. Outlines of a corpus platonicum medii aevi. L., 1939. P. 43–48.

⁴⁴ См: *Kristeller P.O.* Introductio. P. CXI–CXIV.

⁴⁵ “Quamobrem si Germani comiter omnes mihi sunt germani, quid dicam de viris amicisque inter vos egregiis? De Martino Uranio amico coelesti?... Ac si Marsilium amas ama Martinum cognomine Pnyngerum (Praenyngerum. – O.K.), si me cupis amore quodam coelesti complecti, Uranium Amorem meum tota mente complectere...” (*Ficinus M.* Responsio pro dono argentei calicis // Ep. lib. XL P. 924, 925).

⁴⁶ См.: *Georgius Herivart Augustinensis* Marsilio Ficino Platónico Epistola de dono argentei calicis // Ep. lib. XI. P. 924. 2.

⁴⁷ *Ficinus M.* Menchen Sacerdoti Coloniensi praeclaro iuris canonici professori magni Coloniae antistitis secretario // Ep. lib. XII. P. 955. 3.

⁴⁸ *Idem.* Laudes seculi nostri tanquam aurei ab ingeniis aureis // Ep. lib. XII. P. 944. 3 (См. перевод О.Ф. Кудрявцева в кн.: Гуманистическая мысль итальянского Возрождения. М., 2004. С. 268–269).

⁴⁹ См.: SF. Vol. II. P. 306.

⁵⁰ *Gaguinus R.* Epistole et orationes. Ed. L. Thuasne. P., 1904. N 76; SF. Vol. II. P. 242.

⁵¹ *Renaudet A.* Préréforme et humanisme à Paris pendant les premières guerres d’Italie (1494–1517). P., 1916. P. 135–145.

⁵² *Vasoli C.* Sugli inizi della fortuna di Ficino in Francia: Germain et Jean de Ganay // Les cahiers de l’humanisme. Vol. II. Marsile Ficino ou les mystères platoniciens. Actes du XLII Colloque international d’Etudes Humanistes. Tours, 1999. P. 300.

⁵³ *Renaudet A.* Un problème historique: la pensée religieuse de Jacques Lefèvre d’Étaples // Medioevo e Rinascimento. Studi in onore di Bruno Nardi. Firenze, 1955. Vol. II. P. 631; *Vasoli C.* Op. cit. P. 301.

⁵⁴ *Renaudet A.* Un problème historique... P. 631; *Vasoli C.* Op. cit. P. 301.

⁵⁵ Curavit libenter qua valuit diligentia Faber Stapulensis ex vitiato exemplari hoc opus reddere castigatum: tum amore Marsilii (quem tanquam patrem veneratur), tum Mercurii sapientie magnitudine promotus” (*Mercurius Trismegistus*. Liber de potestate et sapientia Dei. Parisiis, 1494. Sig. eIIr).

⁵⁶ *Idem*. Pimander. Asclepius. Crater Hermetis Lazarelo Septempedano. Parisiis, 1505.

⁵⁷ См.: *Kristeller P.O.* Introductio // SF. Vol. I. P. LVII–LVIII, CXXX–CXXXI; *Vasoli C.* Op. cit. P. 301; *Йеймс Фр.А.* Джордано Бруно и герметическая традиция. М., 2000 (1-е изд. на английском языке – 1964). С. 160.

⁵⁸ См.: SF. Vol. II. P. 236. См. также: *Walker D.P.* The “Prisca Theologia” in France // *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes* (далее – JWCi). 1954. Vol. XVII. N 3–4. P. 217–221, 253–255; *Tigerstedt E.N.* The decline and fall of the Neoplatonic interpretation of Plato. Helsinki, 1974. P. 26–27; *Кудрявцев О.Ф.* Богословские искания и философия культуры ренессансного неоплатонизма // *Религии мира*. 1989–1990. М., 1993. С. 60. Примеч. 45.

⁵⁹ “Salve igitur iterum dilectissime mi Germane, quem mihi re vera germanum communis peperit Philosophia mater” (*Ficinus M.* Sapientes filii sunt Minervae, haec Philosophiam parit, Philosophia Philosophos // Ep. lib. XII. P. 957. 2).

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ *Ficinus M.* Multifaciendum est laudari a laudato viro // Ep. lib. XII. P. 960. 2.

⁶² *Ficinus M.* Gratulatio pro literis diu expectatis // Ep. lib. XII. P. 963. 2. См. также: *Marcel R.* Op. cit. P. 547; *Vasoli C.* Op. cit. P. 305–306.

⁶³ См. письма к Жану де Гане и Паоло Эмили: *Ficinus M.* Pro libro de Sole // Ep. lib. XII. P. 964. 2; *Idem.* Pro libro de Sole // Ep. lib. XII. P. 964. 3. См. также: *Marcel R.* Op. cit. P. 548; *Vasoli C.* Op. cit. P. 308.

⁶⁴ *Ficinus M.* De Iove amicali et Apolline pro libro de Sole. Oratio ad Ioannem Matheronem magni Gallorum regis inclutum oratorem // Ep. lib. XII. P. 959. 4.

⁶⁵ *Ficinus M.* Oratio ad Carolum magnum Gallorum regem // Ep. lib. XII. P. 960–961.

⁶⁶ Об этом см.: *Vasoli C.* Op. cit. P. 307, 308.

⁶⁷ *Kristeller P.O.* Introductio. Vol. I. P. CXXXII; *Vasoli C.* Op. cit. P. 308.

⁶⁸ *Ficinus M.* Ad Germanum Ganaiensem // SF. Vol. II. P. 92–93.

⁶⁹ В кратком предисловии сказано: “Ego igitur ut te propter acebrum Politiani Picique virorum excellentium obitum moerentem pro viribus consolarer, statui ad te mittere quae ex libro Athenagorae Atheniensis philosophi excerpti interpretatus e Graeco” (*Ficinus M.* Athenagorae de resurrectione excerpta ad Germanum Ganaiensem // Op. om. P. 1871).

⁷⁰ *Ficinus M.* dilectissimo Germane // SRTL. P. 96–97. См. русский перевод О.Ф. Кудрявцева в кн.: Гуманистическая мысль итальянского Возрождения. Переводы с латинского и итальянского. М., 2004. С. 269–270. См. также: *Kristeller P.O.* The scholastic background of Marsilio Ficino // SRTL. P. 50–54; *Vasoli C.* Op. cit. P. 308–311.

⁷¹ *Marcel R.* Marsile Ficin. P. 535.

⁷² См. подробнее: *Idem.* Les découvertes d’Erasmus en Angleterre // *Mélanges Renaudet*. Genève, 1952. P. 119–120; *Осиновский И.Н.* Томас Мор: утопический коммунизм, гуманизм, Реформация. М., 1978. С. 58.

⁷³ “Floruerunt nostra aetate Florentiae bonae disciplinae cui rei testes sunt nobis eruntque posteritati Marsilius Ficinus solus sua aetate Platonem moribus et doctrina imitatus ...” (Цит. по: *Marcel R.* Marsile Ficin. P. 248. N 2).

⁷⁴ *Jayne S.* John Colet and Marsilio Ficino. Oxford, 1963. P. 16–21.

⁷⁵ *Miles L.* John Colet and the Platonic tradition. L., 1961.

⁷⁶ См.: *Lupton J.H.* A life of John Colet. L., 1909 (1-е изд. – 1887). P. 51–55; *Marcel R.* Les découvertes d’Erasmus en Angleterre. P. 122; *Осиновский И.Н.* Указ. соч. С. 58.

⁷⁷ См.: *Jayne S.* Op. cit. P. 17–20.

⁷⁸ Ibid. P. 20, 82.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Текст письма см.: Ibid. P. 81.

⁸¹ *Marcel R. Marsile Ficin*. P. 575. N 2.

⁸² Эти маргиналии опубликованы в кн.: *Jayne S.* Op. cit. P. 84–132.

⁸³ Ibid. P. 49, 50.

⁸⁴ Ibid. P. 18, 19.

⁸⁵ “Te ipsum si iam videre et cernere potero, beatus erro (=ero. – *O.K.*) Spe vivo videndi tui... Hunc annum tua epistola me temuisti (=tenuisti. – *O.K.*) in vita. Ei alteram adde...” (текст письма см.: Ibid. P. 82).

⁸⁶ См. текст этого письма: Ibid. P. 82, 83.

⁸⁷ “Coletum meum cum audio, Platonem ipsum mihi videor audire” (*Erasmus Roterodamus D.* Opus epistolarum: in 12 Bd. 1906–1958 / Ed. P.S. et H.M. Allen. Oxonii. 1906. T. I. N 118. P. 273–274.

⁸⁸ О новозаветной экзегезе Колета, о влиянии на нее итальянских платоников и проблемы ее датировки см.: *Seebohm Fr.* The Oxford reformers. John Colet, Erasmus and Thomas More. L., 1869. P. 29–42; *Duhamel P.A.* The Oxford lectures of John Colet: an essay in defining the English Renaissance // *Journal of the History of Ideas* (далее – *JHI*). 1953. Vol. 14. N 4. P. 493–510; *Jayne S.* Op. cit. P. 29–55; *Григорьева И.Л.* Оксфордский гуманизм рубежа XV–XVI вв. и контакты с ним Эразма // Университеты Западной Европы. Средние века. Возрождение. Просвещение. Иваново, 1980. С. 85–87.

⁸⁹ *Coletus J.* Epistolae B. Pauli ad Romanos Expositio. IV // “Opuscula quaedam theologica / Ed. J.H. Lupton. L., 1966. P. 259, 260; *Idem.* De corpore Christo Mystico // Ibid. P. 185–187 (1-е изд. – 1876).

В идейном наследии Колета и Фичино есть и другие черты сходства, заслуживающие внимания. По мнению Л. Майлза, на Колета также оказали влияние концепция любви как связующей силы универсума, как средства, преобразующего любящего в объект его любви, интерпретация оправдания в понятиях взаимной любви между человеком и Богом и некоторые иные положения главы флорентийских платоников (*Miles L.* Op. cit. P. 168, 169 и др.).

⁹⁰ См. подробнее: *Кудрявцев О.Ф.* Ренессансный гуманизм и “Утопия”. М., 1991. С. 125, 152–154.

⁹¹ См. о нем работы: *Uzielli G.* Filippo Buonaccorsi, Callimaco Esperiente di San Gimignano // *Miscellanea storica della Valdelsa*. 1898. Vol. VI. P. 114–136; 1899. Vol. VII. P. 81–112; *Забугин Вл.* Юлий Помпоний Лэт. Критическое исследование. СПб., 1914. С. 22–29 и далее; *Kieszkowski B.* Filippo Buonaccorsi detto Callimaco e le correnti filosofiche del Rinascimento // *GCFI*. 1934. Vol. XV. P. 281–294; *Caccamo D.* Buonaccorsi Filippo // *DBI* 1972. Vol. 15. P. 78–83.

⁹² См.: *Domanski J.* La fortuna di Marsilio Ficino in Polonia nei secoli XV e XVI // *Marsilio Ficino e il ritorno del Platone. Studi e documenti / A cura di G.C. Garfagnini.* Firenze, 1986. Vol. 1–2 (далее – *MFRP*). P. 566–567.

⁹³ О вариантах датировки этой переписки см.: *Черняк И.Х.* Polemica между Филиппом Каллимахом и Марсилио Фичино // *Гуманизм и религия*. Л., 1980. С. 94–96.

⁹⁴ *Ficinus M.* Quomodo singuli angelos custodes habeant // *Ep. lib. VIII*. P. 865–866.

⁹⁵ Appellando me conplatonicum preclusisti mihi aditum tendendi contra scripta tua, que non ex Platonis inventis educta sed ab ipso penitus prolata (probata? – *O.K.*) videntur” (*Callimachus*. *Libellus de daemonibus ad Ficinum* // *SF*. Vol. II. P. 225).

⁹⁶ Ibid. P. 226–228. Подробнее о полемике Фичино и Каллимаха см.: *Radetti G.* Demoni e sogni nella critica di Callimaco Esperiente al Ficino // *Umanesimo e esoterismo*. Padova, 1960. P. 112–116; *Garin E.* La cultura filosofica del Rinascimento italiano. Firenze, 1979. P. 281–282; *Черняк И.Х.* Указ. соч. С. 97–101; *Domanski J.* Op. cit. P. 568–569; *Смирнова Т.И.* Переписка Каллимаха Эксперiente с Марсилио Фичино и Джованни Пико делла Мирандола // *Вестник Московского университета*. Сер. 8. История. 1993. № I. С. 21–24.

⁹⁷ *Ficinus M.* Excusatio quando brevius respondetur amicis // *Ep. lib. VIII*. P. 870. 5.

⁹⁸ *Callimachus*. Epistola ad Ficinum // *SF*. Vol. II. P. 224, 225. В письме какое-то недоразумение: либо Каллимах не знал, что сочинения Платона в переводе Фичино увидели свет в конце

1484 г., что выглядит странным, либо произошла описка или опечатка и вместо Плотина, над которым Фичино работал в тот момент, появилось имя Платона.

⁹⁹ Каллимах подарил Фичино “*veste pellicea ex marturis, et item, donavit illi parvam vestem pelliceam ex pelle cuiusdam avis et gladium cuius ansa erat ex cornu cuiusdam animalis lapidi jaspidi similis, munus quidem pulcherrimum, nec non et unum calciamentorum ex corio scytico*” (SF. Vol. II. P. 225).

¹⁰⁰ Nam cum scribo ad te nil aliud quero quam doceri. Itaque ademptus est tibi labor docendi, mihi vero discendi occasio” (*Callimachus Ph. Epistola ad Ficinum // SF. Vol. II. P. 228–229*). О Латтанцио Тедадьди см.: Юсим М.А. Семейство Тедадьди и его связи с Россией // Россия и Италия. М., 1993. С. 87–90.

¹⁰¹ *Ficinus M. In ignem omnia resolvenda secundum Orpheum // Ep. lib. VIII. P. 891. 2.*

¹⁰² Подробнее в связи со сказанным см.: *Domanski J. Op. cit. P. 567–568.*





ИТАЛЬЯНСКАЯ МАКАБРИЧЕСКАЯ ИКОНОГРАФИЯ XIV в. В ЕВРОПЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ РАННЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

А.В. Романчук

Изучение иконографии, произведений искусства, связанных с проблемами смерти, загробного мира, чистилища в культуре разных европейских стран, представляет немалый интерес для науки, что не требует сегодня особой аргументации. Вышедшая в 2000 г., накануне вступления в новый век, книга “Человеческая брэнность. Тема смерти в Европе между Дученто и Сеттенто” – подтверждение тому¹. Широкий временной и пространственный охват эволюции темы смерти в искусстве, вероятно, не позволил авторам остановиться более подробно на итальянской иконографии XIV в. и ее влиянии на разработку макабрической темы в некоторых странах Европы. Постановка этой весьма значимой проблемы в истории иконографии явилась поводом для данной статьи.

XIV век – это время развития новой иконографии на фоне формирования ренессансного (гуманистического) мировоззрения. В итальянском искусстве Треченто тема смерти особенно популярна в связи с отражением последствий “Черной чумы”. В искусстве других европейских стран XIV век – во многих смыслах поворотный в истории этой темы. Демографический спад, неурожай, высокая смертность и низкая продолжительность жизни внесли значительные изменения в психологию общества. Обострение страхов и апокалипсических ожиданий находило самые разные и несходные формы выражения: от распространения массовых самобичеваний до истерических плясок, с помощью которых хотели одолеть страх смерти; от резкого увеличения количества изображений Страшного Суда и казней христианских мучеников до лихорадочной поспешности, с какой пользовались радостями жизни; от своеобразного культа мертвого тела до сцен триумфального шествия Смерти, уравнивающей все сословия и состояния.

Ж. Шиффоло отмечает именно в XIV в. “одержимость” составителей завещаний мыслью об искуплении грехов в загробном мире посредством максимального увеличения числа заупокойных месс². Завещатели настаивали на том, чтобы сотни месс были отслужены в предельно сжатые сроки и служили скорейшему освобождению их душ из мук чистилища. Параллельно с этим концепция коллективного суда “в конце времен” превращается в XIV в. в концепцию суда индивидуального.

Поэты пишут эпитафии на заказ и указывают все персональные заслуги покойного, что должно было способствовать индивидуализации факта смерти

и изображений смерти в искусстве. Индивидуальный облик приобрета-ли изображения скелетов и фигур мертвых. В надгробиях XIV в. умершие изображены в предельно натуралистическом облике: завернутыми в саван покойниками, изможденными трупами с вывороченными внутренностями, покрытые змеями и лягушками. Немало примеров подобных пугающих ма-кабрических изображений представлено на страницах монографии амери-канской исследовательницы Кэтлин Кохен “Метаморфозы символа смерти”³.

Голландский историк Йохан Хейзинга объяснял подобное искусство “*masabre*” отчаянием, которое охватило людей после эпидемий чумы и же-стокостей Столетней войны⁴. Филипп Арьес видит в демонстрации скелетов и разлагающихся трупов своего рода противовес жажде жизни и материаль-ным богатствам в XIV–XV вв.⁵ Однако именно это отчаяние стимулировало те безудержные Пляски Смерти и Триумфы, которые Ф. Арьес трактует как жажду жизни в XIV в., и давало толчок к созданию новых иконографических проектов.

Итальянские художники во второй половине XIV в. пытались также все-лить своими произведениями некоторую надежду на лучшие времена. Одни выбирали темы, преисполненные оптимизма (так, например, поступает в 1367 г. Бартоло ди Фреди, создавая фреску на сюжет Ветхого Завета “Переход через Красное море” для Сан Джиминьяно)⁶. Другие изображали забавные пляски скелетов в знаменитых “Плясках Смерти”. Из всех вариантов макабрических сюжетов наиболее распространены были “Пляски Смерти”. В литературе, посвященной “Пляскам Смерти”, часто рассматривается вопрос об истоках этой темы. Так, например, Хельмут Розенфельд⁷, Штефан Козаки⁸ называют эту тему сугубо средневековой. Как сюжет, сформировавшийся в XV в., рас-сматривают Пляски Эмиль Маль⁹, Йохан Хейзинга¹⁰. Жак Ле Гофф¹¹ склонен видеть истоки Плясок в конце XIV в., Бертран Рассел¹², Р.И. Хлодовский¹³ считали этот макабрический сюжет типичным для всего средневековья. Од-нако, как справедливо отмечает Ц.Г. Нессельштраус, тема Плясок Смерти не была унаследована от средневековья¹⁴. Говоря о великом страхе, охватившем Европу в XIV в., Жан Делюмо различает два уровня этого страха: низший, на-родный и верхний, названный им элитарным¹⁵. “Пляски Смерти” принадлежат низшему уровню. В них живут отзвуки дохристианских народных поверий о кладбищенских плясках мертвецов. Танцуют в хороводах не сама смерть, а лишь ее посланцы. Это мертвецы, умершие двойники тех, кого они вовлекают в хоровод. Поверья о кладбищенских плясках идут вразрез с церковным уче-нием об отделении души от тела в момент кончины человека. Долгое время эти поверья осуждались как языческие. И справедливо, так как изображения “Плясок Смерти”, идентичные тем, что мы видим в искусстве XIV в., встре-чаются уже в памятниках прикладного искусства Рима I в. н.э. Эдмонд Потье в статье “Танец смерти на античном канфаре” отмечал, что изображение трех танцующих скелетов в рельефах кубков I в. н.э. из итальянского города Бос-кореале, находящегося близ Неаполя, хранимых ныне парижским Лувром и

происходящих из коллекций барона Э. Ротшильда и графини Лователли, является повторением знаменитых вакхических танцев менад. Повороты фигур скелетов, наклоны их голов, руки, держащие тирс и лиру, покачивания туловища в соответствии с ритмом музыки – все это сродни вакхическим танцам в скульптуре Скопаса IV в. до н.э., отличающейся особой выразительностью поз и жестов¹⁶. В эрмитажной коллекции хранится кубок I в. н.э. с подобным рельефным изображением скелетов. Местом его происхождения предполагают Малую Азию. Кубок найден в Ольвии. В Эрмитаж попал из коллекции Б.В. Фармаковского¹⁷. Подобные кубки находятся в музеях Орлеана и Ареццо. В связи с этим, вероятно, можно объяснить причину появления макабрической темы “Танец Смерти” первоначально на юге Италии.

Изображения скелетов, изъеденных червями, противопоставляются изящным кавалерам и даме на фреске XIII в. из церкви Св. Маргариты южного итальянского города Мельфи. В этой росписи отражена легенда о “Трех мертвых и трех живых”, повествующая о встрече трех королей с их умершими предшественниками, которые преследуют их со словами: “Мы были такими, как вы, и будете такими, как мы”. Предполагают, что семейная группа троих живых – это портреты Фридриха II, его жены Изабеллы Английской и их сына Коррадо. Впечатляющее представление того, что произойдет с бренным человеческим телом в данном случае – одновременно и назидание, и использование этого изображения в целях идеологических (антипридворной, антирыцарской политики).

На юге Италии в соборе Атрии сохранилась еще одна “Встреча трех живых и трех мертвых” XIII в. Изображение, в котором художники подчеркивают контраст между придворным миром аристократов, отправившихся на охоту в нарядной, богатой одежде с оруженосцами и грациозными лошадьми, и смертью, представленной в виде страшных, разлагающихся скелетов, предупреждающих о тщетности любой мирской ценности. Новым в иконографии “Встречи” является изображение отшельника между живыми и мертвыми. На фреске кьостро Сайта Мария ди Веццолано в Асти середины XIV в. также представлена фигура отшельника, указывающего трем рыцарям на страшную смерть в образе трех скелетов. В этой фреске причудливо переплелись две христианские темы Евангелия: “Поклонение волхвов” и “Христос во славе” и тема “Встреча трех живых и трех мертвых”.

“Триумф смерти” – еще один вариант макабрической темы в Италии XIV в., возникший под влиянием римской культуры и “Триумфов” Петрарки. Наиболее значительными творениями в XIV в. на эту тему являются “Триумф Смерти” в пизанском Кампосанто, исполненный Буонамико Буффальмакко, фреска Нардо ди Чоне “Страшный Суд” в Санта Мария Новелла во Флоренции, “Триумф Смерти” Бартоло ди Фреди в Ареццо в церкви Сан Франческо и “Триумф Смерти” второй половины XIV в. в Субьяко в Риме. В этих образах воплотились представления о жизни и смерти, страдании и блаженстве, карнавале и радости жизни, язычестве и христианстве, борьбе зла и добра.

Макабрический характер приобретает в Италии XIV в. оформление икон с традиционным образом Мадонны Смирения. Так, на иконе Паоло Венециано “Мадонна Смирения с ангелами, донатом и смертью”, написанной около 1355 г. (Мадрид, коллекция Тиссен-Борнемиса) изображена аллегория смерти в виде скелета, подводящего маленькую фигурку донатора к Марии. Внизу справа представлен ангел, держащий картуш с надписью “Memento mori”.

Вдохновленные вакхической иконографией на тему смерти в Южной Италии I в. н.э., получившей особенно широкое распространение в переходный период становления ренессансной культуры в Италии, макабрические сюжеты нашли свое продолжение в английском, французском, немецком, нидерландском и испанском искусстве. В английской книжной миниатюре можно видеть ранний образец “Встречи трех живых и трех мертвых” во фрагменте псалтыри Арунделя, датированной 1285 г. Эта миниатюра является первой английской версией легенды о трех коронованных живых, хранимой Британской библиотекой Лондона и называемой “О коронованных живых и коронованных мертвых”.

В 1320 г. в Испании инфант Хуан Мануэль основал доминиканский монастырь Сан Хуан и Сан Пабло в Пеньяфьеле, в котором наряду с монументальными росписями о “Жизни Св. Марии Магдалины” и “Страшного Суда” находится фреска “Встреча трех живых и трех мертвых”, созданная после 1340 г. Это фрагментарно сохранившееся произведение сейчас находится в Музее Вальядолида. Трое мертвых, кажется, о чем-то рассказывают трем изящно одетым всадникам; между ними дерево, олицетворяющее, вероятно, священное древо жизни. Иконография произведения является реминисценцией итальянского варианта “Встречи трех живых и трех мертвых” с изображением отшельника, как в вышеупомянутых работах из Асти и Атрии. В более поздних испанских фресках XV в. в капелле Христа Спасителя замка Хавьер (Памплона) встречается еще одна реплика на раннюю южноитальянскую “вакхическую” тему Пляски Смерти I в. н.э. Здесь изображено шесть скелетов, разделенных между собой колоннами, в разных танцевальных позах. В руках у скелета в центре – бандероль, на которой написано: “Легко приведет мир в движение тот, кто знает, что должен умереть” (“Facilmente commuove il mondo chi sa che deve morire”). Ряд исследователей утверждают, что эти фрески возникли под влиянием немецкого готического стиля¹⁸.

Легенда о Встрече трех живых и трех мертвых пришла в Италию с востока в XIII в., позже, в XVI в., иллюстрации к ней появились в Швейцарии, в районах Среднего и Верхнего Рейна и не распространялись дальше до XVI в. До XVI в., например, в немецкой иконографии господствовали макабрические танцы. В иллюстрациях свода законов XV в., сохранившихся в Вольфенбюттеле, есть изображение диалога между тремя персонажами в коронах, разнообразных одеждах, со скипетром в руках и тремя коронованными скелетами. В этом изображении отразилась суть многочисленных диалогов немецкой философии: общество верило в жизнь после смерти, но более популярной

темой этого времени была тема, выраженная знаменитыми словами *Memento mori*.

Сохранившаяся в капелле Уберлингена фреска 1424 г. создана в контексте этого диалога между элегантно одетыми людьми в головных уборах и коронованными скелетами, олицетворяющими смерть.

Более привычными для немецкой иконографии были макабрические танцы в блокбухах. Одним из ярких примеров таких изображений является Страсбургский блокбух с ксилографиями веселых скелетов. Есть повторения этого блокбуха в Гейдельберге, Аугсбурге, Базеле, сопровождавшиеся французскими стихами Гийо Маршо.

Чувство юмора Михаэля Вольгемута в интерпретации темы смерти, отмеченное еще Альбрехтом Дюрером в XVI в., передалось другому немецкому художнику – мастеру Книги дома, использовавшему сюжеты Плясок Смерти и “Встречи живых и мертвых”.

В Метнитцких фресках первой половины XVI в. в Каринтии во Встрече живых и мертвых заметны черты, традиционные для иконографии данного сюжета и оригинальные. В росписи доминиканский священник читает проповедь небольшой группе людей, сидящих на земле. Смерть уводит женщину от пустой колыбели, где спал ее ребенок, а ребенка, в свою очередь, ведет по дороге черный скелет в белом покрывале. Двух участников проповеди Смерть уводит в Рай и в Ад, символизируемые христианским крестом и трубой, которые держат в руках аллегории Смерти.

В Висмарской росписи приходской церкви Св. Марии начала XVI в. в иконографии Танца Смерти значительно влияние театральных площадных представлений в Брауншвейге, Гандерсхейме, присутствуют реплики росписей Бернта Нотке.

Во французском искусстве итальянская тема Плясок Смерти и Встречи живых и мертвых находит свое продолжение в конце XV в. в гравюрах Гийо Маршо, хранящихся сегодня в парижской Национальной библиотеке. Так, например, в гравюре 1485 г. с макабрическим танцем представлены монах, смерть и ростовщик, завершающий операцию с клиентом.

В гравюре 1491 г. французским новшеством “Плясок” было введение темы “атаки” Смерти на живущих: один скелет направляет копьё на королеву, другой же увлекает танцем герцогиню. Подобная “атака” повторена на фреске из церкви Ферте-Люпьер на юго-западе Парижа “Трое мертвых и трое живых”. Живые и мертвые здесь отделены друг от друга крестом; скелет направляет свое копьё на всадников, сошедших с лошадей.

Кульτ умерших и кульτ предков в античной истории не стоял особняком от аграрных календарных обычаев и обрядов: изгнание Смерти было вместе с тем и проводами зимы. Обряд “Выноса Смерти” XIV в. – это своеобразная ритуально-магическая борьба со Смертью, которая сделалась обычаем в Италии, в обстановке, сложившейся после эпидемий чумы, точно так же, как макабрическая иконография этого времени, нашедшая свои истоки в иконо-

графии “Плясок Смерти” в памятниках искусства юга Италии I в. н.э. Именно эти италийские, а затем раннеренессансные итальянские изображения в первую очередь “Плясок Смерти” и “Встречи живых и мертвых” послужили мощным стимулом к дальнейшему распространению в европейском искусстве макабрических сюжетов. Исследование изобразительных источников *macabre* в Италии и Европе позволяет пролить свет на решение культурологической, философской проблемы Смерти в средневековой Европе, проблемы, которая, по выражению А.Я. Гуревича, разработана еще далеко не достаточно и специфика восприятия которой порой во многом ускользает от взора исследователей¹⁹.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Humana fragilitas. I temi della morte in Europa tra Duecento e Settecento / A cura di A. Tenenti.* Ferrari Editrice, 2000.

² *Chiffolleau J. Faire croire. Modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux du XII et au XV Siecle.* Rome, 1981. P. 235–256.

³ *Cohen K. Metamorphosis of a Death Symbol.* California, 1973.

⁴ *Хейзина Й. Осень средневековья.* М., 1988. С. 152.

⁵ *Ariès Ph. L'homme devant la mort.* P., 1977. P. 288.

⁶ В 1362 г., за несколько лет до создания цикла фресок, Бартоло ди Фреда сам писал доклад для съенской Синьории, характеризуя передвижение мародерствующих войск миланского герцогства в сельской округе Съены и Флоренции. Это были большие банды-компании Конте Ландо, Джона Хоквуда, Фра Мориале и др., нарушавшие покой съенского контадо и собиравшие огромную дань (около 275 000 флоринов). Можно предположить, что с этими событиями связано обращение художника к Ветхозаветной истории об Иове “Смерть детей Иова” (1367 год).

⁷ *Rosenfeld H. Der mittelalterliche Totentanz.* Münster, Köln, 1954.

⁸ *Cosacchi St. Makabertanz. Der Totentanz in Kunst, Poesie und Brauchtum des Mittelalters.* Meisenheim am Glan, 1965.

⁹ *Male E. L'art religieux de la fin du moyen ge en France.* P., 1969

¹⁰ *Huizinga J. Herbst des Mittelalters.* Stuttgart, 1969.

¹¹ *Le Goff J. La civilisation de l'Occident medieval.* P., 1965.

¹² *Рассел Б. Почему я не христианин.* М., 1987.

¹³ *Хлодовский Р.И. Франческо Петрарка.* М., 1974.

¹⁴ *Нессельштраус Ц.Г. “Пляски смерти” в западноевропейском искусстве XV в. как тема рубежа Средневековья и Возрождения // Культура Возрождения и средние века.* М., 1993. С. 143.

¹⁵ *Delumeau J. La peur en Occident (XIV–XVIII siecles).* P., 1978.

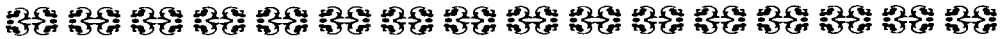
¹⁶ *Pottier E. La Dance des morts sur un canthare antique // RA.* 1903. Vol. I. P. 12–14.

¹⁷ *Художественное ремесло эпохи Римской империи (I в. до н.э. IV в.). Каталог выставки.* Л.: Искусство, 1980. С. 25.

¹⁸ *E.Z. Merlo. La Morte e il Disinganno. Itinerario iconografico e letterario nella Spagna cristiana // Humana fragilitas. I temi della morte in Europa tra Duecento e Settecento / A cura di A. Tenenti.* Ferrari Editrice, 2000. P. 232.

¹⁹ *Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа “Анналов”.* М., 1993. С. 256.





КАРДИНАЛ ВИССАРИОН И ИТАЛЬЯНСКАЯ ЖИВОПИСЬ XV в.

О.Г. Махо

Кардинал Виссарион – одна из самых значительных фигур периода наиболее интенсивного обсуждения вопроса о церковной унии, один из чрезвычайно последовательных сторонников этой линии, за которую он активно боролся на протяжении нескольких десятилетий. Грек, родившийся в Трапезунде, сделавший благодаря своим талантам и прекрасному образованию блестящую карьеру и как ученый, и как дипломат сначала на родине, а затем в Италии, он в самой своей личности и судьбе воплотил столь дорогую для него идею.

Поэтому остановимся сначала на биографии нашего героя¹. Родился будущий кардинал 2 января 1403 г. в Трапезунде и получил при крещении имя Иоанн. В 1415–1422 гг., на первом этапе ученичества, его учителем был Георгий Хризокос (Criscosce), а соучеником Франческо Филельфо. 30 января 1423 г. Иоанн принял монашество, взяв имя Виссарион в честь великого аскета, одного из патронов Трапезунда. В следующие годы он делает весьма успешную церковную карьеру, став в 1437 г. архиепископом Никейским. Вместе с тем в первой половине 1430-х годов он едет в Мистру изучать философию и математику в школе Гемиста Плифона, который привил ему восхищение Платоном и любовь к совершенству философской формы. В то же время Виссарион ярко проявляет талант дипломата: на его долю выпадает сложная задача сгладить противоречия между Иоанном VIII Палеологом и его братом деспотом Деметрием, что было очень важно перед лицом общей турецкой угрозы.

Признанием разнообразных талантов Виссариона становится его избрание в 1437 г. официальным оратором греков, собирающихся на Феррарский собор. 8 февраля 1437 г. он прибывает в Венецию, а 8 апреля выступает от лица греков на открытии собора. В Ферраре и Флоренции, куда переехал собор, Виссарион произвел на всех сильнейшее впечатление своей моральной твердостью, обширной теологической эрудицией и ярким красноречием. Враг любого экстремизма, как в жизни, так и в науке, он во многом способствовал подписанию унии. Не случайно именно он зачитывает 6 июля 1439 г. текст унии в Санта Мария дель Фьоре по-гречески вместе с кардиналом Джулиано Чезарини, зачитавшим этот текст по-латыни.

После собора Виссарион стремится утвердить унию на Востоке, но там усиливается движение ее противников, лидером которого был его постоян-

ный антагонист Марк Эфесский. Особенно после того, как 18 декабря 1439 г. папа Евгений IV сделал Виссариона кардиналом, образ его воспринимается весьма многими как образ перебежчика.

Обосновавшись в Риме, кардинал Виссарион углубляет свое знание латыни, делает переводы и пишет собственные философские труды, продолжая разработку проблем, обсуждавшихся во время собора. Он становится одним из наиболее активных и влиятельных деятелей курии. Здесь востребованы разные его таланты. В 1450 г. папа Николай V отправляет Виссариона легатом в Болонью, где необходимо было установить мир после бурных волнений. Там он остается до смерти Николая V в 1455 г.

Очевидно, время наибольшей активности Виссариона как деятеля курии приходится на следующий период – годы понтификата Пия II. После смерти 14 августа 1458 г. кардинала-протектора францисканского ордена Доменико Каприаника папа удовлетворяет 10 сентября просьбу ордена и назначает Виссариона новым протектором ордена. 1 июня 1459 г. кардинал отправляется в Мантую, где 26 сентября речью Пия и самого Виссариона открывается очередное обсуждение вопроса о крестовом походе, наиболее ярыми поборниками которого являются именно они. В 1460–1462 гг. он совершает долгую поездку по Германии в качестве папского легата – Виссарион в Нюрнберге, потом в Вене, но без особых результатов. В 1461 г. турки захватили Трапезунд. В апреле 1463 г. после смерти Исидора Киевского Виссардон провозглашен Константинопольским патриархом, 28 июля объявлена война туркам, 28 сентября Пий II возглавляет крестовый поход лично, вознося молитвы с воздетыми вверх руками, подобно Моисею, но меньше, чем через год, 14 августа 1464 г., папа умирает.

Кардинал Виссарион – один из самых активных участников конклава, он был деканом коллегии и едва не был сам избран папой. Однако предпочтение было отдано Пьетро Бембо, ставшему Павлом II, которого кардиналы попытались связать “конституциями” (constitutiones), определенными условиями, обязывавшими его продолжить крестовый поход. Но папа отступил от этих условий и Виссарион с некоторыми другими кардиналами выразил свое неудовольствие.

После этого кардинал Виссарион отдалился от курии. Он обратился к частной жизни и целиком посвятил себя ученым занятиям. Кроме того он занялся оформлением капеллы Св. Евгении базилики Сантиссими Апостоли, для которой заказал Антониаццо Романо два изображения Св. Архангела Михаила, мечтая об освобождении своей родины от господства турок. В 1466 г. Виссарион заказал свое надгробие для римской базилики Сантиссими Апостоли. Таким образом мраморный рельеф с профильным изображением кардинала, существующий и сегодня, восходит к этому году и является прижизненным портретом.

После того, как в 1470 г. турки напали на позиции венецианцев и утвердили свое господство над островом Эвбея, кардинал прервал молчание и

снова начал писать публицистические труды. 26 июля 1471 г. умер папа Павел II. Во время конклава Виссарион во второй раз “кандидат”, но его избранию противостоят французы. В результате был избран Франческо делла Ровере, принявший имя Сикста IV. В 1472 г. новый папа отправляет Виссариона легатом во Францию. Несмотря на свой старческий возраст (ему уже почти 70 лет) и недуги он едет, чтобы привлечь Людовика XI к участию в крестовом походе, но не добивается успеха. 15 июля Виссарион отправляется в обратный путь через Турин и Равенну. Сломленный физически и морально, он умирает в Равенне 18 ноября 1472 г. 3 декабря прах кардинала был привезен в Рим, в базилику Сантиссими Апостоли, и через неделю, 10 числа, он был похоронен в присутствии папы Сикста IV.

Что до изображений кардинала Виссариона, то известно несколько достоверных его портретов. Любопытно, что один из авторов, неоднократно писавший о кардинале (причем, францисканец), замечает, что тот любил, чтобы его портретировали². Показательно, что это, главным образом, миниатюры в рукописях, две из которых хранятся в венецианской библиотеке Сан Марко³. Существует уже упомянутый выше выполненный при жизни медальон в надгробии кардинала в церкви Сантиссими Апостоли в Риме. Согласно его собственному завещанию 1464 г. известно, что он просил Антониаццо Романо изобразить себя в капелле святой Евгении базилики Сантиссими Апостоли коленопреклоненным у ног Христа и с гербом под своим изображением. Кроме того через три года после смерти Виссарион был изображен Паоло Романо в епископской митре в числе других епископов на надгробии Пия II в Сант Андреа делла Валле.

Все это позволяет достаточно уверенно судить о внешнем облике Виссариона. Однако если говорить о присутствии изображения нашего героя, представляется наиболее существенным обратиться к трем. В одном случае он изображен непосредственно – в цикле портретов знаменитых мужей в студиоло Федерико да Монтефельтро во дворце в Урбино⁴, выполненном Йосом ван Гентом. Кроме того есть определенные основания предполагать, что, по крайней мере, дважды кардинал представлен “скрыто”⁵: во “Встрече царицы Савской с царем Соломоном” цикла фресок на тему “История животворящего креста” церкви Сан Франческо в Ареццо, выполненного Пьеро делла Франческа, и в панно “Видение Блаженного Августина” цикла Скуола ди Сан Джордже дельи Скиавони в Венеции, написанном Витторе Карпаччо⁶. Эти три работы прежде всего обращают внимание на разные аспекты образа кардинала Виссариона, созданного в живописи Италии, но, вместе с тем, и на различные стороны присутствия самого кардинала в политической, религиозной и культурной жизни Италии.

Портрет из студиоло Федерико да Монтефельтро в Урбино, оформление которого создавалась в 1468–1476 гг., ставит Виссариона в ряд великих мужей древности и современности – этот принцип формирования цикла уже сложился в эпоху Возрождения и восходит к трактату Петрарки “De viris

illustribus”⁷. Здесь существенно отметить, что среди двадцати восьми персонажей урбинской серии лишь шесть – относительно современные, а среди них, в отличие от Данте и Петрарки, Пий II, Павел II, Витторино да Фельтре и наш герой – персонажи современные в полном смысле этого слова.

Ансамбль оформления студиоло в Урбино – один из самых гармоничных среди ему подобных. Он в высшей степени последователен с точки зрения организации структуры своей программы. Несомненно, тщательным был отбор персонажей, и кардинал Виссарион оказался избранным Федерико да Монтефельтро явно и как блестящий ученый-гуманист, и как один из активнейших и талантливейших политических и церковных деятелей своего времени. Кроме того показательно и само расположение портрета кардинала: он был помещен рядом с изображением папы Пия II, лицом к лицу. Очевидно, учитывая строго продуманность каждой детали оформления, это не было случайным: они представлены как единомышленники и соратники.

Цикл “История животворящего креста” выполнялся Пьеро делла Франческа по заказу аретинского гуманиста Джованни Баччи с некоторыми интервалами со второй половины 1450-х годов по середину 1460-х. Фрески цикла в Аретцо в целом связаны с программой, к формированию которой, очевидно, мог быть причастен кардинал Виссарион как церковный деятель, протектор ордена францисканцев с 1458 г. (эта тема развивалась преимущественно францисканцами)⁸, теолог, философ и политик⁹. Разные авторы связывают эту программу¹⁰ с актуальной политической проблематикой, но интерпретируют ее несколько по-разному. В ней видят призыв к крестовому походу, которому Виссарион отдал много собственных сил¹¹, или же, более отвлеченно – идею связи христианских Запада и Востока¹². В любом случае, в росписи, выполненной при жизни кардинала и, если не при его непосредственном участии в разработке программы, то под сильным его влиянием, весьма определенно присутствует политическая составляющая, имеющая несомненную актуальность. Кроме того, вероятно, можно отметить очевидное стремление воплотить здесь позицию, связанную с представлением о “жизни активной” как идеале, продолжающем доминировать в гуманистической среде Италии середины XV столетия. Но не исключено, что свою роль играет здесь не только временной, но и географический фактор – то, что фрески находятся в Аретцо, не так далеко от Флоренции, где Виссарион зачитывал в свое время текст унии, да и от Рима, где разыгрывалась значительная часть событий жизни папского двора, активное участие в которой он принимал.

Композиция “Встреча царя Соломона с царицей Савской” непременно выделяется при анализе цикла как одна из самых значительных. Сам этот эпизод всегда интерпретировался как единение Ветхого и Нового завета, но в контексте того времени возникает возможность интерпретировать фреску Пьеро делла Франческа как воплощение унии церквей¹³. На это может указывать, в частности, облачение персонажей¹⁴. Соломон одет в исключительно пышные одежды. Его головной убор воспроизводит те, что употребляли

римские кардиналы в 1550–1460-е годы. Голубая одежда подобна облачению патриархов армянской церкви, а бархатный плащ с рисунком в виде цветов граната эти прелаты использовали во время торжественной службы. Мотив цветка граната в христианской иконографии является символом благородства, богатой истории и традиций. На царице Савской под белым плащом одежда с тем же орнаментом.

“Встреча царицы Савской с царем Соломоном”, очевидно, была написана Пьеро после работы в 1458–1459 в Риме. Не исключено, что там художник лично встречался с кардиналом Виссарионом¹⁵. Вазари в жизнеописании Пьеро, говоря об уничтоженных папой Юлием II ради работы Рафаэля фресках, упоминает о том, что тот “написал... несколько голов с натуры столь совершенных, что им не хватало только дара речи, чтобы стать совсем живыми. Многие из этих голов сохранились, ибо Рафаэль Урбинский приказал снять копии с них, чтобы иметь изображения всех тех, которые были великими людьми...”¹⁶ Учитывая обстоятельства, можно допустить, что Пьеро был выполнен среди прочих и портрет кардинала Виссариона. Все это может быть среди оснований предположения, что облик царя Соломона несет на себе некоторую печать черт кардинала Виссариона. Даже визуально, сравнивая его с наиболее достоверными изображениями нашего героя, можно узнать довольно широкое лицо с весьма крупными чертами и характерной формы густую, средней длины раздваивающуюся внизу бороду¹⁷.

Говоря о цикле фресок в Аретцо в интересующем нас контексте, следует обратить внимание и на “Битву Ираклия с Хосровом”. Этого эпизода нет в “Золотой легенде” Якова Ворагинского, его появление обусловлено особенностями программы именно аретинского цикла. Эта фреска была выполнена, несомненно, после 30 августа 1464 г., когда папой был избран Пьетро Бембо, взявший имя Павла II, о чем говорит одно из знамен в центре композиции. Отношения Виссариона с новым папой складывались непросто, особенно, учитывая его близость с покойным Пием II. Напомним, что во время конклава он был деканом и одним из претендентов на папскую тиару, однако кардиналы предпочли патриарха Венеции. Разочарованный, Виссарион отошел от активных дел, отдавшись ученым занятиям и учредив в Риме кружок неоплатоников.

Вместе с тем роспись Пьеро во францисканском храме в Аретцо позволяет судить о стремлении ордена проявить единство со своим протектором. Это ярко читается в том, как и какие знамена представлены в “Битве Ираклия с Хосровом”. Справа представлены турецкий и сарацинский флаги, а также черный, на котором виден скорпион – символ ереси и неверия. А в центре – знамена христианского воинства, среди которых с белым крестом на красном фоне, за ним – с гербом папы Павла II (Бембо) со львом, а дальше – имперское знамя с орлом. Знаменательно, что в композиции воплощена мечта Виссариона о вхождении в крестовое воинство Франции: между знаменами церковного государства и империи – голубое полотнище с лилиями. Попытка

реализовать эту мечту оказалась последним дипломатическим усилием кардинала по организации крестового похода: как мы уже отмечали, неудача его миссии при дворе Людовика XI была жестоким разочарованием и, возвращаясь из этой поездки, он умер в Равенне 18 ноября 1472 г. Завершая композицию слева, Пьеро помещает знамя, где на зеленом поле изображен феникс, символизирующий новую эру мира, спокойного и гармоничного сожительства народов.

Таким образом, рассматривая композицию справа налево, можно прочесть ее основную мысль: от поверженных знамен врагов христианства к торжеству христианского воинства и, наконец, к приближающемуся господству мира и гармонии в возрожденной единой христианской вселенной. При этом, если разделять небезупречную точку зрения, что глаз зрителя читает живописную композицию слева направо, становится совершенно очевидным неуклонное нарастание безусловно победоносного христианского движения. Кроме того, учитывая, что фреска расположена на правой стене капеллы, это движение оказывается направленным в сторону входящего в капеллу и тем более активным.

Последняя интересующая нас композиция – панно Витторе Карпаччо “Видение Блаженного Августина”¹⁸ в Скуола ди Сан Джордже дельи Скиавони, первым покровителем которой был кардинал. Связь его с этой скуолой была не случайна: она объединяла славян (schiavonì), т.е. выходцев с территорий, принадлежавших в разные времена Византии, и здание ее находится в районе, где неподалеку по сей день расположен православный храм. С тем, что образу святого Августина художник придает определенное сходство с кардиналом Виссароном, соглашается большинство исследователей, тем более, что на переднем плане справа изображена его личная печать¹⁹.

Эта работа Витторе Карпаччо является одним из самых смелых и значительных созданий художника, быть может, благодаря особенностям программы и образу вдохновителя композиции. Художник создает просторный интерьер кабинета ученого, наполненный многочисленными книгами и инструментами, характеризующими весь спектр занятий ученого-гуманиста Италии XV века. Создается впечатление, что для Карпаччо именно это было более важно, чем строгое следование истории, в особенности, если вспомнить, что Иероним упрекал Августина в слишком светском характере его занятий.

В композиции Витторе Карпаччо “Видение Блаженного Августина” тема контакта Запада и Востока может быть увидена, как и у Пьеро, но раскрывается она в совершенно ином ракурсе. Сама сюжетная сторона повествования Карпаччо, представившего чудесное явление святого Иеронима святому Августину, учитывая место служения каждого из персонажей, возможно, тоже может быть интерпретирована, как раскрывающая мистическую связь Востока (Иероним в Малой Азии) и Запада (Августин, находившийся гораздо ближе к Риму). Не столько антиномия Восток–Запад, сколько идея единства всего христианского мира, который во времена Августина и Иеронима

был един, затем распался, и в эпоху Возрождения это обернулось глубокой проблемой.

Через 30 лет после смерти Виссариона в Венеции, которой кардинал подарил свою коллекцию рукописей, его личность претворяется в образ прежде всего ученого-гуманиста, занятого своими штудиями в великолепном кабинете, светлом и просторном, наполненном разнообразными книгами, рукописями, научными инструментами, художественно выполненными предметами. Для Венеции в большей мере, чем для Средней Италии, Виссарион, – быть может, даже при жизни, – в меньшей степени активный дипломат – ярый поборник крестового похода, нежели ученый, воплощающий в своем образе жизни идеал “жизни созерцательной”, который к этому времени превалирует.

Подводя итог сделанных наблюдений, можно отметить, что кардинал Виссарион был не только одним из весьма значительных и исключительно показательных для своего времени церковных и политических деятелей, но фигурой, оставившей весьма яркий след в истории изобразительного искусства.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Наиболее обширная биографическая статья, посвященная кардиналу Виссариону, которой мы располагали: *Mercanti S.G. Bessarione // Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Vol. VIII. 1930. P. 811–812.* Кроме того некоторые сведения взяты из публикаций Джулио Ренци, прежде всего; *Curriculum Vitae del cardinale Bessarione // Renzi G. Piero della Francesca. Storia, leggenda, profezia, teologia nelle pitture murali della Capella Maggiore (Basilica di San Francesco, Arezzo). 1996. P. 77–78.*

² *Renzi G. Piero della Francesca. Storia, leggenda, profezia... P. 37.*

³ Так называемый “Диптих Виссариона” (Венеция, Национальная библиотека Сан Марко); *Фише Г. Rhetorica. Фронтиспис (Венеция, Национальная библиотека Сан Марко. N 53); Контрапио А. Obiugation in Platonis Columniatorem (Париж, Национальная библиотека, Ms. Lat. 12947, fol).*

⁴ Сейчас этот портрет в числе других четырнадцати, входящих в цикл студиоло в Урбино, хранится в собрании Лувра, Париж.

⁵ Этим термином пользуется В.Н. Гращенков, одна из подглав книги которого – “Скрытые портреты в церковных фресках и алтарных картинах”. См.: *Гращенков В.Н. Портрет в итальянской живописи Раннего Возрождения. М., 1996. С. 116–139.*

⁶ Облик кардинала Виссариона, представленного на восточный манер, можно узнать и во фреске “Переход через Красное море”, выполненной Козимо Росселли в Сикстинской капелле. Однако в интересующем нас аспекте эта композиция, связанная с ветхозаветной историей – и таким образом, как и внешним обликом нашего героя, обращающая наше внимание на Восток – не представляется столь же интересной, как рассматриваемые ниже.

⁷ Нам уж приходилось говорить о программах оформления студиоло эпохи Ренессанса. См.: *Оформление кабинета итальянского правителя-гуманиста от Федерико да Монтефельтро до Франческо I Медичи // Итальянский сборник. № 2. СПб, 1997. С. 5–13; Студиоло Франческо I Медичи – позднеренессансная трансформация идеи кабинета правителя-гуманиста // Культура Возрождения XVI века. М., 1997. С. 259–266.*

⁸ Наиболее значительные из предшествующих циклов на эту тему были созданы Аньоло Гадди для Санта Кроче во Флоренции (ок. 1388–1393), Мазолино для братства Креста, Сант’Агостино в Эмполи (1424).

⁹ Кардинала Виссариона как автора программы рассматривал Карло Гинзбург. *Ghinzburg C. Indagini su Piero: Il Battesimo, il ciclo di Arezzo, la Flagellazione di Urbino*. Torino, 1994 (Nuova edizione con l'aggiunta di Quattro appendici).

¹⁰ В своей статье, посвященной интерпретации аретинских фресок Пьеро, М.В. Алпатов обращал внимание на то, что присутствующие в них параллели между Ветхим и Новым Заветом могут иметь два значения – литературное и аллегорическое, и отмечал, что художники Ренессанса заняты, как правило, первым, место второго занимают скорее аллюзии. См.: *Alpatov M. Les fresques de Piero della Francesca à Arezzo: sémantique et stylistique // Commentari*. 1963. N 1. P. 22.

¹¹ *Deimling B. "The Meeting of the Queen of Sheba with Solomon": Crusade Propaganda in the Fresco Cycle of Piero della Francesca in Arezzo // Pantheon*. 1995. Vol. 53. P. 18–28.

¹² Эту точку зрения высказал Л. Шнейдер в своей диссертации: *Schneider L. The Piero della Francesca's Frescoes Dealing True Cross in the Church of San Francesco in Arezzo*. Phil. diss., Columbia University, 1968. Некоторые материалы из нее были опубликованы: *Art Quarterly* 32. 1969. P. 22–48.

¹³ См. там же.

¹⁴ *Renzi G. Piero della Francesca pittore Teologo nella Basilica di San Francesco di Arezzo*. Arezzo, 1990. P. 43–44; *Ibid.* Piero della Francesca. Storia, leggenda, profezia ... P. 39–40.

¹⁵ Такое предположение делает в частности Дж. Ренци: *Renzi G. Piero della Francesca. Storia, leggenda, profezia ...* P. 78.

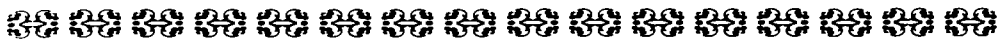
¹⁶ *Вазару Д.* Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 1996. Т. 2. С. 317.

¹⁷ Безусловно, опасаясь зайти по этому пути слишком далеко, можно тем не менее увидеть некоторую степень сходства и между Соломоном и Константином в композиции “Сон Константина”, в особенности обращая внимание на иной облик императора в “Битве Константина с Максенцием”. На несомненное присутствие черт Иоанна VIII Палеолога в облике Константина в этой композиции и очевидную связь ее с идеей крестового похода против турок указывали многие исследователи. См., в частности: *Deimling B. Op. cit.* P. 21–22.

¹⁸ Эта интерпретация была сделана Roberts H.J. См.: *Roberts H.J. St. Augustin in "St. Jerome's Study"*. Caraccio's Painting and its Legendary Source // *The Art Bulletin*. 1959. Vol. 41. N 4. P. 283–294. С тех пор она была принята и развивается авторами самых разных публикаций. Из последних значительных: *Sgarbi V. Caraccio*. New York, 1994. P. 118.

¹⁹ См., например: *Sgarbi V. Caraccio...* P. 118; *Смирнова И.А.* Витторе Карпаччо. М., 1982. С. 45. Даже такой строгий в отношении подобных предположений автор, как В.Н. Гращенков, разделяет эту точку зрения. См.: *Гращенков В.Н.* Портрет в итальянской живописи... С. 125.





НИДЕРЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XV в. И ИТАЛЬЯНСКИЕ ЗАКАЗЧИКИ

Е. М. Елисеева

В XV в. в Нидерландах создавалось множество произведений искусства. Большинство из них до нас не дошло: было уничтожено во время войн и протестантских погромов; потеряно, когда это искусство вышло из моды; или просто погибло, не выдержав испытания временем и небрежного обращения. Однако среди дошедших до нас произведений нидерландской живописи многие имеют иностранный провенанс. Это во многом связано с тем, что заказанные иностранцами и вывезенные из страны вещи имели больше шансов сохраниться, избежав иконоборческих волнений. С другой стороны, такое большое количество вывезенных за границу вещей говорит о том, что в XV в. живопись нидерландских мастеров пользовалась большой популярностью – ее заказывали и вывозили во многие страны Европы. Итальянцы, англичане, французы, испанцы были заказчиками Яна Ван Эйка, Рогира Ван дер Вейдена, Петруса Кристуса и Ганса Мемлинга¹.

В итальянских инвентарях, письмах, торговых документах XV в. можно встретить немало сведений о вещах нидерландского происхождения: большая часть из них не сохранилась, но некоторые хорошо известны в наши дни². Отношение итальянцев к нидерландскому искусству можно частично восстановить по дошедшим до нас высказываниям гуманистов, они отражают точку зрения образованных кругов Италии и показывают устойчивое представление, бытовавшее в этой среде. Судя по дошедшим до нас письменным источникам, итальянские гуманисты с большим пиететом относились к нидерландским мастерам. Бартоломео Фацио, придворный историограф, секретарь Альфонсо Арагонского, в своей книге “О знаменитых людях” (“*De viris illustribus*”, 1456) называет Яна Ван Эйка “ведущим художником нашего времени”, говорит о нем как о “короле” живописцев. Среди других знаменитых мастеров он называет Рогира Ван дер Вейдена, Джентиле да Фабриано и Пизанелло³: Другой известный гуманист – Чириако д’Анкаона, антиквар, путешественник, любитель античности, служивший при дворе Леонелло д’Эсте в Ферраре, замечает в своих “Комментариях”, что “после знаменитого Иоанна из Брюгге, гордости живописи, Рогир в Брюсселе может считаться самым выдающимся художником...”⁴. И флорентийский архитектор Филарете, работавший у Алессандро Сфорца в Милане, в своем архитектурном трактате (1461–1464) называет Яна Ван Эйка, Рогира Ван дер Вейдена и Фуке

самыми передовыми художниками к северу от Альп. Гипотетически отбирая мастеров для работы в созданном им идеальном городе Сфорцинда, он упоминает множество “хороших” живописцев, и одного “самого лучшего” – Яна Ван Эйка. Все перечисленные им мастера к тому времени были уже мертвы. А среди живых он считает Рогира Ван дер Вейдена самым великим⁵. В Урбино Джованни Санти (отец Рафаэля) также включил Ван Эйка и Рогира в перечень знаменитых художников (1482). Несмотря на то что самым великим он считает Мантенью, нидерландцы занимают не последние места в его списке⁶. В конце XV в. в Неаполе Джованни Понтано, один из ведущих деятелей при дворе Альфонсо Арагонского, в книге “О благоразумии” (*De Prudentia*, 1495–1500) называет трех самых великих мастеров – Яна ван Эйка, Джотто и Джентиле да Фабриано⁷.

Примечательно, что в то время как другие итальянские художники в этих текстах упоминаются в зависимости от личных пристрастий того или иного автора и от центра их деятельности – Феррара, Милан, Урбино, Неаполь, – Ян Ван Эйк и Рогир Ван дер Вейден признаны всеми. Это говорит о том, что их известность превосходила локальные вариации и вкусовые предпочтения.

Итальянцев привлекала необычайная лучезарность, красочность, прозрачность и миниатюрная тонкость письма нидерландских картин. Эти качества они справедливо связывали с техникой масляной живописи, которая существенно отличалась от живописи темперой, широко распространенной в то время в Италии⁸. Кроме того, привыкшие к монументальной фреске, они были поражены миниатюрными произведениями северян, в которых иллюзионистически точно воссоздавался окружающий мир во всей его полноте и богатом многообразии. Бартоломео Фацио, описывая находящийся в коллекции Альфонсо Арагонского “Триптих Ломеллини” Яна Ван Эйка (не сохранился), замечает, что “Св. Иероним в студии представлен как живой... а книги, если немного отойти, кажутся настоящими... Батиста Ломеллини (владелец триптиха. – *Е.Е.*) изображен так искусно, что ему не достает только голоса... А между донаторами (Ломеллини и его женой. – *Е.Е.*), как сквозь щель в стене, падает луч света, который можно принять за настоящий солнечный свет”⁹. Так же восторженно Б. Фацио пишет о картине Ван Эйка, на которой изображены обнаженные женщины: “Есть еще прекрасные картины (в коллекции. – *Е.Е.*) Оттавио дела Карда¹⁰: женщины необыкновенной красоты в ванной комнате... Интимные части тела одной из них скромно прикрыты тонкой тканью, а у другой показаны только лицо и грудь, но все остальное отражается в зеркале... так что вы можете видеть ее спину так же, как и грудь”¹¹. Еще он описывает лампу, которая написана, “словно настоящий светильник”, и пожилую женщину, “которая кажется вспотевшей”, и собачку, “лакающую воду”... “Но нет почти ничего более удивительного в этой работе, – пишет Б. Фацио, – чем зеркало... в котором вы видите все, представленное словно в настоящем зеркале”¹². Можно заметить, что Б. Фацио увлечен множеством деталей и подробностей и восхищен тем, как правдоподобно

это написано. Правдоподобие нидерландской живописи отмечает и Чириако д'Анкона, описывая “Снятие с креста” Рогира Ван дер Вейдена из коллекции Лионелло д'Эсте в Ферраре (1449): “Яркие, разноцветные одежды и плащи воинов совершенно исполнены в пурпурном и золотом, зеленые луга, цветы, деревья... и затененные холмы, богато орнаментированные портики и ворота, в которых золото подобно настоящему золоту, и геммы, и жемчужины подобны настоящим (кажутся взятыми из самой жизни, а не созданными кистью художника)...”¹³.

Натуроподобие нидерландской живописи восхищало итальянцев не только само по себе, но и отвечало новому гуманистическому идеалу, согласно которому цель искусства заключалась в “подражании природе”. “Художник не может считаться превосходным, если он не способен передать в картине особенности предметов такими, каковы они есть в реальности”, – пишет Бартоломео Фацио¹⁴. Эти идеи итальянские гуманисты находили в античных текстах, где рассказывалось о художнике Зевксисе, который изобразил виноград столь успешно, что птицы пытались клевать его, и об Антифиле, который показал комнату так, что, казалось, “свет исходил от огня”¹⁵. В понимании итальянских гуманистов, классический язык Греции нашел свое продолжение, с одной стороны, в архитектуре Флоренции, а с другой, – в живописи Яна Ван Эйка и Рогира Ван дер Вейдена. “Натуроподобие” нидерландцев воспринималось ими как современный эквивалент античного “натуроподобия”¹⁶. Однако это свойство в нидерландском искусстве имело совсем иные корни. М. Дворжак пишет: “До начала XVI в. нидерландское и итальянское искусство можно сравнить с двумя параллельными линиями, не имеющими точек соприкосновения. Как в Нидерландах, так и в Италии художники стремились получить как можно больше от природы, чтобы повысить впечатление верности природе в изображении, но метод наблюдения действительности и его последняя цель были различны. На севере речь идет об общем обогащении созерцания путем экстенсивного изучения природы в рамках прежней религиозной идеи. В Италии, напротив, дело касается распространения и углубления правил, по которым тела и пространства могли быть изображены в их естественных, объективно познаваемых и допускающих опытную проверку функциях”¹⁷. В нидерландской живописи XV в. “натуроподобие” само по себе не являлось ни окончательной, ни даже преобладающей целью¹⁸. Готический натурализм (по выражению М. Дворжака, “готическо-натуралистическое подражание действительности”¹⁹) как главная установка времени во многом диктовал свои условия – окружающий мир изображался «со всею верностью натуре, “как ... бог сотворил”, в качестве неотъемлемой составной части широко (его) превосходящего понятия внешнего мира и предполагаемого метафизического единства. С ним, по определенной градации (его) духовного значения, связывались все элементы изображения, начиная от простого повседневного опыта вплоть до глубочайших тайн веры»²⁰. Желание воссоздать мир в полной мере его зрительного объема привело нидерландских мастеров

к необычайной множественности, “пестрому разнообразию” художественного строя картин с их вниманием к подробностям без разделения на главное и второстепенное, с “видением каждой детали как самостоятельной вещи, каждого замеченного свойства как чего-то существенного”²¹. По образному выражению Э. Панофского, мир в произведениях нидерландцев оказался увиденным словно в “микроскоп и телескоп одновременно”²², где существовали на равных правах величины космического и микроскопического порядка. И это восхищало итальянцев, не замечающих глубинных связей этого искусства с идейным миром Средневековья.

Высокая оценка художественных качеств нидерландского искусства во многом определила его место в социальной и художественной жизни Италии. По словам кардинала Жана Жюффруа, епископа Арраса, живопись Яна Ван Эйка и Рогира Ван дер Вейдена “может придать блеск дворцу любого правителя”²³. “Придавать блеск”, украшать и прославлять, “выставлять напоказ роскошь, подчеркивать значительность определенной личности – и не художника, а заказчика” – было важной целью искусства этого времени²⁴. И итальянцы в этом очень преуспели: Альфонсо Арагонский, Леонелло д’Эсте, Козимо Медичи, папа Евгений IV, Алессандро Сфорца, Федерико да Монтефельтро, кардинал Альбергати и многие другие знатные и не очень знатные итальянцы имели в своих коллекциях работы Робера Кампена, Яна Ван Эйка, Рогира Ван дер Вейдена, Ганса Мемлинга и других нидерландских мастеров. Существовавшие между дворами дружеские связи и династические союзы способствовали быстрому распространению моды на нидерландскую живопись²⁵. Она приобреталась прежде всего как коллекционная, как знак “королевского” статуса коллекции. Знание о том, что Ян Ван Эйк был “главным живописцем... знаменитого герцога Бургундии” – как его рекомендовали, когда работа “Св. Георгий” покупалась для короля Неаполя Альфонсо Арагонского, существенно повышало ее престиж²⁶, так как Бургундский двор в первой трети XV в. был самым могущественным в странах к северу от Альп и являлся идеалом роскоши и великолепия.

В стремлении не отставать от высокопоставленных особ богатое итальянское купечество также приобретало живопись нидерландцев. Торговец из Лукки Паоло Поджо (Poggio), будучи поставщиком предметов нидерландского искусства в Феррару, и сам имел “Пьету” Яна Ван Эйка. А Джованни Арнольфини из Лукки и Батиста Ломеллини из Генуи наравне с могущественными правителями были заказчиками Яна Ван Эйка.

Огромную роль в распространении нидерландского искусства в Италии играла итальянская колония в Брюгге. В XV в. Брюгге был значительным европейским торговым центром – через него шел огромный поток продукции. Итальянская колония здесь была самой крупной итальянской колонией за границей и самой большой иностранной колонией в Брюгге. Несмотря на то что сами итальянцы идентифицировали себя по городам (pazione) – флорентийцы, венецианцы, генуэзцы и т.д., – взятые вместе, они превосходили

численностью проживающих там немцев, испанцев и англичан. Занимаясь бизнесом и торговлей, они часто играли роль поставщиков нидерландского искусства в итальянские города²⁷.

Роль представителей разных городов Италии во внутренней жизни Брюгге на протяжении XV в. менялась. В первой трети столетия наиболее сильные позиции занимали выходцы из Лукки и Генуи – именно они проявляли себя как главные и наиболее активные заказчики нидерландских мастеров. По подсчетам Е. Парма, большая часть произведений, выполненных Ван Эйком в период между 1430 и 1441 гг., была создана по заказу итальянцев, среди которых выходцы из Лукки и Генуи занимали лидирующие позиции²⁸. Имена некоторых из них не установлены, как, например, в случае с “Мадонной Лукка” (Штеделевский музей, Франкфурт)²⁹, другие же установлены с большой долей вероятности.

Джованни Арнольфини, представитель богатого итальянского клана из Лукки, жил в Брюгге и был крупным поставщиком Бургундского и Брабантского дворов. Он торговал драгоценностями, золотой парчой, шелком, коврами и занимался ростовщичеством. До нас дошли две работы, заказанные им Яну Ван Эйку, – знаменитый “Портрет четы Арнольфини” (1434, Национальная галерея, Лондон), где он представлен в домашнем интерьере вместе со своей женой Джованной Ченами, и традиционный полуфигурный портрет на нейтральном фоне (Государственный музей, Берлин)³⁰. Очевидно, Арнольфини был хорошо знаком с Яном Ван Эйком, так как “Портрет четы Арнольфини” часто трактуется как изображение бракосочетания, свидетелем которого оказался художник³¹.

Генуэзец Джустиниани считается заказчиком знаменитого Дрезденского триптиха (Картинная галерея, Дрезден), на створке которого он изображен у ног св. Георгия. Имя Джустиниани было установлено на основании изучения изображенного на раме фамильного герба. И хотя нет документальных подтверждений этой гипотезы, генуэзское происхождение заказчика наиболее вероятно³².

Другой генуэзец – Батиста Ломеллини – был владельцем хорошо известного по письменным источникам, но не сохранившегося триптиха (“Триптих Ломеллини”), в центральной части которого было изображено Благовещение, а на боковых створках – Иоанн Креститель и Св. Иероним в студии³³. Этот алтарь привезли сначала в Геную, а затем в Неаполь, где, как предполагают, он был подарен королю Альфонсо Арагонскому во время дипломатической миссии Ломеллини в 1444 г.³⁴ По замечанию неаполитанского поэта Джованни Понтано, Альфонсо очень бережно относился к этому подарку, хранил его в кабинете, где были выставлены разного рода драгоценные предметы и куда допускались только привилегированные особы³⁵. Очевидно, Альфонсо Арагонский был большим поклонником нидерландской живописи, так как в том же 1444 г. ему прислали из Брюгге еще одну картину Яна Ван Эйка – “Св. Георгий и дракон” (не сохранилась)³⁶.

Кардинал Никколо Альбергати посетил Гент и Брюгге в 1431 г.³⁷ Видимо, в это время был сделан подготовительный рисунок к его портрету (Гравюрный кабинет, Дрезден), а затем и сам портрет (Картинная галерея художественно-исторического музея, Вена)³⁸.

Произведения Яна Ван Эйка находились в коллекциях в Урбино³⁹, Венеции⁴⁰, Падуе и Милане⁴¹. Иметь такую живопись в своей коллекции было дорогим и престижным удовольствием. Драгоценная по своим художественным качествам, она была дорогой и в денежном выражении.

В 1450–1460-х годах, после смерти Яна Ван Эйка, самым выдающимся нидерландским мастером в среде итальянцев считался Рогир Ван дер Вейден. Его работы покупали и заказывали самые богатые и знатные итальянцы. Из письменных источников известно, что живопись Рогира была в коллекциях Альфонсо Арагонского⁴² в Неаполе и Леонелло д'Эсте в Ферраре⁴³. Бартоломео Фацио описывает “Даму за туалетом”, виденную им в Генуе⁴⁴. Там же, в коллекции Джероламо Венто находилась “Пьета” работы мастерской Рогира Ван дер Вейдена (Национальная галерея, Лондон)⁴⁵.

Правитель Пезаро Алессандро Сфорца, очевидно, был большим поклонником нидерландского искусства. В течение восьми месяцев он путешествовал по Бургундии и Фландрии (1457–1458) и во время своего путешествия заказал в мастерской Рогира Ван дер Вейдена складень с изображением Распятия, у подножия которого был изображен он сам, его жена Констанца Варано и ее брат Родольфо Варано. Вместе с этой работой, известной как “Триптих Сфорца” (Королевский Музей изящных искусств, Брюссель)⁴⁶, Алессандро привез в Италию исполненные Рогиром Ван дер Вейденом два портрета – свой собственный и герцога Бургундского, которые в настоящее время известны только по инвентарным записям⁴⁷. Близкий родственник Алессандро Сфорца – Федерико де Монтефельтро⁴⁸ также оказался не чужд модным увлечениям искусством. Возможно, не без влияния Алессандро он пригласил на работу в Урбино в 1472 г. гентского живописца Йоса ван Вассенхове (Йос ван Гент). А вместе с ним, по словам Веспасиано да Бистиччи, в Урбино приехали фландрские ткачи⁴⁹.

Несколько знаменитых вещей Рогира Ван дер Вейдена находилось в коллекции Медичи во Флоренции. Нужно заметить, что в первой половине XV в. флорентийцы не проявляли себя как значительные заказчики нидерландского искусства. Не случайно в собрании Медичи была только одна крошечная работа Яна Ван Эйка – “Св. Иероним” (не сохранилась). Но со временем ситуация изменилась. С открытием филиала банка Медичи (1439) и ростом флорентийской колонии в Брюгге пришло новое понимание социального статуса и повышенное внимание к местной культуре. Множество произведений искусства, заказанных и купленных итальянцами в Нидерландах во второй половине XV в., предназначалось для Флоренции. Медичи были богатыми покупателями и для заказов использовали своих агентов в Брюгге⁵⁰. Процесс заказа был хорошо налажен: инструкции относительно размера, формата,

сюжета и цены отправлялись письмом с другом, родственником или агентом, туда же вкладывался рисунок. Иногда в письме содержались указания относительно мастера: когда речь шла о выборе “самого лучшего”, то в 1430-х годах обращались к Яну Ван Эйку, в середине века – к Рогиру, а поколением позже – к Мемлингу⁵¹.

Из принадлежащих Медичи работ Рогира Ван дер Вейдена хорошо известны “Оплакивание” (Уффици, Флоренция) и “Мадонна со святыми” (“Мадонна Медичи”. Штеделевский институт, Франкфурт)⁵². Оба произведения попадают в категорию так называемого “заказа на расстоянии”. В случае с “Оплакиванием” за основу было взято “Оплакивание” Фра Анжелико (1438, 1440, Старая Пинакотека, Мюнхен)⁵³. Очевидно, рисунок композиции был послан в Брюссель из Флоренции, заказчик хотел получить версию работы Фра Анжелико в исполнении Рогира. Просьбы повторить (создать версии) известных произведений выдающихся мастеров были в то время обычным явлением. Сравнивая эти работы, можно увидеть, как изменяется итальянская тема в исполнении нидерландца. Иератическая строгость композиции сменяется свободой в распределении масс, устойчивое равновесие – экспрессивной подвижностью, все “обрастает” деталями и подробностями, величественная монументальность образа сменяется его жизненной конкретизацией. Все становится более повествовательным, натуралистичным, многословным и многосоставным.

“Мадонна со святыми” Рогира Ван дер Вейдена (Штеделевский институт, Франкфурт) также предназначалась для кого-то из семейства Медичи. Тут тоже, возможно, присутствовал рисунок-образец, переданный из Флоренции, так как иконография, по замечанию Э. Панофского, во многом напоминает иконографию святого собеседования, широко распространенную в Италии⁵⁴. На картине изображена Мадонна с младенцем в окружении святых – Петра и Иоанна Крестителя, Косьмы и Домиана. Принадлежность флорентийскому заказчику обозначена изображением лилии на щите у основания композиции. Косьма и Домиан – небесные покровители семейства Медичи, а Петр и Иоанн Креститель – одноименные святые Пьеро и Джованни ди Козимо. Традиционно считается, что Петр и Иоанн – это скрытые портреты Пьеро и Джованни. Такое предположение выдвинуто на основании сравнения изображений с бюстами Мино да Фьезоле в Барджелло (начало 1450-х годов)⁵⁵. Рисунки портретов могли быть посланы из Флоренции, как это нередко случалось при заказе на расстоянии. Возможно, работу заказал кто-то из ближайшего окружения Медичи, чтобы преподнести ее в подарок, так как в собственных инвентарях Медичи нет ни одного произведения, которое могло бы соотноситься с этим⁵⁶.

Вслед за Медичи местная флорентийская знать тоже стремилась к обладанию нидерландскими вещами. Филиалы банка играли роль поставщиков. Богатые флорентийцы, не имеющие непосредственных связей с Нидерландами, могли получать через них произведения искусства. Так, в 1474 г. банкир

Строцци купил через банк Медичи пять маленьких картин на холстах, а двумя годами раньше он получил две работы с изображением св. Франциска (предположительно) Рогира Ван дер Вейдена, которые составили часть подарка для знаменитого неаполитанского придворного Диомеде Карафа⁵⁷. Множество филиалов банка было вовлечено в торговлю нидерландскими вещами. Управляющие-банкиры были богатыми и влиятельными персонами. Именно они в 1460–1470-х годах стали заказчиками самых крупных из дошедших до нас произведений нидерландского искусства.

Анжело Тани, глава филиала банка Медичи в Брюгге (1450–1465), был первым итальянцем, заказавшим большой нидерландский алтарь, предназначенный для Италии – для капеллы Сан Микеле в Бадиа близ Флоренции. Дата заказа алтаря до сих пор точно не установлена. Капелла была выстроена А. Тани по случаю его бракосочетания с двадцатилетней Катериной Танальи. Для украшения капеллы Гансу Мемлингу был заказан алтарь “Страшный Суд” (Гданьск, Поморский музей). Мемлинг считался самым лучшим мастером – именно он после смерти Рогира Ван дер Вейдена занял этот почетный пьедестал. И не случайно, как бы в знак преемственности поколений, за образец был взят алтарь “Страшный Суд” Рогира Ван дер Вейдена (Капелла госпиталя, Бон)⁵⁸.

На створках алтаря изображены Анджело Тани и его жена Катерина Танальи перед статуями Мадонны с младенцем и архангела Михаила. Портрет Катерины, возможно, был сделан по рисунку, присланному из Флоренции, так как она не сопровождала Тани, и, скорее всего, не позировала художнику. На открытых створках, в центральной части изображена сцена Страшного Суда. Наверху – Христос на радуге в окружении апостолов и ангелов. Фигура Христа повторяет аналогичную фигуру из “Страшного Суда” Рогира Ван дер Вейдена. Ниже – архангел Михаил взвешивает души праведников и грешников. Среди участников действия – множество скрытых портретов. Традиционно считается, что Карл Смелый передан в образе апостола Андрея – покровителя Бургундского двора (третий слева от Христа). А среди праведников – представители банка Медичи в Брюгге, в том числе – Томмазо Портинари на весах архангела Михаила⁵⁹.

Алтарь предназначался для Флоренции и мог стать первым крупным произведением нидерландского искусства, прибывшим в Италию. Однако он не достиг места своего назначения. 27 апреля 1473 г. судно, на котором его перевозили, было атаковано военным кораблем из Гданьска. И все, что везли во Флоренцию, попало в Гданьск. Вместе с алтарем Мемлинга на судне находился еще один алтарь, о котором ничего неизвестно, кроме того, что он был “прекрасным и роскошным”⁶⁰.

В том же 1473 г., когда алтарь Мемлинга был увезен в Гданьск, Томмазо Портинари – новый глава филиала банка Медичи в Брюгге – заказал Гуго Ван дер Гусу монументальный триптих “Поклонение пастухов” (Флоренция, Уффици). История жизни и карьеры Томмазо – самого яркого представителя

флорентийцев в Брюгге – весьма увлекательна. Он был двоюродным братом первого управляющего филиалом банка Медичи в Брюгге – Бернардо Портинари и начал работать при нем с юных лет в качестве мальчика на посылках (в 1440 г. Томмазо было около 12 лет). Постепенно продвигаясь по служебной лестнице, он многого достиг – повсюду в Брюгге был своим человеком, хорошо говорил по-французски и по-фламандски. Имея неумные амбиции и будучи человеком прозорливым, он активно развивал деловые отношения с бургундским двором и постепенно стал доверенным лицом будущего герцога Бургундии Карла Смелого. Около 1464 г. Томмазо получил должность “действительного советника” при Бургундском дворе и сохранил этот пост после того, как Карл Смелый сменил Филиппа Доброго в 1467 г. Томмазо стремился занять место управляющего филиалом банка, но, очевидно, Козимо Медичи (глава банка) не был к этому расположен. В 1465 г., после смерти Козимо, в результате хитрой интриги Томмазо получил желанный пост. После этого он развернул бурную деятельность – переехал вместе с банком в один из самых больших домов Брюгге – Бладеленхофф и значительно увеличил штат сотрудников. Чтобы укрепить свое положение, он нанял Карло Кавальканти для эксклюзивных поставок итальянских драгоценных тканей к Бургундскому двору. Таким образом он сломал существовавшую на протяжении долгого времени монополию Лукки на эти поставки. Также он стал финансистом герцога Бургундского, заняв пост, который в недавнем прошлом (до 1461 г.) занимал Джованни ди Арриджо Арнольфини – один из самых знатных и богатых представителей Лукки⁶¹. К 1468 г. Томмазо стал весьма влиятельной и уважаемой персоной. И когда состоялась свадьба Карла Смелого и Маргариты Йоркской и численность флорентийцев в праздничной процессии превзошла численность представителей других итальянских городов⁶², придворный историк Оливье де ла Марш написал в своей хронике: “Перед флорентийскими торговцами шел Томмазо Портинари, глава их *pazione*, одетый как советник герцога”⁶³. Это был единственный итальянец, названный по имени в этом сообщении.

Итак, в 1473 г. Томмазо заказал Гуго Ван дер Гусу большой створчатый алтарь. Это произведение оказалось центральным в творчестве мастера и единственным документально подтвержденным его произведением (1473–1478, Галерея Уффици, Флоренция). Алтарь предназначался для флорентийской церкви Сант-Эджидио. На раскрытых створках алтаря изображены сцены “Рождество” и “Поклонение пастухов”, на левой створке представлен заказчик Томмазо Портинари и его сыновья, на правой – жена Томмазо – Мария Барончелли и дочь Маргарита. Все три части объединены общим перспективным пейзажем с единой точкой схода. На внешней стороне створок изображено “Благовещение” в технике гризайли. Когда в 1483 г. алтарь прибыл во Флоренцию, он оказался первым монументальным нидерландским алтарем, достигшим Италии. Это прославило Гуго Ван дер Гуса и его заказчика Томмазо Портинари.

Трудно сказать, почему Портинари выбрал Ван дер Гуса в качестве исполнителя своего заказа. Огромной популярностью в это время, как уже говорилось, пользовался Ганс Мемлинг. Портинари также заказывал ему произведения. Именно для Портинари были созданы: алтарь “Страсти Христовы” (ок. 1470, Галерея Сабауда, Турин), предназначенный для часовни Св. Иакова в Брюгге; Триптих, в центральной части которого была изображена Мадонна с Младенцем (не сохранилась), а на боковых – портреты Томмазо и его жены Марии Маддалены Бандины Барончелли (ок. 1472, Метрополитен Музей, Нью-Йорк). Мемлинг пользовался большой популярностью как портретист. Его портреты с пейзажем на заднем плане часто заказывались итальянцами. Именно им принадлежит больше половины таких портретов⁶⁴.

Кроме того, Мемлингу часто заказывали благочестивые диптихи и триптихи, на створках которых изображались донаторы в молитве перед святыми, а на реверсах – эмблемы и девизы семей. В широкий обиход такие композиции ввел Рогир Ван дер Вейден, после его смерти эта традиция процветала в творчестве мастеров последующих поколений. Бенедетто Портинари владел таким триптихом работы Мемлинга (Картинная галерея, Берлин; Уффици, Флоренция).

Одним из самых знаменитых произведений, заказанных Гансу Мемлингу итальянцами, был так называемый “Триптих Паганьотти”, в настоящее время разделенный между Флоренцией и Лондоном (центральная часть – Уффици, Флоренция; боковые створки – Национальная галерея, Лондон). Триптих был создан для Бенедетто Паганьотти, высокопоставленного доминиканца, епископа Вейзона. Его фамильный герб и эмблема в виде журавлей изображены на реверсах боковых створок. Ничего неизвестно о том, бывал ли Бенедетто в Нидерландах. Возможно, его племянник Паоло, посещавший Брюгге, заказал для него алтарь⁶⁵. В центральной части алтаря изображена Мадонна с младенцем и двумя ангелами. Композиция обрамлена аркой, украшенной играющими путти и гирляндами. На боковых створках – Св. Иоанн Креститель и Св. Лаврентий, на реверсах – девять журавлей в сумрачном пейзаже в лучах заходящего солнца. Фигуры птиц свободно расположены в пространстве композиции. Virtuозно передана их грациозная пластика. Контраст белого оперенья на темном фоне пейзажа создает яркий декоративный эффект. В верхней части левой створки – фамильный герб Паганьотти. Триптих был создан около 1480 г., во Флоренцию он прибыл в 1482–1483 гг. Очевидно, это первое нидерландское произведение, в котором используются специфические итальянские мотивы – путти и гирлянды. Можно предположить, что Мемлинг включил их как комплимент своему итальянскому заказчику. В работе нет признаков каких-либо условий заказа, скорее всего, итальянец хотел получить обычный нидерландский алтарь, по возможности, самого высокого качества⁶⁶.

Кроме живописи на досках итальянцы ценили и в большом количестве покупали живопись на холстах (почти не сохранилась). Томмазо Портинари

был личным поставщиком семейства Медичи. Из переписки известно, что в январе 1466 г. он сообщил Пьеро, что “для картин на холстах нужно подождать Антверпенскую ярмарку”, так как именно она считалась одной из самых лучших. После нескольких неудачных попыток, он, наконец, сообщает, что “купил самую красивую картину на холсте, какую только мог найти”⁶⁷. У самого Портинари, судя по инвентарным записям, было тринадцать нидерландских картин на холстах с самыми разными сюжетами – евангельскими рассказами, популярными святыми и светскими сценами⁶⁸. Кроме живописи на досках и на холстах, он снабжал семейство Медичи нидерландскими шпалерами, которые ценились во всей Европе, так как отличались хорошим качеством и большим разнообразием сюжетов часто фривольного содержания. Известно, что Леонелло д’Эсте не только тратил большие суммы на покупку нидерландских шпалер, но и организовал в Ферраре мастерскую по их производству. То же касается Федерико да Монтефельтро, который вместе с Йосом ван Гентом нанял фландрских ткачей⁶⁹.

Документальных свидетельств, записей о шпалерах очень много, так как заказчики и агенты вынуждены были обмениваться информацией. В 1466 г. Томмазо Портинари пишет Пьеро Медичи: “Я еще не купил вам шпалеру, так как не могу найти нужного размера, я думаю, ее придется заказывать, что будет гораздо дороже”⁷⁰. Или в 1488 г. агент Фруозино пишет Джованни Медичи из Антверпена: “...Не нашел ничего подходящего... одна из шпалер была хорошего качества, но такая большая, что трудно было бы повесить ее в вашей комнате... и сюжет ее мне тоже не понравился, так как на ней было изображено много трупов (история Самсона), что несовместимо со спальней комнатой, которую нужно украшать более приятными вещами...”⁷¹. Затем он сообщает, что шпалеру, скорее всего, придется заказывать.

Главная привлекательность в покупке готовых изделий была в цене, так как они стоили гораздо дешевле, чем выполненные на заказ. Именно поэтому агентам поручали покупать картины и шпалеры на ярмарках, где был большой выбор (самой значительной была ярмарка в Антверпене). Кроме дорогих, роскошных шпалер, на ярмарках продавались дешевые (“зеленые” – *verdige*), которые хранились в рулонах и могли отрезаться по желанию покупателя. Такие шпалеры в большом количестве встречаются в итальянских инвентарях второй половины – конца XV в., и очень часто – в относительно скромных хозяйствах. Эти вещи привозились на открытые ярмарки во Флоренцию и другие итальянские города, где их могли купить люди самого разного достатка.

Однако богатые и знатные итальянцы, не удовлетворяясь готовыми изделиями, часто заказывали шпалеры по собственным рисункам. В результате получались гибридные произведения. Это способствовало широкому культурному и художественному обмену, и не только между Италией и Нидерландами, но и между другими странами. Знаменитая серия французских шпалер

“Дама с единорогом” также была сделана по французским картонам в брюссельских мастерских.

Можно заметить, что в XV в. значительное число нидерландских вещей присутствовало в Италии. И это неудивительно, так как во многих отношениях Европа того времени представляла собой единое пространство – “фламандские шерстяные ткани были столь же модны в Италии, как итальянские шелка, атласы и бархаты – в Нидерландах и во Франции”⁷². Что касается произведений искусства, то очевидно, что нидерландская живопись пользовалась большим спросом у итальянцев. Ее покупали представители самых разных социальных слоев – от высших правящих кругов знати до мелких бюргеров и торговцев. Мотивация ее приобретения, очевидно, была разной, но интерес и внимание – огромны. Во многом это отражало общую тенденцию времени – сближение двух ведущих культур – Северной и Южной, что способствовало широкому художественному обмену, создавало богатую почву для взаимных влияний и пересечений.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Martens M. P.J. La clientèle de peintre // Les Primitifs flamands et leur temps. Tournai, 2000. P. 142–179.*

² Проблема изучения нидерландской живописи и итальянских заказчиков является составной частью обширной проблемы художественных связей Италии с Нидерландами в XV в. Эта проблема стала предметом многих специальных исследований, среди них наиболее важными для нас являются: *Warburg A. Flandrische Kunst und florentinische Frührenaissance. Studien (1902) // Gesammelte Schriften. Bd. 1. Leipzig; B., 1932. S. 187–206; Meiss M. Jan van Eyck and the Italian Renaissance // Venezia e l'Europa. Venice, 1956; Idem. “Highlands” in the Lowlands: Jan van Eyck, Master of Flémalle and the Franco-Italian Tradition // Gazette de Beaux-Arts. LVII. Pér. 6. 1961. P. 273–274; Гращенков В.Н. Итальянская портретная живопись раннего Возрождения и Нидерланды // Советское искусствознание 78. Вып. 2. М., 1979. С. 65–93; Campbell L. Notes on Netherlandish Pictures in the Veneto in the Fifteenth and Sixteenth Centuries // Burlington Magazine. CXXIII. 1981. P. 467–473; Idem. The Fifteenth-Century Netherlandish Schools. National Gallery catalogues. L., 1998; Martens M. P.J. La clientèle du peintre // Les Primitifs flamands et leur temps. Tournai, 2000. P. 142–179; Nuttall P. Jan van Eyck's Paintings in Italy // Investigating Jan van Eyck / Ed. S. Foister, S. Jones and D. Cool. Turnhout, Belgium, 2000. P. 171–184; Idem. From Flanders to Florence. The Impact of Netherlandish Painting, 1400–1500. New Haven; L., 2004; Le siècle de Van Eyck. 1430–1530. Le monde méditerranéen et les primitifs flamands. Catalogue de l'exposition (Bruges), Gand-Amsterdam, 2002.*

³ *Baxandal M. Giotto and the orators. Humanist Observers of Painting in Italy and the Discovery of Pictorial composition, 1350–1450. Oxford, 1971. P. 106.*

⁴ *Nuttall P. From Flanders to Florence. New Haven; L., 2004. P. 32.*

⁵ *Ibid. P. 33.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid. P. 34.*

⁸ *Гращенков В.Н. Указ. соч. С. 73. Примеч. 31.*

⁹ *Baxandal M. Op. cit. P. 106.*

¹⁰ Оттавио дела Карда – племянник Федерико да Монтефельтро. В XVI в. Вазари упоминает эту картину как принадлежащую самому Федерико. Однако можно предположить, что герцог получил ее позже. Подробно об этом см.: *Baxandal M. Op. cit. P. 107.*

¹¹ *Baxandal M.* Op. cit. P. 106.

¹² *Ibid.*

¹³ Цит. по: *Nuttall P.* Op. cit. P. 37.

¹⁴ *Baxandal M.* Op. cit. P. 101.

¹⁵ Цитата по: *Nuttall P.* Op. cit. P. 36.

¹⁶ Подробно об этом см.: *Nuttall P.* Op. cit. P. 32–34.

¹⁷ *Дворжак М.* Исторические предпосылки нидерландского романизма // История искусства как история духа. СПб., 2001. С. 245.

¹⁸ *Campbell L.* The Fifteenth-Century Netherlandish Schools. National Gallery catalogues. L., 1998. P. 19.

¹⁹ *Дворжак М.* Питер Брейгель Старший // История искусства как история духа. С. 263.

²⁰ Там же.

²¹ *Хейзинга Й.* Осень средневековья. М., 1994. С. 298.

²² *Ranofsky E.* Early Netherlandish Painting. Its Origins and Character. Cambridge, 1953. P. 12.

²³ Жан Жүффрау, епископ Арраса, был весьма влиятельной персоной, он пользовался покровительством многих могущественных особ, включая Евгения IV, Пия II, Филиппа Доброго и французского короля Людовика XI. По дипломатическим делам он бывал во многих странах, в том числе в Испании и Португалии. Его точка зрения отражает мнение высших кругов Европы. Подробно об этом см.: *Nuttall P.* Op. cit. P. 32.

²⁴ *Хейзинга Й.* Указ. соч. С. 291.

²⁵ Как пишет В.П. Головин, “фактически все крупные дворы Италии XV в. были связаны между собой и несколькими европейскими дворами династическими браками. Сфорца породнились с д’Эсте, Монтефельтро, Малатеста, арагонской династией неаполитанских королей. В свою очередь, д’Эсте заключили браки с Гонзага и арагонцами, а Гонзага с Монтефельтро и так далее. Прежде всего этим преследовались политические цели, таким образом закреплялись дружественные отношения и союзы, но параллельно шел обмен культурными традициями, в качестве подарков и с приданным невест перемещались произведения искусства”. *Головин В.П.* Мир художника Раннего Возрождения. М., 2002. С. 149.

²⁶ *Nuttall P.* Op. cit. P. 3.

²⁷ *Ibid.* P. 43.

²⁸ *Parma E.* Genes, porte du monde méditerranéen // Le siècle de Van Eyck. 1430–1530. Le monde méditerranéen et les primitifs flamands. Catalogue de l’exposition (Brudges). Gand-Amsterdam, 2002. P. 97.

²⁹ Имя первого владельца неизвестно, работа попала в Италию через колонию луккских купцов в Брюгге. См.: *Граценков В.Н.* Указ. соч. С. 67. *Sander J.* Niederländische Gemälde in Städels 1400–1500. Mainz, 1993.

³⁰ Об этом портрете см.: *Dhanens E.* Hubert et Jan van Eyck. Antwerp. 1980. P. 333–336.

³¹ Ее существует документов, указывающих на то, что на портрете изображен именно Д. Арнольфини. Гипотеза основана на сопоставлении фламандской и итальянской версий имени Арнольфини. Подробно об этом см.: *Campbell L.* Op. cit. P. 194–196. *Idem.* The Arnolfini Double portrait // Investigating Jan van Eyck. Turnhout. Belgium, 2000. P. 19.

³² *Neidhardt U., Schölzel Ch.* Jan van Eyck’s Dresden Triptych // Investigating Jan van Eyck. Turnhout. Belgium. 2000. P. 25–39; *Menz H.* Niederländische Malerei 15. und 16. Jahrhundert. Staatliche Kunstsammlungen. Gemäldegalerie Alte Meister. Katalog. Dresden, 1966.

³³ *Baxandal M.* Op. cit. P. 106.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Nuttall P.* Op.cit. P. 264 (note 20). См. также: *Lucco M.* De l’art bourguignon cours les lours italiennes: Milan, Ferrara, Urbino // Le siècle de Van Eyck. 1430–1540. Le monde méditerranéen et les primitifs flamands. Catalogue de l’exposition (Brudges), Gand-Amsterdam., 2002. P. 108–118.

³⁶ Nuttall P. Op. cit. P. 3. О нидерландском искусстве в Неаполе см. также: *Beyer A.* Eclecticism des princes et des commanditaires: Naples et le Nord // *Le siècle de Van Eyck. 1430–1530. Le monde méditerranéen et les primitifs flamands. Catalogue de l'exposition (Brudges).* P. 118–127.

³⁷ *Meiss M.* Nicholas Albergati and the Chronology of Jan van Eyck's Portraits. *Burlington Magazine.* XXXIV. 1952. P. 143–144.

³⁸ О дискуссии относительно того, кто изображен на этом портрете, см.: *Dittrich C.* Van Eyck, Bruegel, Rembrandt. *Niederländische Zeichnungen des 15. bis 17. Jahrhunderts aus dem Kupferstich-Kabinett Dresden.* Dresden, 1997. S. 18–21; *Hunter J.* Who is Jan van Eyck's Cardinal Niccolo Albergati? // *The Art Bulletin.* LXXV. 1993. P. 207–218.

³⁹ *Lucco M.* Op. cit.

⁴⁰ У венецианского антиквара Микеле Вианелло (Michele Vianello) хранилась картина “Переход через Красное море” Яна Ван Эйка, которая после смерти Вианелло, в 1506 г., была куплена Изабеллой д’Эсте. О нидерландской живописи в Венеции см.: *Campbell L.* Notes on Netherlandish Painting in the Veneto in the Fifteenth and Sixteenth Centures // *Burlington Magazine.* CXXIII. 1981. P. 467–473.

⁴¹ По свидетельству Маркантонио Микиэля, две картины Яна Ван Эйка светского содержания находились в Падуе и Милане. См.: *Lucco M.* Op. cit. P. 112.

⁴² Три работы на холстах (Страсти Христовы), купленные между 1444 и 1455 гг. (не сохранились). См.: *Nuttall P.* Op. cit. P. 264.

⁴³ Уже упоминавшееся “Снятие с креста”, которое видели Чириако д’Анкони и Бартоломео Фацио в коллекции Лионелло д’Эсте в Ферраре.

⁴⁴ *Baxandal M.* Op. cit. P. 108.

⁴⁵ *Campbell L.* Op. cit. P. 445.

⁴⁶ О “Распятии” из мастерской Рогира Ван дер Вейдена см.: *Stroo C., Syfer-d’Olné P.* The Flemish Primitives. Catalogue of Early Netherlandish Painting in the Royal Museums of Fine Arts of Belgium. I. The Master of Flemalle. Rogier van der Weyden groups. Brussels, 1996. P. 131–151.

⁴⁷ *Граценков В.Н.* Указ. соч. С. 70.

⁴⁸ Федерико де Монтефельтро был женат на дочери А. Сфорца.

⁴⁹ *Граценков В.Н.* Указ. соч. С. 70.

⁵⁰ *Nuttall P.* Op. cit. P. 43.

⁵¹ *Ibid.* P. 85.

⁵² Ни в том, ни в другом случае нет документальных подтверждений заказа Медичи.

⁵³ *Panofsky E.* Op. cit. P. 273–274; *Nuttall P.* Op. cit. P. 85.

⁵⁴ *Panofsky E.* Op. cit. P. 275.

⁵⁵ *Nuttall P.* Op. cit. P. 85.

⁵⁶ *Ibid.* P. 88.

⁵⁷ *Ibid.* P. 44.

⁵⁸ Об алтаре “Страшный Суд” Мемлинга см.: *De Vos D.* Hans Memling. Antwerpen, 1994.

⁵⁹ *Никулин Н.Н.* Золотой век нидерландской живописи. М., 1982. С. 260–262; *Де Вос Д.* Нидерландская живопись. М., 2002. С. 159–168.

⁶⁰ *Nuttall P.* Op. cit. P. 60.

⁶¹ Джованни ди Арриджо Арнольфини достиг выдающегося положения при Бургундском дворе в 1450-х годах. Его не следует путать с Джованни ди Николо Арнольфини, заказчиком Ван Эйка, пик карьеры которого приходится на 1420-е годы. Возможно, усилению позиций Портинари при Бургундском дворе способствовал отъезд Арнольфини на службу к Людовику XI во Францию в 1461 г. См.: *Campbell L.* Op. cit. P. 270; *Nuttall P.* Op. cit. P. 44.

⁶² Рост престижа и размера флорентийской колонии можно заметить по участию ее членов в двух торжественных процессиях. В 1440 г. только двадцать два флорентийца участвовали в празднестве по случаю торжественного входа Филиппа Доброго в Брюгге, в противоположность сорока венецианцам и тридцати восьми генуэзцам. Но по случаю свадьбы Карла Смелого в 1468 г. около сотни флорентийцев принимало участие в процессии, по контрасту

с пятьюдесятью венецианцами и менее значительным числом генуэзцев. Эта трансформация была во многом связана с открытием филиала банка Медичи в Брюгге в 1439 г. См.: *Nuttall P.* Op. cit. P. 44.

⁶³ *Nuttall P.* Op. cit. P. 44.

⁶⁴ *Ibid.* P. 69.

⁶⁵ Подробно о “Триптихе Паганьотти” и его заказчике см.: *Campbell L.* Op. cit. P. 362–369.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Nuttall P.* Op. cit. P. 81.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Граценков В.Н.* Указ. соч. С. 70.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Панфский Э.* Ренессанс и ренессансы в искусстве Запада. М., 2006. С. 265.





ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАКАЗЧИКИ ТИЦИАНА

И.А. Журавлёва

При изучении культурных контактов эпохи Возрождения одной из важных задач является анализ взаимоотношений между художником и заказчиком. Они имели немалое значение для творчества отдельных мастеров, а порой сказывались и на развитии связанных с ними школ. Мы можем проследить роль этого фактора на примере взаимоотношений Тициана и его европейских заказчиков. Такой выбор не случаен – среди венецианских, а возможно, и среди всех итальянских художников эпохи Возрождения именно Тициан создал больше всего картин для иноземных заказчиков, причем самым преданным его поклонником стал император Карл V Габсбург. В небольшой статье невозможно охватить все творчество Тициана, поэтому, хотя в Италии XVI в. Мантуя, Урбино и Рим были независимыми государствами с собственной развитой культурой, мы не будем рассматривать заказы семей Гонзага, д'Эсте и Фарнезе, которые, несомненно, имели большое значение для развития культурных взаимосвязей в Европе в эпоху Возрождения. Цель данной статьи – анализ творчества Тициана в контексте культурного взаимодействия между мастером и его именитыми покровителями вне Италии. Мы рассмотрим следующие вопросы: кто входил в круг этих заказчиков Тициана, каково было влияние политической ситуации на создание его живописных произведений, как сказывались отношения художника и заказчиков на оценке работ мастера.

Тициан Вечеллио, один из самых прославленных живописцев эпохи Возрождения, родился в маленьком городке Пьеве ди Кадоре¹, из которого в юном возрасте отправился на обучение живописи в Венецию. Вскоре он оказался среди учеников венецианского художника Джованни Беллини, а в 1507 г. вместе с другим талантливым учеником Джанбеллино – Себастьяно Лучано (впоследствии Себастьяно дель Пьомбо) перешел, как сообщает Джорджо Вазари, в мастерскую Джорджоне². С именем этого живописца связано выполнение первого известного заказа Тициана – участие в росписи Фондако дей Тедески.

Немецкое подворье, или Фондако дей Тедески, – местопребывание немецких купцов в Венеции – в январе 1505 г. было разрушено пожаром³. Венецианское правительство, в чьей собственности находилось Подворье, на некоторое время предоставило купцам другое помещение и поручило Джироламо Тедеско строительство нового здания. Лаконизм немецкого архитектора

в украшении фасадов Фондако, выходящих на самые оживленные пути Венеции, побудил Синьорию задуматься о цикле фресок, исполнение которых, как известно, было поручено Джорджоне и Тициану⁴. Фрески сохранились фрагментарно, но некоторое представление об их сюжетах можно получить благодаря гравюрам XVIII в., выполненным А.М. Дзанетти⁵. На фреске, созданной Тицианом на боковой стене здания, была изображена женщина, восседавшая на троне и попиравшая ногой отрубленную голову, в то время как в правой руке она держала меч, угрожающе вознесенный над мужчиной в доспехах⁶. Многие историки искусства, начиная с Лодовико Дольче и Карло Ридольфи, видели в изображении этой женщины Юдифь⁷. Кроу и Кавальказелле посчитали ее воплощением Справедливости⁸. Большинство искусствоведов поддерживают одну из этих гипотез или их сочетание, так как Юдифь могла символизировать справедливость. Однако С. Романо на основе иконографического анализа приходит к выводу о возможности третьей трактовки, а именно о воплощении Венеции – Справедливости – Юдифи⁹. Развивая гипотезу С. Романо, А. Джентили напрямую связывает мотивы фрески Тициана с противостоянием Венеции и Империи; по его предположению, женщина является аллегорией Венеции, готовой с мечом встать на борьбу с войском Максимилиана, воплощением которого является солдат на переднем плане¹⁰.

Эта гипотеза может быть обоснована изучением политической ситуации того времени. Известно, что роспись обращенного к Большому каналу фасада, выполненная Джорджоне, была закончена не позднее ноября 1508 г., когда он обратился в магистратуру за причитающимся ему вознаграждением, после чего последовало заключение коллегии экспертов о стоимости работы от 11 декабря 1508 г.¹¹ Нет документальных источников, сообщающих дату создания фресок Тициана. Он не был упомянут в заключении от 11 декабря, а Вазари пишет, что несколько сцен для части фасада, выходящего на Мерчерию, были заказаны Тициану после того, как Джорджоне закончил передний фасад Немецкого подворья¹². Уже Вазари во втором издании “Жизнеописаний” (1568) допускает, что фигура, имеющая вид Юдифи, и солдат, стоящий перед ней, могли представлять Германию¹³. Камбрейская Лига, союз Франции, германского императора, Испании, Флоренции и Феррары, направленный против Венецианской Республики, был образован в декабре 1508 г., когда работа Джорджоне уже была завершена. Однако между венецианскими и имперскими отрядами военные действия велись еще в январе–июне 1508 г. Поводом для них стал отказ Венеции пропустить через свою территорию императора Максимилиана I, в сопровождении войска собиравшегося на коронацию в Рим. Мирное соглашение, подписанное в июне 1508 г., закрепило за Светлейшей завоеванные ею Горицию и Триест, что, видимо, не удовлетворило Максимилиана I, который спустя всего несколько месяцев после договора вступил в антивенецианский союз. Так как Венеция находилась в напряженных отношениях с Империей весьма продолжительный период, можно принять трактовку сюжета фресок, предложенную А. Джентили.

Недаром Джорджо Вазари в своем “Описании творений Тициана” повествует о восторженных отзывах современников об этой работе, которую многие оценили даже выше, чем росписи Джорджоне¹⁴.

Эта фреска, созданная Тицианом задолго до его будущих иноземных заказов, имеет отношение к проблеме культурных контактов в ренессансной Европе. Напомним, что чуть ранее Дюрер, который приехал в Венецию в конце 1505 г. (и не исключено, что одной из причин его появления в этом городе было желание получить заказ на украшение Немецкого подворья), изобразил императора Максимилиана как одного из главных персонажей алтарной картины “Праздник четок”, заказанной немецкими купцами для находившейся практически напротив Фондако дей Тедески церкви Сан Бартоломео¹⁵. В письмах из Венеции своему другу, гуманисту Пиркгеймеру, Дюрер сообщает, что в сентябре 1506 г. закончил эту картину¹⁶, а также, что ее видели и дож и патриарх¹⁷; она принесла ему много похвал, а венецианские художники говорили, что они “никогда не видели более возвышенной и красивой картины”¹⁸. Вполне вероятно, что столь явный интерес к алтарному образу был вызван причинами скорее дипломатического, чем художественного характера: в картине изображены главные действующие лица эпохи – папа Юлий II и император Максимилиан I, на голову которого благосклонно возлагает венок Богоматерь. По словам Ц. Нессельштраус, “Изображение в этот момент императора как главы светского мира, выступающего на равных правах с папой, должно было, по мысли заказчиков, содействовать усилению в глазах итальянцев авторитета империи”¹⁹. Возможно, в числе тех, кто познакомился с работой Дюрера, был и Тициан, в то время еще ученик Джованни Беллини – единственного венецианского художника, который, по словам Дюрера, отнесся к чужеземному художнику более чем доброжелательно²⁰. В пользу этого предположения косвенно говорит и мнение некоторых современных исследователей, пишущих о влиянии, оказанном Дюрером на Тициана²¹. Следовательно, можно предположить, что в своей первой известной фреске Тициан своеобразно ответил немецкому художнику, в аллегорической форме обратившись к тому же персонажу, что и Дюрер, – императору Максимилиану I. На примере алтарного образа Дюрера для церкви Сан Бартоломео и фресок Фондако дей Тедески, выполненных Тицианом, видно, как могло происходить влияние художника одной школы на другого, творчество которого впоследствии будет признано одной из вершин итальянского Возрождения.

Еще раз отметим, что Дюрер выполнил алтарный образ по заказу немецких купцов, проживавших в Венеции, а Тициан расписал боковую стену здания Немецкого подворья по заказу венецианского правительства. Очевидно, немалую роль в столь разной трактовке образа германского императора играли заказчики. Поэтому при рассмотрении проблемы культурных взаимосвязей в Европе, когда речь идет о выполнении заказных работ, необходимо учитывать ангажированность ренессансных художников. В частности, в Венеции художественные произведения в абсолютном своем большинстве создавались по

заказу. И был ли это заказ правительства Светлейшей, либо венецианского патриция, воина или купца, он нередко накладывал отпечаток на трактовку художником образов его произведений, причем часто уже сама тема картины, независимо от того, была ли она четко определена заказчиком, должна была в той или иной мере отвечать его желаниям.

Примеры ангажированности живописных произведений под влиянием требований заказа весьма характерны для творчества Тициана. Прославляя победы венецианских военачальников над турками, Тициан пишет вотивные образы “Папа Александр VI поручает Якопо Пезаро покровительству св. Петра” (1503–1506, Антверпен) и “Мадонна Пезаро” (1519–1526, Венеция, Фрари), в которых главными действующими лицами являются герои битвы при Санта Маура 1502 г. В контексте нашей статьи следует обратить особое внимание на полотно Тициана, находившееся во Дворце Дожей, которое изображало императора Фридриха I Барбароссу, стоящего, по описанию Вазари, “у врат храма Сан Марко на коленях перед папой Александром III в полном унижении”²². Эта картина была начата Джованни Беллини и завершена Тицианом в 1522 г., который модернизировал ее, добавив “множество портретов своих современников”²³. Антиимперскую тематику раннего Тициана продолжает погибшая в 1570-е годы картина “Битва при Кадоре”, прославлявшая первую победу венецианцев над войском императора Максимилиана (2 марта 1508 г.).

Но если прославление Светлейшей республики и венецианцев, которое требовалось по условиям заказчика, могло совпадать с желаниями и настроениями самого художника, ставшего гражданином Венеции, то весьма интересно проследить дальнейшую эволюцию тем и сюжетов произведений Тициана, в какой-то степени обусловленную и его взаимоотношениями с именитыми заказчиками. Уже в первые десятилетия XVI в. Тициан стал весьма популярным не только в Венеции. В 1513 г. Пьетро Бембо приглашает его работать при дворе папы Льва X, но Тициан отказывается²⁴. По словам Л. Дольче, французский король Франциск I также приглашал художника ко двору на самых выгодных условиях, “но Тициан никогда не хотел оставлять Венецию, куда он приехал еще ребенком и избрал ее своей родиной”²⁵. После смерти Беллини он получает желанную должность сенсериа при Немецком подворье, которая некоторыми исследователями интерпретируется как должность официального живописца Венецианской республики²⁶. Круг его заказчиков заметно расширяется. Как писал Дольче, “можно очень долго рассказывать о написанных им портретах, столь великолепных, что они превосходят саму природу. Это портреты королей, императоров, пап, князей и других великих людей. Не было случая, чтобы приехавший в Венецию кардинал или другая знатная особа не отправлялись к Тициану посмотреть его работы и заказать ему свой портрет”²⁷. Уже в этот период работы Тициана представляют собой, по определению Фр. Валькановера, “необычайный документ современного ему общества”²⁸.

По словам Карло Ридольфи, несмотря на то, что Тициан “действительно был человеком великого таланта, он не наслаждался плодами трудов своих, пока не был призван ко дворам правителей...”²⁹. Еще в 1523 г. Тициан написал портрет феррарского герцога Альфонсо д’Эсте, поразивший современников и ознаменовавший появление нового типа парадного портрета – портрета большого, поколенного формата, ярко живописующего характер портретируемого лица и лишенного какой-либо идеализации. Этот портрет позднее видел Микеланджело, который очень хвалил его и сказал, что “Тициан – единственный художник, достойный этого имени”³⁰. В свою очередь, “властитель полумира” император Карл V был покорен искусством великого мастера и захотел получить портрет в свою коллекцию, а в конце 1529 г. Федерико Гонзага представил художника императору, который согласился позировать Тициану.

Первый портрет императора Тициан выполнил в январе–феврале 1530 г. в Болонье (этот портрет в полных доспехах дошел до нас в копии Рубенса³¹), и за него художник получил от Карла V символическую плату в один дукат, к которой Федерико Гонзага добавил 150 дукатов из своего кармана³². С этого времени прежняя антиимперская тематика полотен Тициана сменяется противоположной тенденцией – прославления высшей имперской власти и ее окружения. Именно во взаимоотношениях живописца и императора на примере работ этого периода ярче всего можно увидеть развитие культурных связей в эпоху Возрождения. Уже в 1533 г. Тициан был назначен официальным живописцем императора Священной Римской империи и удостоен звания графа Палатинского и кавалера ордена Золотой Шпоры, художнику была обещана пенсия в 200 скудо из миланской казны, его сыну Помпонио – каноникат в Милане, а второму сыну, Орацио, – поместье в Испании с ежегодной выплатой 500 дукатов³³. В 1530–1540-е годы при выполнении заказов ему пришлось балансировать между главными политическими противниками продолжающихся итальянских войн: Империей, Францией, Папской областью и Венецианской республикой. Последняя, ослабленная десятилетиями борьбы с европейскими государствами и Османской империей, стремилась сохранять нейтралитет. Тициан тем временем создает не только монументальный портрет Карла V (1533, Мадрид, Прадо) и несколько портретов посла Карла V в Венеции Диего Уртадо де Мендосы (1541)³⁴, но и пишет по медали портрет французского короля Франциска I (1538, Париж, Лувр), создает портреты венецианских дождей (1543, 1546), серию портретов семьи Фарнезе в Болонье и Риме, работает в Пезаро и Урбино (1545–1546 гг.).

В это время он пишет также портреты жены Карла V Изабеллы Португальской (первый, ок. 1544 г., утерян, второй, ок. 1545 г., находится в Музее Прадо, Мадрид) и, по словам Вазари, жены и дочери турецкого султана³⁵. Любопытна история создания этих портретов: портреты Изабеллы были выполнены спустя пять лет после ее смерти, в 1539 г., по работе неизвестного мастера³⁶. Неизвестна история создания и дальнейшая судьба портретов членов семьи султана³⁷. Сами эти работы, как и многие другие, утеряны, но

сохранилась гравюра с изображением турецкого султана Сулеймана, особое внимание на которой уделено необыкновенному золотому шлему султана, созданному венецианскими ювелирами в 1532 г.³⁸ М. Мураро и Д. Роузэнд полагают, что эта гравюра была выполнена с портрета султана руки Тициана (ок. 1539)³⁹. Этот портрет стал одним из немногих свидетельств недолгого мира Венеции с Турцией.

В 1546 г. Тициан впервые приехал в Аугсбург по официальному приглашению императора и с этого момента мы видим значительное увеличение числа работ, выполненных художником для европейских заказчиков. В 1539 г. Пьетро Аретино писал, что Тициан не хотел ехать в Испанию⁴⁰; впрочем, и раньше Тициан не желал покидать Венецию. По мнению И.А. Смирновой, Тициан поехал в Аугсбург, потому что в Италии получал все большее распространение тип официального, идеализированного парадного портрета, отличного от манеры Тициана, который стал получать меньше заказов⁴¹. Например, по не указанной Вазари причине позировать Тициану отказался Козимо I Медичи⁴². Однако М. Манчини на основании тщательного изучения корпуса эпистолярных источников данного периода утверждает, что к поездке в Аугсбург Тициана подтолкнула неудача в попытке получить от семейства Фарнезе церковную должность для сына Помпонио, а также смена посланников Карла V в Венеции: весной 1547 г. послом императора стал Хуан Уртадо де Мендоса, который смог добиться от Тициана обещания отправиться ко двору Карла V⁴³.

Для императора 1547 год был удачным периодом в тяжелой борьбе с протестантами. В это время для обсуждения дальнейшей религиозной политики на рейхстаг в Аугсбург собрались многочисленные представители семейства Габсбургов и союзники Карла V, а также представители умеренного протестантизма, среди его окружения оказались представители знати всей Европы. Свои победы император пожелал увековечить в произведениях искусства, активно участвуя в разработке замысла картин. Уже в апреле 1548 г. Тициан сообщает Аретино, что Его Высочество позировал ему, и что он представит его на коне и в доспехах, в которых он участвовал в битве при Мюльберге, где в 1547 г. разбил войско Шмалькальденской Лиги протестантов⁴⁴. Победивший император изображен в натуральную величину, в доспехах, верхом на темном скакуне. Этот портрет стал одной из вершин творчества Тициана и впоследствии не раз служил образцом для подражания европейским художникам разных стран при создании ими конных портретов.

В том же контексте религиозной борьбы в 1551 г. Карл V заказывает Тициану картину “Поклонение святой Троице”. На ней изображены божественная Троица, патриархи и пророки, евангелисты и Дева Мария, заступающаяся перед Сыном за семью императора. По предположению Р. Паллуккини, сюжет картины мог быть предложен Карлом V, возможно, по совету какого-либо теолога с целью отвести от императора подозрения в симпатии к еретической теории секретаря Карла V Сервета, который выступал с критикой догмата

о троичности Бога⁴⁵. Тициан закончил это произведение в 1554 г., и Карл V смог взять “Троицу” в числе нескольких других его любимых картин, когда удалился в испанский монастырь Юст, где провел последние годы своей жизни. Согласно свидетельствам источников, Карл V смотрел на это полотно незадолго до своей смерти и в завещании указал, чтобы копия картины была высечена из мрамора на его могиле⁴⁶.

Второй портрет императора – “Портрет Карла V в кресле”, стал одной из немногих сохранившихся работ, выполненных Тицианом во время пребывания в Аугсбурге. Там он создал портреты не только императора, но и его ближайшего окружения, принцев, а также знатных пленников. Из наиболее известных персонажей следует назвать брата Карла V, короля Фердинанда, его сыновей Максимилиана и Фердинанда; вдову герцога Баварского Вильгельма Марию Баденскую и ее четырех сестер, герцога Савойского Эммануила Филиберта, предводителя Шмалькальденской Лиги Иоганна Фридриха и его соперника Морица Саксонского, канцлера Гранвеллу, кардинала Мадруццо и многих других. Одним из постоянных заказчиков Тициана стала сестра императора, вдовствующая королева Венгрии Мария. По ее заказу было выполнено большинство портретов членов семьи Габсбургов, а также такие картины, как “Явление Христа Марии Магдалине” (1554), “Прометей”, “Сизиф”, “Тантал”, “Иксион” (1554–1556), которые погибли при пожаре во Дворце Пардо в 1604 г.⁴⁷ Позднее Генрих III, король французский и польский, возвращаясь в 1574 г. во Францию, пожелал увидеть Тициана и получить несколько его работ⁴⁸. Таким образом, работы Тициана запечатлели образы множества действующих лиц европейской политики XVI в., и, будучи рассеянными по галереям разных стран, способствовали знакомству европейцев с итальянской ренессансной живописью.

Следует отметить связи Тициана с представителями северной Европы. В его мастерской, по свидетельству Вазари, кроме помощников и учеников, работали “немцы” – мастера по созданию ландшафтов⁴⁹. Это были, видимо, немецкие и нидерландские художники. Один из помощников-нидерландцев, Ламберт Сустрис, работал с Тицианом и в Аугсбурге, где в мастерскую художника вошел также Эммануэль Амбергер: эти художники, по мнению Р. Паллуккини, сыграли немалую роль в небывалой плодovitости Тициана в создании живописных полотен⁵⁰. Среди учеников Тициана Вазари выделяет некоего Джованни Фламандца, “удивительного портретиста”⁵¹. Другой ученик и подражатель Тициана, Парис Бордоне, прославившись в Венеции и на Тераферме, в 1538 г. отправился во Францию, где написал немало портретов приближенных Франциска I⁵², а также создавал картины для кардинала лотарингского, польского короля и Марии Венгерской, испанского маркиза д’Асторга, герцогини Савойской, богатых купцов Аугсбурга (Фуггеров и Гринеров) и других⁵³, распространяя живописные приемы Тициана во многих странах. Сам Тициан написал несколько полотен по заказу северо-европейских купцов. Так, в 1543 г. для жившего в Венеции фламандского купца

Джованни ван Хаанена, которого Тициан называл своим кумом, он выполнил картину “Се человек”, а затем написал портрет своего заказчика и “Мадонну” с портретами членов семьи фламандца⁵⁴. Следует заметить, что если знатные лица, подражая императору и в соответствии с модой, заказывали произведения “новых жанров” – парадные портреты и мифологические композиции с изображением античных богов и героев, то более консервативные купеческие круги предпочитали религиозные сюжеты.

Но вернемся к процессу создания произведений искусства. Здесь невозможно не упомянуть о влиянии, которое оказывал император на выбор моделей или сюжеты заказываемых картин и о его требованиях к их созданию. В сопроводительном письме к “Поклонению святой Троице” Тициан сообщает, что направляемое императору Карлу произведение могло бы быть готово намного раньше, если бы художник не переписывал по два и даже по три раза работу многих дней, желая угодить своему покровителю⁵⁵. Тициан внимательно относился к желаниям императора и в других работах. Так, в октябре 1545 г. художник пишет письмо Карлу V, сопровождая им пересылку двух посмертных портретов Изабеллы Португальской, которые он “выполнил со всем возможным усердием”. Тициан пишет: “Я бы сам хотел привезти их, если бы это дозволили продолжительность путешествия и мой возраст. Прошу Ваше Величество указать мне ошибки и недостатки и отправить (работы. – И.Ж.) мне обратно, чтобы я устранил недочеты, но не позволять никому другому браться за это дело”⁵⁶. Получив портреты, Карл V сообщил своему посланнику в Венеции, что он остался очень доволен работой Тициана и возьмет портрет с собой, когда поедет в Италию, чтобы позволить художнику собственноручно исправить единственный замеченный императором недостаток – а именно нос императрицы⁵⁷. Об этом недостатке император вспоминает и в 1547 г. перед поездкой художника в Аугсбург⁵⁸. К портрету же одного из придворных императора, Франческо Варгаса, Тициан относится без какого-либо почтения: отдавая его на суд императора, он позволяет любому другому художнику изменить его⁵⁹. Возможно, выполнение этого портрета Тициан доверил кому-то из учеников, которые под его присмотром трудились над многими работами, подписанными мастером.

Выполненные по заказу Карла V картины Тициана настолько нравились императору, что, по мнению Вазари, он щедро награждал художника: историк упоминает о тысяче золотых за каждый портрет императора, пенсии в 200 золотых, выплачиваемых ему неаполитанским казначейством⁶⁰, а затем о такой же сумме пожизненной пенсии, полученной от Филиппа II⁶¹, и прочих подарках. Хотя сложно определить, какую часть названных сумм художник все-таки получил, можно предположить, что знакомство с императором благотворно сказалось на его материальном положении, а также способствовало значительному расширению круга возможных заказчиков. Все же, менее именитые заказчики, по-видимому, быстрее расплачивались с Тицианом. Так, в письме от 10 сентября 1554 г. художник жаловался императору, что

ему никогда не были выплачены пенсии Неаполя и Милана и не были предоставлены другие обещанные льготы⁶². Как свидетельствуют источники, речь идет о различных привилегиях, которые Карл V щедро посулил художнику. Не изменилось к лучшему положение Тициана и тогда, когда его основным заказчиком стал сын Карла V, испанский король Филипп II, который после отречения императора получил Нидерланды, Кастилию, Арагон, владения в Италии и земли Нового Света. С сыном Карла V отношения у Тициана уже не были столь дружественными, хотя именно он стал его основным заказчиком в последние два десятилетия жизни мастера. Первые портреты короля Филиппа II были созданы в период 1548–1551 гг. (сейчас один из портретов хранится в Мадриде, в музее Прадо, а копии – в Неаполе, в галерее Каподимонте, и во Флоренции, в Уффици). Они сыграли немаловажную роль в истории Европы: в 1553 г. выполненный Тицианом портрет Филиппа II участвовал в благополучно завершившемся сватовстве сына императора к Марии Тюдор, для которой художник затем написал несколько картин⁶³. По заказу Филиппа II Тициан выполнил значительное количество картин, в том числе несколько мифологических композиций на основе “Метаморфоз” Овидия (1554–1562), написал ряд работ с религиозным сюжетом, среди которых были “Поклонение волхвов” (1559, Эскориал), “Тайная вечеря” (1558–1564, Эскориал), “Мученичество” св. Лаврентия” (1564–1567, Эскориал), “Распятие Христа” (1565, Эскориал) и др. В последние годы жизни Тициан создал несколько полотен, прославлявших победу в битве при Лепанто, испанская тема которых даже не завуалирована: “Религия, которой помогает Испания” (1572–1574, Прадо), “Филипп II предлагает испанского принца в дар Виктории” (1572–1574, Прадо).

Католический король и Тициан общались обыкновенно не напрямую, а через посланника Испании в Венеции, и, как правило, заказчик проявлял минимальный интерес к сюжетам картин. Например, в период с 1551 по 1564 г. документально подтвержден лишь один случай, когда тема произведения была выбрана королем, который заказал алтарный образ “Мученичество св. Лаврентия”⁶⁴. Хотя Ч. Хоуп считает свободу, предоставляемую Тициану, лишь еще одним доказательством почитания мастера со стороны Филиппа II⁶⁵, с уходом Карла V с политической арены Тициан чувствовал утрату своего бывшего высокого статуса в глазах новой власти и ее окружения, как это видно в письме придворному Филиппа II Хуану де Бенавидесу. В этом послании живописец выражает опасение, что тот забыл Тициана и его работы, возгордившись величием своего короля⁶⁶. У художника возникали конфликты с заказчиками, что было связано не только с его знаменитой “поздней манерой”, создающей впечатление незаконченности, но и с действительной незавершенностью некоторых работ. Так, Филипп II, находившийся некоторое время в Лондоне, однажды получил от Тициана картину в ненадлежащем состоянии, после чего запретил своему поверенному в Венеции отправлять картины Тициана, не уведомив сначала короля об их завершении и не получив

затем приказа об их отправке⁶⁷. Судя по всему, Тициан, спеша обрадовать Его Величество, отправил “сырую” картину, которая не перенесла тягот путешествия. При этом Филипп II оставался последним постоянным заказчиком Тициана. В Венеции все большую популярность приобретали работы Веронезе и Тинторетто. Как отмечает И.А. Смирнова, в 1555 г. Тициан лишился звания официального живописца Светлейшей⁶⁸. Можно предположить, что этот факт был связан не столько с возрастом художника, который перешагнул рубеж семидесятилетия, сколько с “имперской линией” творчества Тициана, который вкладывал все свое мастерство в картины, создаваемые для испанского двора. Еще в 1537 г. Совет Десяти предупреждал художника, что если он не закончит давно обещанные венецианскому правительству картины, то к нему применят карательные меры⁶⁹. И когда великий покровитель Тициана ушел с политической арены, художнику не оставалось ничего другого, как надеяться на обещанные Габсбургами привилегии. Между тем, миланское казначейство из-за непрекращающихся войн испытывало постоянный дефицит средств и не торопилось выплачивать пенсию Тициану, а Филипп II, видимо, полагал, что Тициану вполне хватало солидных пенсий, назначенных ему ранее, даже если они приходили с опозданием. Ч. Хоуп считает, что в последние годы художник добровольно работал на Филиппа II лишь для “собственного удовольствия”⁷⁰. Но более точным кажется определение отношений Филиппа II и Тициана, данное Р. Паллуккини: “сложно отказаться от заказчика, который неизменно оставался должен художнику. И Тициан работал на испанского короля до конца своей жизни”⁷¹.

Оказавшись в затруднительной экономической ситуации, в 1568 г. Тициан предлагает свои услуги императору Максимилиану II, а в 1571 г. направляет Филиппу II знаменитое письмо, в котором, желая получить вознаграждение за свои труды, утверждает, что достиг уже девяноста пяти лет⁷². Как отметил Р. Паллуккини, “чем старше становился Тициан, тем все больше росло в нем желание добиться оплаты долгов”⁷³. Мастер пишет королю: “За 18 лет я до сих пор не получил ни гроша за картины, которые за это время Вам отправил”⁷⁴. В 1574 г. Тициан отослал секретарю Филиппа II список неоплаченных работ, выполненных по заказу испанского короля. Последнее из характерных для того периода писем художник отправил Филиппу II незадолго до смерти: он умер в августе 1577 г. в Венеции, так и не получив от испанского короля, знатока и коллекционера произведений искусства, платы за большинство заказов.

Тициан Вечеллио, по словам Вазари, “украшивший не только Венецию, но и всю Италию и другие части света совершеннейшими творениями живописи”⁷⁵, оставил неизгладимый след в истории европейского искусства. В своих произведениях, хранящихся в галереях разных стран, он запечатлел многих виднейших представителей политической и культурной жизни XVI в. – властителей Европы, людей из их окружения, гуманистов, купцов. Причем, как показывает изучение источников, именитые заказчики могли

существенно влиять на процесс создания картин, начиная от выбора темы и акцентов в ее трактовке до требований к композиции и другим художественным характеристикам произведений. Взаимосвязи художника с императором Карлом V и его окружением, а также другими иноземными заказчиками Тициана сыграли важную роль в процессе распространения и развития в Европе культуры Возрождения. Ученики Тициана – Парис Бордоне и др. – продолжили его путь. Мощное воздействие Тициана испытали крупнейшие венецианские мастера – Веронезе и Тинторетто. Созданные Тицианом типы парадных, конных и репрезентативных портретов, сам новаторский характер его живописи, включая великие достижения в ее колористическом строе, оказали значительное влияние на художественную культуру Германии, Испании, Англии, Франции и других стран Европы, причем его значение сказалось не только в эпоху Возрождения, но и в последующие периоды истории искусства.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Дата рождения Тициана не может быть установлена на основании известных источников, которые предлагают различные даты: 1476–1477 год (*Ridolfi C. Le meraviglie dell'arte ovvero vite dei pittori veneti e dello Stato. Vol. I. Bologna, 2002. P. 196* и письмо Тициана Филиппу II от 1 августа 1571 г.: *Tiziano e la corte di Spagna nei documenti dell'Archivio Generale di Simancas. Madrid, 1975. P. 109*) и 1490 год (*Dolce L. L'Aretino ovvero Dialogo della pittura. Bologna, 1974. P. 64*).

² *Вазари Дж.* Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: В 5 т. М., 1996. Т. V. С. 489.

³ *Sanudo M. Diarii. T. 1–58. Venezia, 1879–1902. T. VI, 1881. Coll. 126.*

⁴ *Cavalcaselle G.-B., Crowe J.-A. Tiziano, la sua vita e i suoi tempi con alcune notizie della sua famiglia. Vol. 1–2. Firenze, 1887. Vol. I. P. 84.*

⁵ *Le incisioni da Tiziano / A cura di M.A. Chiari. Venezia, 1982. P. 189.*

⁶ В настоящее время сохранившийся фрагмент фрески хранится в Галерее Франкетти (Ка д'Оро, Венеция).

⁷ *Dolce L. L'Aretino ovvero Dialogo della pittura... P. 64; Ridolfi C. Le meraviglie dell'arte... Vol. I. P. 200.*

⁸ *Cavalcaselle G.-B., Crowe J.-A. Tiziano, la sua vita e i suoi tempi... Vol. I. P. 89.*

⁹ С. Романо обращает внимание на нестандартную иконографию так называемой Юдифи: Юдифь изображена не стоя, торжествующая над врагом, но сидя, что традиционно символизирует власть. При этом Романо вспоминает литературную традицию, согласно которой Венеция, божественная и непорочная, могла ассоциироваться с Девой Марией и Юдифью: *Romano S. Giuditta e il Fondaco dei Tedeschi // Giorgione e la cultura veneta tra '400 e '500. Roma, 1981. P. 122.*

¹⁰ *Gentili A. Tiziano. Firenze, 1990. P. 12.*

¹¹ *Carteggio inedito d'artisti dei secoli XIV, XV, XVI / A cura di G. Gaye. T. I–III. Firenze, 1840. T. II. P. 138.*

¹² *Вазари Дж.* Жизнеописания... Т. V. С. 489.

¹³ *Вазари Дж.* Жизнеописания... Т. III. С. 45. При этом Вазари ошибочно приписывает фрески боковой стены здания Джорджоне.

¹⁴ *Вазари Дж.* Жизнеописания... Т. V. С. 490.

¹⁵ *Дюрер А.* Трактаты. Дневники. Письма. СПб., 2000. С. 406. (Письмо от 6 января 1506 г.). Интересно отметить, что молодой Тициан расписывал фасад здания, находящегося в самом центре города, где сосредоточивались не только значительные финансовые потоки, но и куль-

гурные достижения того времени. Кроме Дюрера, о котором идет речь, в Сан Бартоломео приблизительно в эти годы работал и Себастьяно Венециано, с двух сторон расписавший дверцы органа церкви.

¹⁶ Там же. С. 406 (письмо от 23 сентября 1506 г.).

¹⁷ Там же. С. 405 (письмо от 8 сентября 1506 г.).

¹⁸ Там же (письмо от 23 сентября 1506 г.).

¹⁹ *Neselyttraus C.* Альбрехт Дюрер. Л., М., 1961. С. 94.

²⁰ “Но Джамбеллини очень хвалил меня в присутствии многих господ. Ему очень хотелось иметь что-нибудь из моих работ, и он сам приходил ко мне и просил меня, чтобы я ему что-нибудь сделал, он же хорошо мне заплатит”: Там же. С. 391 (письмо от 7 февраля 1506 г.).

²¹ *Pignatti T.* Il “corpus” pittorico di Giorgione // *Giorgione e l’umanesimo veneziano*. Vol. 1–2. Firenze, 1981. Vol. 1. P. 145; *Le incisioni da Tiziano / A cura di M.A. Chiari*. Venezia, 1982. P. 5–6; *Valcanover F.* Introduzione a Tiziano // *Tiziano*. Venezia, 1990. P. 8.

²² *Вазари Дж.* Жизнеописания... Т. V. С. 491.

²³ “Затем, так как после смерти Джованни Беллини осталась незаконченной картина в Зале Большого Совета с изображением Фридриха Барбароссы, стоящего у врат храма Сан Марко на коленях перед папой Александром III в полном унижении, Тициан окончил эту вещь, многое изменив и включив много портретов, написанных с его друзей и других людей” (там же).

²⁴ Там же. С. 494.

²⁵ “...ma Tiziano non volle mai abbandonar Venezia, ove era venuto piccolo fanciullo, e l’aveva eletta per sua patria”: *Dolce L.* L’Aretino ovvero Dialogo della pittura... P. 67.

²⁶ *Лазарев В.Н.* Старые итальянские мастера. М., 1972. С. 350.

²⁷ *Dolce L.* L’Aretino ovvero Dialogo della pittura... P. 68.

²⁸ *Valcanover F.* Introduzione a Tiziano... P. 14.

²⁹ *Ridolfi C.* Le meraviglie dell’arte... P. 211.

³⁰ “lo ammirò e lodò infinitamente, dicendo ch’egli non aveva creduto che l’arte potesse far tanto, e che solo Tiziano era degno del nome di pittore”: *Dolce L.* L’Aretino ovvero Dialogo della pittura... P. 17.

³¹ *Hope C.* La produzione pittorica di Tiziano per gli Ausburgo // *Venezia e la Spagna*. Milano, 1988. P. 49. В копии Рубенса до нас дошел и более поздний портрет Карла V и Изабеллы Португальской.

³² *Wethey H.E.* Tiziano ed i ritratti di Carlo V // *Tiziano e Venezia: Convegno internazionale di studi*, Venezia, 1976. Vicenza, 1980. P. 288.

³³ *Ridolfi C.* Le meraviglie dell’arte... P. 234–238.

³⁴ *Вазари Дж.* Жизнеописания... Т. V. С. 498.

³⁵ Там же. С. 508.

³⁶ Lettera di Tiziano a Carlo V del 8 dicembre 1545 // *Tiziano e la corte di Spagna nei documenti dell’Archivio Generale di Simancas*. Madrid, 1975. P. 25.

³⁷ Известны случаи, когда Тициан писал портреты не только по чужим портретам, но и с античных медалей и статуй (например, “Двенадцать Цезарей” для герцога Феррарского).

³⁸ *Sanudo M.* I Diarii. T. LV. Venezia, 1900. Coll. 634.

³⁹ *Tiziano e la silografia veneziana del Cinquecento / A cura di M. Muraro e D. Rosand*. Vicenza, 1976. P. 122.

⁴⁰ “E chiaro che il compar mio non vole andar in Ispagnia, ancora che lo imperadore lo chiedesse a questa sempiterna Signoria; ma verrebbe a lasciar memoria de la sua arte ne i ritratti de i principi de la celeberrima stirpe Farnese”: Lettera di P. Aretino a messer Lione scultore dell’11 luglio 1539 // *Aretino P.* Tutte le opere. Verona, 1960. P. 573.

⁴¹ *Смирнова И.А.* Тициан и венецианский портрет XVI в. М., 1964. С. 80.

⁴² *Вазари Дж.* Жизнеописания... Т. V. С. 500.

⁴³ *Mancini M.* Tiziano e le corti d’Ausburgo nei documenti degli archivi spagnoli. Venezia, 1998. P. 35.

⁴⁴ *Pallucchini R.* Tiziano. Vol. I. Firenze, 1969. P. 121.

⁴⁵ *Pallucchini R.* Profilo di Tiziano. Firenze, 1977. P. 45.

⁴⁶ *Hope C.* La produzione pittorica di Tiziano per gli Ausburgo... P. 53.

⁴⁷ *Cavalcaselle G.-B., Crowe J.-A.* Tiziano, la sua vita e i suoi tempi... Vol. II. P. 137.

⁴⁸ *Ridolfi C.* Le meraviglie dell'arte... P. 271.

⁴⁹ “держал для этой цели в своей мастерской несколько немцев, отличных живописцев ландшафтов и листвы”: *Вазари Дж.* Жизнеописание... Т. V. С. 489.

⁵⁰ *Pallucchini R.* Profilo di Tiziano... P. 12.

⁵¹ *Вазари Дж.* Жизнеописание... Т. V. С. 511.

⁵² Там же. С. 513.

⁵³ Там же. С. 513–515.

⁵⁴ Там же. С. 489–490.

⁵⁵ “Mando anchora a V. C. M. la sua opera, della *Trinità*, et nel vero se non fossero stati i miei travagli l'harei fornita et mandata molto prima, anchora che pensando io di sodisfare a V. M. C. non mi son curato di guastare due e tre volte il lavoro di molti giorni per ridurla al termine di mio contento, onde vi posto più tempo che non si conveniva ordinariamente”: Lettera di Tiziano a Carlo V del 10 settembre 1554 // Tiziano e la corte di Spagna... P. 40.

⁵⁶ “...heveria voluto portale io stesso se la longheza dil viaggio et l'eta mia mel concedessen. Prego a V. M. tà mi mandi a dir li falli et manchamenti, rimandandomeli in dietro, acciò che li emendi, et non consenta V. M. tà che un altro metta le man in essi...”: Lettera di Tiziano a Carlo V del 5 ottobre 1545 // Tiziano e la corte di Spagna... P. 22.

⁵⁷ “Sola una cosa nos paresce que se devrá aderezar un poco, es en la nariz, pero, porque en lo que Ticiano ha puesto la mano no la ha de poner otro, le havemos mandado guardar y llevaremos para que, quando passaremos por Italia, él mismo lo adereze”: Lettera di Carlo V a Diego Hurtado de Mendoza // Tiziano e la corte di Spagna... P. 24.

⁵⁸ Lettera di Carlo V a Juan Hurtado de Mendoza del 21 ottobre 1547 // Tiziano e la corte di Spagna... P. 26.

⁵⁹ “Il ritratto del S.or Vargas posto nell'opera ho fatto di comando suo; se non piacerà a V. M. C., ogm pittore con due pennellate lo potrà convertire in altro”: Lettera di Tiziano a Carlo V del 10 settembre 1554 // Tiziano e la corte di Spagna... P. 40.

⁶⁰ *Вазари Дж.* Жизнеописание... Т. V. С. 500.

⁶¹ Там же. С. 505.

⁶² Lettera di Tiziano a Carlo V del 10 settembre 1554 // Tiziano e la corte di Spagna... P. 40.

⁶³ *Cavalcaselle G.-B., Crowe J.-A.* Tiziano, la sua vita e i suoi tempi... Vol. II. P. 161.

⁶⁴ *Hope C.* La produzione pittorica di Tiziano per gli Ausburgo // Venezia e la Spagna. Milano, 1988. P. 63.

⁶⁵ *Ibid.* P. 72.

⁶⁶ “Io non so se il mio signore D. Giovanni Benevides sarà fatto altiero per il nuovo regno accresciuto alla grandezza del suo Re, che non voglia più riconoscere le lettere nè la pittura di Tiziano, già da lui amato” – письмо от 10 сентября 1554 г.: *Cavalcaselle G.-B., Crowe J.-A.* Op. cit. Vol. II. P. 194.

⁶⁷ Lettera del Principe di Spagna a Francisco de Vargas del 6 dicembre 1554 // Tiziano e la corte di Spagna... P. 42.

⁶⁸ *Смирнова И.А.* Тициан и венецианский портрет XVI в. ... С. 118. (Автор также принимает интерпретацию должности сенсерия Фондако дей Тедески как официального живописца Республики, с которой мы не можем полностью согласиться, так как данное толкование не находит подтверждения ни в одном итальянском источнике того времени).

⁶⁹ “Landerà parte che il ditto Tician de Cadore pictor sia per auctorita di questo Consiglio obligato et astretto ad restituir alla Signoria nostra tuti li danari che lha havuto della predetta sansaria per il tempo chel non ha lavorato sopra el teller predetto nella sala, come e ben ragionevole”: Monumenti per servire alla storia del Palazzo Ducale di Venezia, ovvero Serie di atti pubblici dal 1253 al 1797

che veramente lo riguardano tratti dai veneti archivi e coordinati da Giambattista Lorenzi. Parte I. Dal 1253 al 1600. Venezia, 1848. P. 219.

⁷⁰ “per soddisfazione personale”: Hope C. La produzione pittorica di Tiziano per gli Ausburgo... P. 63.

⁷¹ Pallucchini R. Tiziano... Vol. I. P. 160.

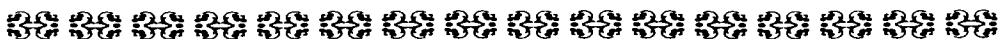
⁷² “...stando sicuro che la sua infinita dementia sia per mostrar di haver grata la servitù d’un suo servitor di età di novantacinque anni”: Lettera di Tiziano a Filippo II del 1 agosto 1571 // Tiziano e la corte di Spagna... P. 109.

⁷³ Pallucchini R. Profilo di Tiziano... P. 8.

⁷⁴ “...non so come trovar modo di vivere in questa ultima mia età, la quale io spendo tutta nel servizio di V. M. Cath. senza servir altri, non havendo mai da 18 anni in qua havuto pur un quatrino per pagamento delle pitture che di tempo in tempo le ho mandato...”: Lettera di Tiziano a Filippo II del 1 agosto 1571 // Tiziano e la corte di Spagna... P. 109.

⁷⁵ Вазари Дж. Жизнеописания... Т. V. С. 510.’





Y A-T-IL UNE PLACE POUR LA MÉDECINE “RÉFORMÉE” DANS LE PAYS DE LA CONTRE-RÉFORME? PARACELSE EN ITALIE

Roberto Poma

INTRODUCTION

Malgré la publication d'importants travaux sur Paracelse (Einsiedeln (Suisse), 1493 – Salzbourg, 1541) et sur la diffusion de sa vision révolutionnaire de la médecine à l'échelle européenne (cf. W. Pagel, A. Debus, G. Zanier, K. Goldhammer, etc.); les positions des intellectuels italiens de la fin du XVI^e à l'égard du “paracelsisme” demeurent en très grande partie inexplorées. Est-ce à dire qu'il n'y a pas eu de paracelsistes italiens à la fin de la Renaissance? Ou que leurs ouvrages sont dénoués d'intérêt philosophique ou médical, n'ajoutant somme toute que très peu d'éléments nouveaux à la médecine de Paracelse et de ses “disciples” allemands, danois et français? A l'état actuel de la recherche, il n'est pas aisé de répondre à ces questions de manière solide. A ce propos, bien des manuscrits sont encore à compulsier pour dresser un tableau clair et articulé des relations entre savants, institutions, idéologies et société. De plus, les contributions plus récentes de certains chercheurs ont montré que, s'il est vrai que l'on peut énumérer un certain nombre de savants s'affiliant à l'école paracelsienne, leur conformité aux doctrines du maître demeure pour le moins douteuse. Ce qui rend la tâche plus difficile. En effet, bien que la vie du médecin suisse soit universellement connue, en Italie son oeuvre n'est réellement accessible qu'à très peu de savants, avant la publication des *Sämtliche Werke* (Bâle, J. Huser, 1589–1591). Mais de quel Paracelse parlons-nous? L'étendue, la complexité et la richesse de contenus de son oeuvre sont telles que trois importantes traditions médicales y puisent librement en dégagant des théories et en proposant des pratiques souvent très divergentes.

Premièrement, la littérature des *secreta* et d'autres manuels pratiques de **médecine empirique** ne s'intéresseront qu'aux aspects techniques et pharmacologiques. Paracelse n'est pas vraiment lu et compris par cette catégorie d'auteur. Pour eux, Paracelse n'est qu'une *auctoritas* représentant la primauté des méthodes empiriques sur les élucubrations philosophiques. Cela est à l'origine de la légende, très répandue jusqu'au XXI^e siècle, d'un Paracelse exaltant la médecine populaire et les remèdes ancestraux des bonnes femmes. En réalité, le médecin suisse manifeste souvent pour les *secreta* un mépris comparable à celui qu'il montre pour la médecine scolastique (Fioravanti, Wecker).

Deuxièmement, la médecine chimique mettra en relief le principe de la correspondance entre macrocosme et microcosme et rassemblera, dans une vision systématique, pléthore de pensées cosmologiques et anthropologiques éparses dans l'œuvre du maître (cf. Severinus, Croll, Ruland, Burggravius).

Pour finir, un troisième courant intellectuel expurgera l'œuvre de Paracelse de sa composante opératoire et médicale pour placer l'auteur dans la Tradition ésotérique des grands Initiés (cf. Khunrath, Weigel, Boehme). Cette lecture hermético-alchimique est à l'origine, par exemple, des rapports légendaires entre sa philosophie et la naissance de la confrérie des "Rose + Croix". Elle réduit l'art spagirique (*solve et coagula!*) d'extraction de la quintessence à simple représentation mentale de processus spirituels (Cf. aussi l'interprétation de Carl Gustav Jung au XX^e siècle). Elle prône une conception aristocratique de la science, réservée à des individus exceptionnels, et exalte, à l'instar de la médecine chimique, l'importance de la tradition et du rapport initiatique.

Ces trois niveaux de lecture de l'œuvre de Paracelse sont à prendre en considération dans l'étude d'auteurs faisant l'éloge de Paracelse. Nous aliens le faire le long de notre communication en dégageant, dans un premier temps, une vue générale de la pénétration du "paracelsisme" en Italie, puis en nous penchant sur une figure particulièrement significative de cette histoire, celle de Tommaso Zefrielle Bovio.

Problèmes de la réception de Paracelse en Italie

Plusieurs facteurs sont à prendre en examen dans l'étude de la pénétration de l'œuvre de Paracelse en Italie. Nous allons en esquisser une liste non exhaustive.

- 1) Le caractère magmatique de la prose de Paracelse, son manque de cohérence logique et de tout esprit de système (dans la majorité des ouvrages) est de nature à déconcerter un esprit formé à la logique d'Aristote dominante dans les cursus universitaires de la seconde moitié du XVI^e. A la difficulté du style s'ajoute celle d'une langue aussi mobile que le *Frühneuhochdeutsch* et dont le lexique philosophique, hérité de la mystique rénaissancière du XIII^e siècle, présentait des difficultés de traduction considérables. D'ailleurs, les œuvres des premiers paracelsistes ne seront traduites en italien qu'à partir de 1619 (La *Pharmacopea restituta* de Quercetanus) alors que *Grande Chirurgie* avait été traduite en français en 1567, et qu'en Angleterre Hester publiait en 1575 la traduction de plusieurs ouvrages de Paracelse.
- 2) Ses relations, factices ou historiquement attestées, avec la réforme protestante, avaient contribué à alimenter la méfiance générale à l'égard d'un auteur qu'on l'appelait de son vivant "le Luther des médecins". La transmission de ses livres se fait donc très discrètement, d'autant plus que les traditionalistes auront tendance à faire l'amalgame entre coperniciens, alchimistes, circulatoniens, vacuistes et paracelsiens. Bref ils mettent dans le même panier tous ceux qui tentaient de saper les assises du savoir traditionnel.
- 3) Sa vie n'était

pas non plus un *exemplum* à imiter, comme celle d'autres médecins illustres du début de la Renaissance: Jean Fernel, Konrad Gesner, Giovanni Battista Montano, Gerolamo Fracastoro. Ses premiers adversaires avaient diabolisé son image d'homme et de savant.

L'opacité de ses liens avec la tradition alchimique et magique (Basile Valentin, Trithemius, Agrippa) et l'allure néoplatonisante de certains traités tendaient aussi à détourner l'attention de tous les médecins italiens qui s'étaient éloigné du savoir universitaire à cause de son caractère abstrait. De tels personnages cherchaient surtout de nouveaux remèdes, pour renouveler la médecine grâce à une reconsidération du statut de l'expérience, traditionnellement asservie aux élaborations théoriques. De ce fait, les alchimistes italiens sont anti-paracelsiens, car, bien avant Paracelse, ils avaient privilégié les aspects techniques de l'art au détriment de ses possibles implications mystiques et philosophiques.

À tous cela il faut ajouter le poids des traditions vernaculaires (l'aristotélisme naturaliste ou théologisé) ainsi que l'existence d'autres anciennes traditions "magiques" et "alchimiques" liées à l'art de la distillation. Pour ce qui concerne le début de la pénétration du paracelsisme en Italie, il faut rappeler que les milieux paracelsiens, à l'instar des *adepti* Moyen Âge qui avaient attribué des traités alchimiques à Platon, Démocrite, Aristote et Thomas d'Aquin, attribuaient à Paracelse beaucoup d'apocryphes, en créant plusieurs mythes: celui de ses précurseurs (Isaac Hollandus et Basile Valentin) et celui de la diffusion immédiate du paracelsisme en Europe.

***Le premier paracelsiste italien de renommée internationale:
Tommaso Zefiriele Bovio (1521–1609)***

Il faut tenir compte de tout cela lorsque l'on étudie les œuvres des médecins italiens qui remplacent l'autorité de Galien par celle de Paracelse. Bien qu'un auteur de *secreta* comme Leonardo Fioravanti soit le premier médecin italien passé publiquement au paracelsisme, je considère Tommaso Zefiriele Bovio comme le premier savant italien qui puisse vanter une connaissance directe de quelques ouvrages (37 en tout) de Paracelse. Ces ouvrages il les a très probablement lus et compris, si l'on pense que certains de ses contemporains lui adressaient régulièrement des questions sur tel ou tel aspect de médecine paracelsienne (cf. lettres de Fioravanti à Bovio, dans *Tesoro della vita umana*, Venezia 1675, 248).

Sa vie est une avalanche d'aventures. Après avoir voyagé pendant 27 ans dans plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne, il se consacre au métier des armes et participe, entre autres, à la guejre de Charles V contre la ligue de Smalcalde dans les rangs de l'armée pontificale. Sa profession de médecin et astrologue débute dans la ville de Gênes en 1566, où il gardait contact avec l'empirique de bolonais Leonardo Fioravanti. Quelques années plus tard il retourne

dans sa ville natale, Vérone, après la mort du frère Ludovic. Il s'installe dans un grand château du centre ville (Mel. 9–12). Pendant tout le reste de sa longue vie, 87 ou 88 ans, il polémique avec les médecins de Vérone au sujet de la place occupée par l'astrologie et la magie angélique dans la pratique médicale ainsi que des vertus morales et des capacités personnelles du médecin.

En 1583 Bovio public à Venise son *Flagello de' medici rationali*, un pamphlet destiné à ouvrir une violente discussion dans le monde médical vénitien. Il est agé de 62 ans. Onze ans auparavant, Bovio avait écrit au pape Grégoire XIII une longue supplique afin d'ajouter le Zefiriele à côté de Tommaso, persuadé par sa culture cabalistique que cela aurait attiré sur lui des influences célestes très bénéfiques (Melampigo, 1585: 8). La géniture astrologique était pour lui d'une importance remarquable. Il dépendait de celle-ci son caractère "nobile, affabile, amabile cortese, liberate et amorevole verso d'ognuno" (Flagello 1601: 4). Se contemporains le décrivent comme un homme autoritaire et violent, un étudiant de droit échoué qui de plus a la prévention de "fabricar nuovi canoni" dans une science qu'il ne connaît pas et dont il n'a pas les diplômes nécessaires. Il Flagello sembrava dare inizio solo ad una banale polemica relativa ad alcuni aspetti della tecnica medica. Solo in un secondo tempo in seguito alla levata di scudi del mondo accademico e come reazione all'isolamento in cui verrà a trovarsi, Bovio sarà costretto a ripercorrere in sense inverse il cammino, dalla prassi alla teoria, fino ad affrontare quello che avrebbe dovuto essere il nodo decisivo del suo pensiero, il rapporto tra medicina e astrologia.

Les oeuvres médicales de Bovio, outre le *Flagello*, comprennent le *Melampigo* (Vérone, 1585) et le *Fulmine contro de' medici putatitij rationali*, publié en 1592 à l'âge de 71 ans. Dans ces ouvrages, il n'hésite pas à vanter ses expériences dans le domaine des vils arts mécaniques ("meccaniche"), incompatibles avec sa prétendue noblesse, mais qui le distinguent de tous les médecins théoriques qui n'ont pas de véritables expériences (*Melampigo*: 12). D'ailleurs, s'il visile les malades en habits militaires et avec l'épée, et non pas avec les élégants vêtements rouges de ses collègues du collège des médecins de Vérone, c'est qu'il ne se considère pas véritablement comme un médecin. Il veut être tout simplement le *médecin des désespérés* ("medico de' disperati").

Gli insulti e il disprezzo riservati alla classe medica veronese sono tali e tanti da rendere persino monotona la lettura delle sue pagine polemiche. Gli unici medici che si salvano dalle sue invettive sono quelli "scientifici", i seguaci dell'amico veronese Annibale Raimondi, distinti in varie specializzazioni: geomanti, idromanti, aeromanti, piromanti, onomanti, chiromanti, fisionomi, metaposcopi o numerari. Gli altri, i nemici, che si definiscono "rationali" per non ammettere l'astrologia sono assimilati ad "alquanti vecchi rimbambiti", che esercitano "la loro barbarie nell'assassinare i poveri languidi et infermi con diete gagliarde e medicine deboli, scorticandogli la pelle, mangiandoli la carne..."

Ce sont des “medici da rapina”, qui n’ont d’autre but que l’argent et l’augmentation des honoraires. Ils prolongent le malade pour gagner davantage, et remplacent certains “simples” par des produits bien moins chers et moins efficaces.

Un collègue lui demande un jour: “qual è il fine del medico? Et io a lui: sanar gli infermi; et egli a me: messer no... guadagnare, si guadagnare, et se non vi pagano no vi tornate” (Fulmine. 7).

Cette violence verbale était provoquée par le plus complet isolement. Les ennemis le définissaient un auteur de “médecines gagliardi”, au lieu de “médecines à mulo”, assassin et charlatan (Ful. 4). Un adversaire, le Valdagno, l’accusait de “donner des médecines pour tuer les éléphants”. De plus, comment croire à la capacité d’un homme qui n’était pas docteur et qui avait fait seulement des études juridiques à Padoue et Ferrare sans la “philosophie”, matière propédeutique de la médecine? Les plus bienveillants parmi les adversaires l’exhortaient ironiquement à consacrer ses énergies à la poésie. La polémique de cet empirique allait à l’encontre d’un des milieux les plus fermés et hiérarchisés, le collège médical de Vérone. D’y entrer et faire partie n’était aucune possibilité. Bovio ne se préoccupait pas de la considération de ce groupe de médecins aristotéliques qui définissait “troupe stercoraria”, ignorants de Hippocrate, Mesue et Dioscoride, incapables de distinguer la chicorée de la laitue ou de fixer un corps céleste (Flagello 8). Pour un empirique qui fréquentait les lits des malades n’étaient pas secrets ce qu’il pouvait cacher aux concurrents (Fulmine. 23).

Entre l’empirie et la raison: la voie hermético-spagirique

CONCLUSION

Nous pouvons affirmer que dans la période de plus grande diffusion européenne de l’œuvre de Paracelse, les médecins italiens l’accueillent principalement comme un chimiste, un auteur de remèdes nouveaux et parfois étonnants, si on les compare à ceux de la tradition galénique, mais par nécessairement contraires à celle-ci.

La présence de textes et thèmes paracelsiens dans la culture italienne n’est pas un fait marginal. Ceci est prouvé par le fait qu’après sa première caractérisation de pharmacien et distillateur, les débats sur les pratiques iatrochimiques, dès la première moitié du XVII^e siècle, présenteront une figure bien plus complexe du point de vue philosophique. À l’état actuel de la recherche, il est difficile de parler d’élaborations originales de l’enseignement paracelsien. Néanmoins la diffusion des principes fondamentaux de la philosophie chimique ne cessera pas de grandir tout au long du XVII^e, à tel point que, dès les années 1650, la médecine paracelsienne s’intégrera harmonieusement à la médecine généralement enseignée dans les Universités en perdant peu à peu l’aura de mystère et d’irrationnel qui l’enveloppait au cours du siècle précédent. *L’Accademia dei Lincei* en fera l’étendard de la méthode expérimentale.

SOURCES

Bovio T.Z. Horifugia, siue Lusur. Venezia. G. Ziletti, 1567.

Idem. Dichiaratione a maggior intelligentia di ogn'vno. Descritta da Zefiriele alias Thomaso Bouio, per sua difesa, a confutatione dell'eccellente m. Annibale Raymondo Veronese, intorno all'aparitione della cometa... Verona. S. et G. Dalle Donne fratelli, 1578.

Idem. Flagello de' medici rationali. Venezia. Domenico Nicolini da Sabbio, 1583.

Idem. Melampigo ouero Confusione de' medici sofisti che s'intitolano rationali et del dottor Claudio Geli & suoi complici nuovi Passali & Achemoni. Di Zefiriele Thomaso Bouio nob. veronese nuouo Melampigo. Verona. Girolamo Discepoli e fratelli. 1585.

Idem. Fulmine contro de' medici putatii rationali. Verona. S. Dalle Donne e A. de' Rossi, 1592.

Idem. Melampigo ouero confusione de' medici sofisti, che s'intitolano rationali, et del dottor Claudio Geli, e suoi complici nuouoi Passalá e Achemoni: di Zefiriele Thomaso Bouoio nobile patricio veronese nuouo Melampigo. Di nuouo reuisto, corretto, e dal proprio autore ampliato. Verona. F. dalle Donne, 1595.

Idem. Copia di una lettera scritta a' nostro signore Papa Paulo Quinto. Di Zefiriele Tomaso Bovio Veronese. Verona. Piazza de' Signori, 1606.

Idem. Theatro dell 'Infinito. Laurenziana (Ashb. 340), Marciana (ms. Marc. It. IV, 57).

OUVRAGES CRITIQUES

Ingegno A. Il medico de disperati e abbandonati: Tommaso Zefiriele Bovio (1521–1609) tra Paracelso e l'alchimia nel Seicento // Cultura popolare e cultura dotta nel Seicento, Atti del convegno di studio di Genova (23–25 nov. 1982) / Rossi Paolo (éd.). Milano, 1983. P. 164–174.

Idem. Bovio Zefiriele Tommaso dans "Dizionario Biografico degli Italiani", XIII. Roma: Ist. Enc. Italiana, 1971. P. 565–566.

Dal Flume A. Un medico astrologo a Verona nel '500. Tommaso Zefiriele Bovio // Critica storica. 1983. I. P. 32–59.

Ferrari M. Alcune vie di diffusione in Italia di idee e di testi di Paracelso // Scienze, credenze occulte, livelli di cultura. Firenze; Olschki, 1982. P. 21–29.

Gadebusch Bondio M.C. Paracelsismus, Astrologie und ärztliches Ethos in den Streitschriften von Tommaso Bovio (1521–1609) // Medizin Historisches Journal. 2003. 38. P. 215–244.

Galluzzi P. Motivi paracelsiani nella Toscana di Cosimo II e di Don Antonio dei Medici: alchimia, medicina "chimica" e riforma del sapere // Scienze, credenze occulte, livelli di cultura. Firenze; Olschki, 1982. P. 31–62.

Palmer R. Physicians and the Inquisition in sixteenth-century Venice. The case of Girolamo Donzellini // Medicine and the Reformation / Grell O.P. Cunningham A. (éds). L.; N.Y., 1993. P. 118–133.

Perifano A. Considérations autour de la question du Paracelsisme en Italie au XVI^e siècle: les dédicaces d'Adam de Bodenstein au Doge de Venise et à Côme Ier de Medicis // Bibliothèque d'humanisme et renaissance. 2000. Vol. 62. N 1. P. 49–61.

Zanier G. La medicina paracelsiana in Italia: Aspetti di un'accoglienza particolare // Rivista di storia della filosofia. 1985. 40. P. 625–653. La contribution de Lynn Thorndike (V, 617–651) à la question du *paracelsian revival* à la fin de la Renaissance a été largement révisée et dépassée par les spécialistes contemporains.





“РЕФОРМИРОВАННАЯ” МЕДИЦИНА
В СТРАНЕ КОНТРЕФОРМАЦИИ?
ПАРАЦЕЛЬС В ИТАЛИИ

(резюме)

Роберто Пома

Парацельсианские тексты и темы не были маргинальным явлением в итальянской культуре. Это подтверждается тем, что за утверждением его авторитета в качестве фармацевта и дистиллятора последовали начиная с первой половины XVII в. дискуссии о ятрохимической практике, в ходе которых предстала фигура Парацельса гораздо более сложная и в философском плане. Распространение основных принципов химической философии продолжалось на протяжении всего XVII столетия. К середине века парацельсистская медицина гармонически включилась в преподавание медицины в университетах и постепенно утратила тот флёр таинственности и иррациональности, который характеризовал ее в предыдущем, XVI в. Не случайно Академия Рысьеглазых сделала ее знаменем экспериментальной науки.

О.С. Воскобойников



ФИШЕР И РЕЙХЛИН: СТАНОВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ГЕБРАИСТИКЕ В АНГЛИИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVI в.

Л.А. Кронштадтская-Карева

Начало XVI в. в Англии было ознаменовано интересом к древнееврейскому языку небольшой, но влиятельной части ученого сообщества, лидером которого был канцлер Кембриджского университета епископ Рочестерский Джон Фишер (1469–1535). Он был в числе первых в Англии, начавших изучать древнееврейский язык. Фишер, ученый с фундаментальной теологической подготовкой, ортодоксальный католик, обладающий добродетелями, воспетыми современниками, безусловно, был для многих образцом для подражания. Открытость Фишера новым интеллектуальным веяниям способствовала общению с современниками-гуманистами как английскими, так и европейскими. Он стоял у истоков возрождения проповеди после долгого периода упадка, вызванного гонениями на лоллардов. Джон Фишер занимал уникальное место в среде ученого духовенства, это связано с тем, что он являлся духовником леди Маргарет Бофор, матери короля Генриха VII, известной покровительницы учености. Став канцлером университета в 1504 г. (с 1514 г. был избран канцлером пожизненно), Фишер, пользуясь поддержкой леди Маргарет, активно занимался реформированием теологического образования. В результате этого сотрудничества Кембридж пережил так называемую “католическую реформацию”: были основаны два колледжа, внесены кардинальные изменения в систему образования, учебный план был обновлен в духе *studia humanitatis*. Древнееврейский язык стал академической дисциплиной в Англии в период правления Генриха VIII, и большую роль в этом сыграл Джон Фишер. Возникший в XV в. интерес к слову, критическое отношение к первоисточникам, их доступность, удачные примеры новых переводов сделали очевидным тот факт, что дальнейшее полноценное научное развитие невозможно без хорошего знания латыни, греческого и еврейского языков. Начало XVI в. – время, когда возросшая доступность еврейских текстов способствовала, помимо более глубокого изучения самых ранних текстов Писания, интересу к еврейским авторам и Каббале. Расцвет так называемой христианской каббалистики в Европе связан с именем итальянского гуманиста Джованни Пико делла Мирандолы (1463–1494), участника знаменитой платоновской Академии, созданной Марсилио Фичино. По мнению

Пико, Каббала несла в себе Божественное откровение и являлась “не столько религией Моисея, сколько христианской”¹. Слава Флорентийской Академии и ученость Пико привлекали многих современников. Так, крупнейший гебраист XVI в., немецкий гуманист Иоганн Рейхлин (1455–1522) во время своей второй поездки в Италию в 1490 г. благодаря знакомству и общению с Марсилио Фичино и Джованни Пико открыл для себя герметическую философию и Каббалу, стал серьезно заниматься древнееврейским языком. Уже через четыре года увидел свет его первый трактат “О чудодейственном слове” (*De verbo mirifico*, 1494), а в 1506 г. был издан трактат о древнееврейском языке “*De rudimenta linguae hebraicae*”, одна из первых грамматик, которая в большой степени основывалась на получившем распространение в Средние века филологическом трактате раввина Давида Кимхи, жившего на рубеже XII–XIII в.

Джон Фишер, как и Рейхлин, заинтересовался Каббалой, читая труды Пико. Возможно, Фишер был знаком с “Тептаплом” Пико, который имелся в библиотеке его учителя Уильяма Мелтона². На Фишера труды Пико произвели сильнейшее впечатление, и прежде всего, его “Речь о достоинстве человека”, выражающая намерение “упрочить католическую веру” при помощи древних еврейских мистерий и восхваляющая Каббалу³. Английский историк Ричард Рекс, один из крупнейших специалистов по истории английской церкви, автор монографии о Фишере, предполагает, что Каббала могла вызвать интерес у Фишера в связи с ренессансными спорами о переводе Септуагинты. Именно Джованни Пико делла Мирандола и Петр Галатин (1460–1540), другой ведущий европейский каббалист, поддерживали идею боговдохновенности этого перевода⁴. В период между 1515 и 1519 гг. Фишер стал сам изучать древнееврейский язык, он с большим вниманием штудировал трактат Иоганна Рейхлина, а учителем епископа стал его протеже Роберт Уэйкфилд, один из первых гебраистов в Англии.

Интересно было бы проследить, как протекало общение Джона Фишера и Иоганна Рейхлина. К сожалению, их переписка не сохранилась, однако известно, что часто их общение осуществлялось через посредничество Эразма Роттердамского. Поэтому наиболее информативным источником является переписка нидерландского гуманиста. В нашем распоряжении есть 18 писем Эразма и Фишера друг к другу и несколько писем Эразма и Рейхлина, которые содержат косвенную информацию относительно контактов немецкого и английского гуманистов.

По всей видимости, фигура Рейхлина привлекла внимание Фишера в связи со знаменитым “делом о еврейских книгах” в 1509 г., когда он выступил в защиту еврейских религиозных книг. В результате полемики с кёльнскими теологами, настаивавшими на уничтожении всех еврейских книг, Рейхлин издал в свою защиту несколько трактатов и два сборника писем гуманистов “Письма знаменитых людей” в 1514⁵ и “Письма *славнейших* людей” 1519⁶, поддерживающих его. В августе 1514 г.⁷ в своем письме Эразм сообщает Рейхлину, что среди его английских друзей-ученых, которые с восхищением относятся к

его таланту и кому не терпится увидеть его “Глазное зеркало” (Augenspiegel), первым является “епископ Рочестерский, человек исключительной моральной чистоты и самый превосходный теолог”⁸. В следующем послании Рейхлину Эразм дословно цитирует письмо Фишера (март 1515), который дает самую высокую оценку немецкому гуманисту и сравнивает его с Пико, говоря “я не думаю, что есть другой такой человек, кто бы более приблизился к Джованни Пико”. Он также просит Эразма прислать ему все книги Рейхлина, которые можно найти. Несмотря на столь высокую оценку, Фишер критически относится к сведениям, почерпнутым из “De Rudimentis Hebraicis”⁹ Рейхлина. Он просит Эразма узнать у Рейхлина его источник генеалогии Девы Марии¹⁰. В учебнике Рейхлина ее генеалогия велась от линии Соломона. Из источника, известного Фишеру, “Бревиария” Филона¹¹, следовало, что эта линия прервана.

В июне 1516 г. Фишер сообщает Эразму, что сам написал Рейхлину и получил длинное письмо от немецкого гуманиста. Он восхваляет его как человека, превзошедшего всех в знании “арсана” как в области теологии, так и философии. Вероятно, именно это письмо вошло во вторую книгу посланий (“Illustrium viroꝝ epistolæ”), полученных Рейхлином от современников, поддерживавших его в “деле о еврейских книгах”. Фишер обращается к Рейхлину – “образованнейший!” (“erruditissime!”) Из этого письма можно заключить, что переписка между двумя учеными велась достаточно активно: Фишер просит Рейхлина не утруждать себя частыми посланиями¹².

В 1517 г. Рейхлин отправляет Эразму две копии своей новой книги “De Arte Cabalistica” (1517). Одну из этих копий он просит передать Фишеру. Однако оценки этого сочинения Фишером не сохранилось¹³. Примечательно, что он довольно долго не мог получить эту книгу, поскольку Томас Мор, который должен был передать ее Фишеру, оставил ее Джону Колету – предводителю оксфордских гуманистов, который также был очень заинтересован в прочтении этой книги¹⁴. Эразм продолжал быть посредником между Фишером и Рейхлином, обещал оказать содействие в доставке их писем. В августе 1520 г. он сообщает все детали переезда Рейхлина в Ингольштадт¹⁵, а в 1522 г. о кончине немецкого гуманиста¹⁶, которого, как он пишет, он назвал святым в “Разговорах за просто” (1521)¹⁷.

Сложно со всей определенностью судить о целях, которые ставил перед собой Фишер, изучая древнееврейский язык и интересуясь Каббалой. Он с большим интересом относился к штудиям Рейхлина, но все же его увлечение каббалистикой было не столь глубоким. Однако это не было прохладное отношение Эразма, который лишь изучал еврейский язык для более глубокого и критического постижения текста Писания и с сомнением относился к более “тайным” (арсана) знаниям, которые столь сильно занимали Рейхлина¹⁸. Судя по письмам и сочинениям Фишера, можно предположить, что еврейский язык расширял его исследовательские возможности как ученого и теолога, кроме того, поскольку этот язык стал обязательным в учебном плане для будущих священников в тех колледжах, которым он покровительствовал, возможно, в

перспективе он имел в виду задачу обращения иудеев в христианство. Эразм отмечал, что интерес Фишера к греческому и еврейскому языкам был направлен не на продвижение языческой (secular) литературы, а на более глубокое понимание священного Писания¹⁹.

Изучение еврейского языка и знакомство с трудами гебраистов прослеживается в сочинениях самого Фишера, хотя и не слишком часто. Уже в 1521 г. в проповеди против Лютера Фишер, полемизируя с ним, утверждает, что для правильного понимания Библии недостаточно только лишь самого ее текста, необходимо также опираться и на другие авторитетные источники. Бог-отец наставлял наших предков через своих пророков – иудеев, духовных предков христиан. При этом Фишер замечает, что помимо пророчеств, записанных в Ветхом Завете, было еще много не менее важных и авторитетных, которые составляют Каббалу. Фишер определяет ее как переходящую изустно и не записанную. При этом автор ставит Каббалу в один ряд с устной традицией апостолов, которую также считает очень важной для повседневной жизни церкви²⁰.

Отвечая в своем труде “Защита священства” (1525) на трактат Лютера “О необходимости отменить частную мессу” (De abroganda missa privata) (1522), Фишер упоминает традиционное толкование пророчества о таинстве Евхаристии (преподнесение в дар Аврааму хлеба и вина царем Мелхиседеком, как его прототип). Епископ Рочестерский особо подчеркивает, что даже еврейские раввины утверждают, что это пророчество о будущем Мессии и, по его мнению, такое единомыслие иудеев и христиан должно развеять всякие сомнения: “И поскольку даже еврейские раввины утверждают это о Мелхиседеке и свидетельствуют, что их Мессия, когда он придет, сделает то же, какое же место может оставаться для сомнения”²¹. Для подтверждения своих слов Фишер приводит несколько выдержек из раввинистической экзегезы, почерпнутых в работе одного из самых авторитетных авторов Петра Галатина “De Arcanis Catholicae Fidei”, не ссылаясь при этом на источник²². “...И поскольку такое количество важных авторов латинских, греческих и еврейских соглашаются в этом ... кто еще может усомниться, что Христос и Мелхиседек предлагали жертву не под одним видом...”²³

В проповеди “На отречение еретиков” (1526) Фишер пытается объяснить этимологию слова манна (Mannu). Когда еврейскому народу была ниспослана манна с небес, они спросили: “Что это?” (man hu) (Исх. 15:16). И из этого вопроса манна взяла свое название²⁴.

Комментарий к 8-му псалму, сохранившийся в манускрипте, доказывает знакомство Фишера с работой Рейхлина “О чудодейственном слове” (1494). Фишер использует каббалистическую этимологию имени Иисус из этого труда²⁵.

Как уже говорилось выше, Джон Фишер не только сам изучал еврейский язык, но и способствовал его введению в учебный план колледжей, основанных им и Леди Маргарет Бофор в Кембридже. Это было частью программы по обновлению образования, конечной целью которой была реформа церкви. Реформа образования подразумевала улучшение теологической подготовки

будущих священников, хорошее знание ими Священного Писания, чтение его на языке оригинала и умение применить знания, в частности, при составлении проповедей. Для этого было необходимо обязательное изучение трех библейских языков. Эразм отмечал, что центром нового знания стали колледжи Фишера – Христа (1506), Святого Иоанна (1511) и Королевский. Так статуты колледжа Святого Иоанна (1516) предписывают его членам говорить в пределах колледжа только на трех языках: латинском, греческом и еврейском²⁶. Это положение сохраняется и в последующих изданиях статуты 1524 и 1530 гг., с добавлением еще двух языков: халдейского и арабского. А некоторым студентам предписывалось начать изучение еврейского и греческого языков как можно скорее²⁷.

Начало постоянного преподавания древнееврейского языка в университете связано с Робертом Уэйкфилдом. Он получил образование в Кембридже и Лувене. Сам он свидетельствует, что преподавал еврейский Реджинальду Полу (Pole) – папскому легату, архиепископу Кентерберийскому в период правления Марии Тюдор – и Ричарду Пейсу (Pase), дипломату, личному секретарю Генриха VIII, а упоминание им имен других учеников, дает некоторым исследователям основание предполагать существование семинара по изучению еврейского языка²⁸. Примерно в 1520 г. при содействии Фишера Уэйкфилд стал членом колледжа Святого Иоанна и получал стипендию за лекции по древнееврейскому языку. Фишер поддерживал дальнейшее совершенствование своего протеже в изучении восточных языков: за Уэйкфилдом сохранялась его стипендия, когда он уезжал за границу, чтобы продолжить обучение²⁹. Уэйкфилд много путешествовал и преподавал во Франции, Германии, Лувене, а в 1522 г. сменил Рейхлина в университете Тюбингена. Эразм писал Фишеру в сентябре 1522 г.: ”Твой Роберт преподает греческий и еврейский языки за довольно высокую плату”³⁰. В 1524 г. Уэйкфилд вернулся в Англию. В конце 20-х годов XVI в. Фишер и Уэйкфилд оказались по разные стороны баррикад в деле развода короля.

Издание “*Illustrium virorum epistolæ*” содержит письмо Ричарда Кроука, близкого друга Эразма, опубликованного в Лейпциге в 1516 г. две грамматики греческого языка. В 1518 г. Кроук стал преподавать греческий в Кембридже. В своем послании он просит Рейхлина рекомендовать его Фишеру и предлагает немецкому гуманисту посвятить “*De Arte Cabalistica*” Фишеру, так как это будет щедро вознаграждено³¹. И хотя это сочинение было посвящено папе Льву X, Рейхлин, как уже указывалось выше, направил экземпляр Фишеру. Этот факт, безусловно, свидетельствует о влиянии Фишера и о том, как ценились его поддержка и мнение. Понимание епископом важности трех библейских языков для правильного перевода Писания и хорошей теологической подготовки способствовало тому, что эти языки, включая еврейский, вошли в учебный план, а преподавать их приглашались лучшие ученые, ставленники Фишера.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Эстетика Ренессанса: Антология. М., 1981. Т. 1. С. 263; *Йейтс Ф.А.* Джордано Бруно и герметическая традиция. М., 2000.

² *Emden A.B.* A Biographical Register of the University of Cambridge to 1500. Cambridge, 1963. P. 400–401; *McConica J.K.* English Humanists and Reformation Politics under Henry VIII and Edward VI. Oxford, 1965.

³ Эстетика Ренессанса: Антология. Т. 1. С. 263.

⁴ *Rex R.* The Theology of John Fisher. Cambridge, 1991. P. 152.

⁵ *Clarorum virorum epistolae latinae, graecae & hebraicae variis temporibus missae ad Ioannem Reuchlin.* Tubingen, per Thomam Anshelmum Badensem, 1514.

⁶ *Illustrium virorum epistolae, hebraicae et graecae et latinae, ad Joannem Reuchlin... missae, quibus iam pridem additus est liber secundus nunquam antea editus. ex Orricina Thomae Anshelmi: Hagenaë, 1519.*

⁷ *Surtz E.* The works and days of John Fisher. Cambridge (Mass.), 1967. P. 140.

⁸ *Ibid.*

⁹ Pforzheim, 1506.

¹⁰ Эта генеалогия была иллюстрацией для объяснения еврейских букв и слогов.

¹¹ *Pseudo-Philo. Breviarium de temporibus.*, издан Аннием из Витербо (Jo. Annus Viterbiensis).

¹² *Doleo plurimum literas eas quas ad me dederas periisse. Ne graveris itaque precor, ad nos scribere iterato // Illustrium Virorum Epistolae, Hebraicae, Graecae et Latinae ad Iohannem Reuchlin Phorcensem.*, Tubingen, (1519?). Sig. S3r.

¹³ *Surtz E.* Op. cit. P. 143.

¹⁴ *Erasmus and Fisher: Their Correspondence / Ed. by J. Rouschause. P., 1968. P. 54.*

¹⁵ *Ibid.* P. 76.

¹⁶ *Ibid.* P. 80.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *English Works of John Fisher, bishop of Rochester (1469–1535): sermons and other writings, 1520–1535 / Ed. by C.A. Hatt. N.Y., 2002. P. 192.*

¹⁹ *Rex R.* The Theology of John Fisher. Cambridge, 1991. P. 25.

²⁰ Now almighty God the father taught them by his prophetes, whose prophecyes, all be it they be wrytten in scrypture, yet was there many moo thinges which they spook vnwrytten, that was of asgrete authoritye as that that was wrytten, which the mayster of lewes calleth Cabala, which is deriuyed fro man to man by mouthe onely and not by wrytyng... These blessyd apostles left into us also many thinges by mouthe, which is not written in the byble... many suche tradytyons were left vnto the christen people by Christ and his apostles the which we must folowe notwithstanding they be not wrytten in scripture (*Fisher J.* The sermon... made agayn the pernicious doctryn of Martin Luther // *English Works of John Fisher.* P. 88–89). Согласно Оксфордскому Словарю Английского Языка, Фишер был первым англоязычным автором, кто стал использовать слово Каббала.

²¹ *Fisher J.* The Defence of the Priesthood. L., 1935. P. 70.

²² *Ibid.* Rabbi Semuel, Rabbi Moses Hadarsan, Rabbi Pinhas, Rabbi Johai, Rabbi Kimhi, Rabbi Selemon.

²³ *Fisher J.* The Defence of the Priesthood. L., 1935. P. 70.

²⁴ *Fisher J.* A sermon... concernynge certayne heretickes // *English Works of John Fisher.* P. 151 (Ex. 16:15: “Quod cum vidissent filii Israhel dixerunt ad invicem Man hu? quod significat: quid est hoc?”).

²⁵ Об этом см.: *Surtz E.* Op. cit. P. 141.

²⁶ *Early Statutes.* P. 375.

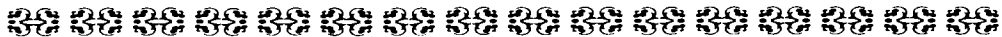
²⁷ *Ibid.* P. 373.

²⁸ *Rex R.* Op. cit. P. 58.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Erasmus and Fisher...* P. 81.

³¹ *Illustrium virorum epistolae...* S. v2r; *Surtz E.* Op. cit. P. 470. N 27; *Rex R.* Op. cit. P. 57.



ИТАЛИЯ В СОБЫТИЯХ И ИДЕЯХ РЕФОРМАЦИИ И СЕВЕРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

В.В. Иванов

События, происходившие в Италии в конце XV – первой половине XVI в., оказали существенное влияние на реформационное и гуманистическое движение в Германии и Швейцарии – двух главных центрах европейской Реформации и заальпийского гуманизма. Внешняя сторона этого процесса часто не учитывается, особенно исследователями Реформации: нельзя забывать, что последняя началась на фоне общеевропейского политического катаклизма, Итальянских войн, которые на десятилетия в значительной степени определили международные отношения в Европе, что нередко имело прямые последствия для Реформации, а косвенно повлияло на трактовку немецкими и швейцарскими реформаторами (многие из которых одновременно были и гуманистами) вопроса о национальной и религиозно-политической самоидентификации, поскольку Итальянские войны предоставили им благоприятный повод сформулировать свое отношение к этой проблеме.

Внешнее воздействие конфликтов в Италии проявилось, например, в том, что вовлеченность папы и императора в итальянские дела оказалась одной из причин, помешавших им вовремя и более жестко отреагировать на первые реформационные выступления М. Лютера. Спустя несколько лет Габсбурги, занятые войной, не сразу обратили внимание на преобразования, проводимые под руководством Б. Губмайера в г. Вальдсгуте, ставшем в результате важным центром радикальной реформации и анабаптизма.

В 1519 г. капитул Цюрихского собора избрал на освободившееся место священника Ульриха Цвингли во многом из-за того, что тот уже пользовался широкой известностью как противник наемной службы швейцарцев у французских королей, в том числе и в Итальянских войнах. Цюрих традиционно был центром вербовки наемников для папы, и антифранцузская позиция Цвингли способствовала тому, что он оказался одним из самых высокооплачиваемых папских пенсионеров в Швейцарии (папа Лев X, конечно, не предполагал, что именно Цвингли впоследствии станет здесь инициатором Реформации!). Но одновременно у Цвингли формировалось негативное отношение к системе наемничества в целом, стимулированное поражением швейцарских отрядов, нанятых императором, которое они потерпели от французского короля Франциска I в битве при Мариньяно еще в 1515 г. Сам Цвингли в качестве полкового священника участвовал в этой битве, а чуть

раньше, в 1513 г., – в битве при Новаре. Таким образом, об Итальянских войнах он знал не понаслышке. Вообще же, ущемленное национальное самодлюбие, нарастающее в швейцарском обществе осуждение участия наемников в боевых действиях за “деньги чужих господ”, вне Швейцарии (в контексте того времени – прежде всего в Итальянских войнах на любой стороне) стали той питательной средой, в которой и возникла цвинглианская реформация. Однако предпосылками для нее, как ни парадоксально, послужили также победы, одержанные швейцарцами на начальном этапе войн (до Мариньяно), снискавшие им славу лучших солдат Европы, и в целом Итальянские войны, увеличившие потребность в наемниках, что сделало Швейцарию субъектом большой европейской политики – это способствовало развитию национального самосознания и успеху патриотических проповедей Цвингли. Так, в одном из своих ранних произведений, восхваляющем изгнание швейцарцами французов из Милана, Цвингли сравнивает благодарность итальянцев за это деяние с благодарностью древних греков римлянам за освобождение от ига Македонии. Здесь же, между прочим, презрительно оцениваются немецкие ландскнехты, выступавшие на стороне французов – “жалкое подобие” швейцарской пехоты, которая была дана ландскнехтам Богом в качестве врага для “постоянного обучения” военному искусству¹.

Кроме того, немецкие княжества и самоуправляющиеся города (равно как и швейцарские кантоны), где утвердился протестантизм, вынуждены были искать союзников для борьбы с католическими противниками, а это не в последнюю очередь зависело от общеевропейской политической ситуации и во многом также от положения в Италии и вокруг нее².

Одновременно реформаторы и северные гуманисты (разных направлений) нередко использовали итальянские события в антипапской пропаганде. Балтазар Губмайер, видный анабаптист и ученик известного гуманиста Й. Экка, писал, иронизируя по поводу недопустимого вмешательства высшего католического клира в светские дела: “Даже если два петуха во Франции или Италии клевали друг друга на навозе, то папа и кардинал принимали сторону одного из них”³. У. Цвингли (первоначально эразмианец) прямо возлагал на папство ответственность за развязывание войны: “Кто не видел в наше время, что папа явился причиной продолжительных войн во Франции и Италии? То он не может терпеть императора, то не может терпеть (французского) короля и, однако, совершает такое всегда именем Христа и мира”⁴. Ортодоксальный лютеровец Иоганн Бренц углублялся дальше в историю и считал пап главными виновниками столкновений, возникавших в связи с итальянской политикой еще прежних германских государей: “...Папа Александр предал императора Фридриха так, что тот попал во власть (турецкого) султана. Папа Григорий подстрекал против замечательного императора Фридриха Второго его собственного сына, короля Генриха, дабы поднять большой мятеж против императора в городах вельшской земли”⁵ (в данном случае речь идет о Ломбардии. – В.И.).

Итальянские войны вообще предоставляли богатный материал для морализаторства, в том числе обличения светских и духовных владык, пренебрегающих своим долгом, забывших о благе подданных и погрязших в различных злоупотреблениях. У. Цвингли отмечал: “В последние несколько лет князья, (французский) король и император истратили такие значительные суммы в войнах друг с другом, что сами не могут их назвать. Но стоит их бедному народу пожелать, чтобы ему оставили хотя бы сотую часть этих средств, как они приходят в бешенство”⁶.

В противовес создавался идеализированный образ “христианского воина”, ведущего войну не из корысти, а за “справедливость” или “истинную веру”. “И справедливо применяющие меч, и в смиреннии сражающиеся этим тоже служат Богу и послушны Его слову”, – утверждал М. Лютер в сочинении “Могут ли воины обрести Царство Небесное”⁷. У. Цвингли, посвятив специальную работу⁸ военным вопросам – стратегии, тактике, вооружению войск, – первостепенное внимание уделяет все же “идейному облику” командиров и солдат. “Богобоязненность” командира, наличие в отряде “смелых христианских проповедников”, заботящихся о том, чтобы “дело Бога” всегда выдвигалось на первое место, является более важным, чем собственно боевые качества и воинское искусство⁹. В реальности это обернулось возникновением первых в истории Европы военно-политических блоков на конфессиональной основе (типа Шмалькальденского союза), что, впрочем, ничуть не мешало сторонникам Реформации при необходимости искать союза с идейными оппонентами (например, с католической Францией) и играть на противоречиях между различными участниками глобальной европейской политики (в той ситуации – опять же прежде всего Итальянских войн). С другой стороны, это приводило и к военным авантюрам, когда стремление к распространению “евангельской истины” превалировало над практическими соображениями и игнорировало реальный расклад сил (“Вторая Каппельская война” реформационного Цюриха против католических кантонов, которая закончилась его поражением и гибелью У. Цвингли).

Пожалуй, наиболее символическим моментом проявления “идеологического начала” в Итальянских войнах стал знаменитый разгром и грабеж Рима, учиненный немецкими ландскнехтами в 1527 г. Уже современники обратили внимание на то, что наемники, набранные преимущественно в протестантских княжествах Германии, помимо чисто меркантильных мотивов (невыплата жалованья), были движимы и ненавистью к “блуднице вавилонской”, центру папского католицизма¹⁰.

Следует заметить при этом, что сами основоположники протестантизма обычно разграничивали папство, римско-католическую церковь, выступающую в качестве универсальной наднациональной силы, и страну Италию как таковую. Последняя воспринималась, скорее, как главная жертва церковного произвола, призванная служить предостережением для других стран; однако, сочувствуя Италии, реформаторы и в этом случае ссылались на нее в собст-

венных агитационных целях. М. Лютер в памфлете “К христианскому дворянству немецкой нации” писал: “Итальянские земли превратились едва ли не в пустыню: монастыри разрушены, епископства растранижены, доходы прелатур и всех церквей растаскиваются Римом, города пришли в упадок, страна и люди – на грани погибели, богослужение и проповедь – в полном забвении. Почему? (Потому что) должны обогащаться кардиналы. Никакие турки не смогли бы так истощить Италию и расстроить богослужение. И вот, обескровив Италию, они появились в Германии и принялись за дело очень осмотрительно; но мы видим, как быстро немецкие земли уподобляются итальянским. (...) И хотя они еще не решаются привести в расстройство все, как у итальянцев, но уже прибегают к воистину “святой расторопности”¹¹. Мартин Буцер, призывая принять “иго Христа”, которое является “нежным и легким” (Мф. 11, 30), применял и такой контраргумент: “Ведь что за иго несут ныне итальянцы, кто за это пообещает вечный покой их душам”¹².

В этом реформаторы близки к позиции выдающихся итальянских гуманистов (Н. Макиавелли, Ф. Гвиччардини), рассматривавших засилье папства в Италии как национальную трагедию, однако их усилия были направлены прежде всего на то, чтобы побудить немцев не повторять итальянские ошибки и доказать, что именно Германия сможет стать первой страной, которая освободится от римского ига – важно лишь не упустить благоприятный момент. Лютер заявлял: “Мне кажется, что немецкая земля еще никогда так много не слышала о слове Божьем, как сейчас. Ничего подобного еще не было в истории. И если мы упустим этот момент без благодарности и должного почтения, то нас ожидают беспросветный мрак и тяжкие муки”¹³. Мысль о том, что возникла уникальная ситуация, когда впервые “со времен апостолов” появилась возможность открыть Божественную истину, “чисто и ясно проповедовать слово Божье” повторялась (в различных вариациях и у разных деятелей Реформации) неоднократно, став идеологическим и пропагандистским клише. По мнению Лютера, многие народы, в том числе и итальянцы, уже бездарно упустили свой шанс, а немцы обязаны его использовать: “Ведь вы должны знать, что слово и милость Божьи – это внезапно налетевший ливень, который не возвращается туда, где он однажды низвергся. Однажды разверзлись хляби небесные в Иудее, но – ищи-свищи, сейчас у евреев нет ничего. Апостол Павел принес ливень в Грецию, но тоже – ищи-свищи, сейчас там турки. Он также хлынул в Риме и в стране латинян, но – ищи-свищи, у них сейчас папа. И нам, немцам, не стоит думать, что он будет лить у нас вечно, потому что неблагодарность и пренебрежение не удержат его. Поэтому хватайте и держите, кто может хватать и держать; у ленивых рук и год злой”¹⁴. Эти рассуждения своеобразно перекликаются с идеей немецких гуманистов (начиная с Конрада Цельтиса), о “переселении Аполлона и муз” из Италии в земли германцев, подобно тому, как некогда произошло *translatio Imperii*, перенесение Империи из Рима в Германию¹⁵. Исходный пункт, в сущности, одинаков: немцы должны свершить то, на что уже не способны итальянцы.

Отсюда же подспудно возникала (наряду с сочувственным отношением к Италии) и другая тенденция – противопоставление себя, немцев (германцев), романцам (“вельшам”), чему способствовало также численное преобладание среди папских посланцев в Германии этнических итальянцев. Лютер, характеризуя политику римской курии в Германии, неизменно возмущается тем, что папские эмиссары считают немцев “глупцами”, “непроходимыми дураками” и осмеливаются вести себя гораздо хуже, чем в других странах. Стремление опровергнуть подобную репутацию и жажда национального самоутверждения стали важными стимулами деятельности реформаторов и заальпийских гуманистов. Предполагалось, что свойственный немцам здравый смысл и искреннее, а не показное, благочестие способны противостоять итальянскому лицемерию и склонности к мошенничеству. Известный публицист Ганс Кирхгоф описывает случай, когда несколько немцев были обмануты католическим священником, всучившим им фальшивую реликвию. Однако вскоре обман раскрылся, и Кирхгоф делает нравоучительное заключение: “Вот какова была в старину вельшская слава, что они так издевались над немцами, как над неотесанными, неразумными людьми, называя (последних) *porco tedesco*, немецкими свиньями. Но ныне, благодаря Божьей милости, видят их жульничество”¹⁶.

Даже у Цвингли, горячего патриота Швейцарии, подчеркивавшего, что в культурно-историческом отношении швейцарцы не могут быть причислены к немцам, встречаются неожиданные формулировки, когда он выступает против римской церкви: “Что за печаль нам, *немцам*, как называют вельшские мертвые свистуны святые знаки, данные нам Богом”; “А мы, *безумные немцы*, должны терпеть то, что нам присылают от папского двора конюхов и погонщиков ослов” и т.п.¹⁷ (курсив мой. – В.И.).

Возникающий антагонизм привносил своеобразные акценты и в трактовку Итальянских войн. Популярный автор памфлетов Иоганн Эберлин фон Гюнцбург, обращаясь к императору Карлу V с призывом защитить Германию от церковных злоупотреблений (первоначально многие надеялись, что Карл встанет на сторону Реформации), сулит за это полную поддержку имперской политики в Италии: “Тогда сильные немцы воспрянут и вместе с тобой выступят против Рима и подчинят тебе всю Италию”¹⁸.

Таким образом, иноэтничное (“вельшское”) присутствие способствовало процессу национальной самоидентификации немцев (отчасти и швейцарцев). В конечном счете оно определило их противоречивое восприятие всего “итальянского” (“влияние” – “отторжение”). При этом реальная страна Италия, которой следовало сочувствовать как жертве папского произвола, под пером публицистов постепенно становилась абстрактным пропагандистским аргументом и тем самым отделялась от эмпирических итальянцев, которые вызывали все большее неприятие не только как адепты Рима, но и как носители чуждого духа в целом.

До сих пор речь шла в основном о трактовке в Германии и Швейцарии итальянских событий и реалий, но возникшие в Италии идеи также весьма

неоднозначно воздействовали на реформаторов и заальпийских гуманистов. Не вдаваясь в подробности, отмечу лишь некоторые существенные моменты.

Неудивительно, что в первую очередь заимствовалась критика итальянцами теории и практики католической церкви. М. Буцер в антипапской полемике ссылается на деятельность Савонаролы и “Декамерон” Дж. Боккаччо¹⁹. Важным источником для М. Лютера и У. Цвингли (и не только их одних) послужило разоблачение Лоренцо Валлой пресловутого “Константинова дара”, а политическая концепция Цвингли сложилась, вероятно, не без влияния знаменитого “Защитника мира” – сочинения Марсилиа Падуанского, впервые обосновавшего равноправие светской и духовной властей²⁰.

Однако отношение к собственно ренессансным идеям оказывалось более сложным; оно зависело как от изначальной мировоззренческой позиции конкретного мыслителя, так и от эволюции его взглядов и общественной ситуации в целом. Представители умеренной реформации и церковно-консервативного направления заальпийского гуманизма (даже те, кто сформировался под воздействием эразмианства) восприняли прежде всего внешнюю сторону гуманистических штудий итальянцев.

Например, пометки Цвингли на полях произведений Пико делла Мирандола показывают, что он использовал сочинения великого флорентийца главным образом как источник для изучения изложенных там взглядов “отцов церкви”, средневековых схоластов и цитат из античных авторов. Суть же учения самого Пико осталась Цвингли чужда²¹. Правда, он отчасти принял во внимание воззрения Пико на человека как на “небесное животное” (*animal caeleste*), изложенные в “Речи о достоинстве человека”. Однако, в отличие от Пико, считавшего, что человек может достичь нравственного совершенства путем собственных усилий, Цвингли делал основной акцент на греховной сущности людей (“животное небесное и земное – *animal caeleste et terrestre*)²², получающих спасение только от Бога, что вполне соответствовало основным принципам реформационной антропологии.

В доктрине раннего Буцера удельный вес гуманистического компонента был значительнее. Страсбургский реформатор верил, что Дух Божий объявился и до христианства – в Гомере, Гесиоде и Платоне, а затем воплотился в Христе, который стал для Буцера универсальным откровением, персонификацией всего Божественного в человеческой истории²³. Элементы универсального теизма первоначально сближали Буцера с флорентийским неоплатонизмом. Однако постепенно его учение приобретало все более “протестантский” облик и утратило принципиальные отличия от взглядов остальных лидеров конфессиональной реформации.

Пример Вадиана (Иоахима фон Ватта) еще более показателен: раннюю фазу его духовного развития можно считать совершенно гуманистической. Он был одним из преемников своего выдающегося учителя Конрада Цельтиса, в “Коллегии поэтов и математиков” (впоследствии ставшей частью

Венского университета), созданной Цельтисом по образцу итальянских университетов и Платоновской Академии во Флоренции. Будучи какое-то время ректором Венского университета, Вадан фактически оказался главой одного из важнейших центров гуманизма в Империи и одновременно совершил несколько поездок в гуманистические центры Италии. Он высоко ценил сочинения Пико делла Мирандола (“мой Пико, чтением которого я столь наслаждался”²⁴), заимствовал ряд его идей. Однако все это не воспрепятствовало достаточно быстрому превращению Вадана из “чистого” гуманиста, естествоиспытателя, поэта в видного теолога, крупного политического деятеля (который руководил реформацией в родном Санкт-Галлене и девять раз избирался его бургомистром), борца против анабаптизма и активного участника религиозных конфликтов²⁵.

По-иному осваивали итальянское наследие некоторые деятели радикальной реформации: например, мистик-анабаптист Ганс Денк, принадлежавший к немногочисленной группе интеллектуалов в анабаптистском движении. Его учение содержит черты сходства с флорентийским неоплатонизмом, в первую очередь – с “Диалогами о любви” Леона Эбрео. Как и Эбрео, Денк считает любовь связующей силой мироздания, благодаря которой человек соединяется с Богом. Денк – принципиальный сторонник свободы человеческой воли и религиозного универсализма, противник всякого догматизма, препятствующего свободному поиску истины²⁶; его доктрина является одним из образцов плодотворного синтеза идей итальянского Возрождения и неинституциональной немецкой реформации. Помимо этого, еще некоторая часть анабаптистов испытала итальянское влияние через северных гуманистов, прежде всего Эразма²⁷. Другое дело, что Денк и его единомышленники составляли меньшинство в реформационном движении и не определяли господствовавших там настроений. Объяснимо также, что из всех течений итальянского Ренессанса самым важным для реформаторов (независимо от того, к какому лагерю они принадлежали) оказался флорентийский неоплатонизм – наиболее созвучный платонической традиции в их программах религиозного обновления.

Своеобразное и противоречивое восприятие Италии можно обнаружить у Якоба Вимпфелинга – виднейшего представителя религиозно-консервативного направления немецкого гуманизма. В 1505 г. в “Наброске германских дел” (“*Epitome rerum Germanicarum*”) Вимпфелинг, давая общий анализ культурного развития германцев, во многом опирается на филологические изыскания, в том числе на сочинения итальянских гуманистов – Энея Сильвия Пикколомини (папа Пий II), Марсилио Фичино и др. С другой стороны, по его мнению, именно германцы принесли Европе уникальные культурные достижения: так, книгопечатание возникло в Страсбурге и Майнце и лишь затем было перенято в Италии; ни одно строение в мире не сравнится со Страсбургским собором по симметрии и разнообразию скульптурных деталей²⁸. Еще раньше, в знаменитом сочинении “Германия”, он утверждал,

что германцы напрямую наследуют традиции Римской империи, без всякого промежуточного галльского или французского посредничества²⁹.

Мне представляется, что рассуждения Вимпфелинга могут служить яркой иллюстрацией своеобразной диалектики “вливания–отторжения”, характерной для восприятия “итальянского” деятелями немецко-швейцарской реформации и гуманизма (в данном случае в стороне, конечно, остается сфера изобразительного искусства, требующая специального рассмотрения). При этом на первый план все больше выступала отрицательная составляющая, что обуславливалось религиозными и социально-политическими реалиями Германии и Швейцарии, в том числе процессами формирования национального самосознания.

В заключение – один малоизвестный факт из жизни Цвингли. В начале 1515 г. у него появилась возможность уединиться на вилле около Падуи для отдыха и гуманистических штудий и тем самым, возможно, реализовать гуманистический идеал “ученого отшельничества”, “созерцательной жизни” (“*vita contemplativa*”). Коллега, предложивший ему это, обещал предоставить виллу на два года, “если времена останутся спокойными”³⁰. Но времена спокойными не остались. Осенью того же года произошла упомянутая выше битва при Мариньяно, и суровая действительность навсегда похоронила надежду отдохнуть на итальянской вилле. В этом эпизоде символически сфокусировалась та участь, которая была уготована Италии в судьбе многих реформаторов и северных гуманистов. В иных условиях им пришлось давать другие ответы на поставленные там вопросы.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Huldreich Zwinglis Sämtliche Werke. Berlin, 1905. Bd. 1. S. 23–27; *Stayer J.* Zwingli before Zürich: Humanist Reformer and Papal Partisan // Archiv für Reformationsgeschichte. Jg. 72. 1981. P. 58–59.

² См.: *Ивонин Ю.Е.* У истоков европейской дипломатии Нового времени. Минск, 1984; *он же.* Императоры, короли, министры. Политические портреты XVI в. Днепропетровск, 1994; *Ивонин Ю.Е., Ивонина Л.И.* Властители судеб Европы: императоры, короли, министры XVI–XVIII вв. Смоленск, 2004; *Ивонин Ю.Е.* Универсализм и территориализм. Старая империя и территориальные государства Германии в раннее новое время 1495–1806. Том 1. Старая империя и территориальные государства Германии в международных отношениях раннего нового времени. Очерки. М., 2004.

³ *Hubmaier B.* Schriften. Gütersloh, 1962. S. 452.

⁴ Huldreich Zwinglis Sämtliche Werke. Leipzig. 1908. Bd. 2. S. 307–308.

⁵ *Brenz J.* Frühschriften. Teil. I. Tübingen, 1970. S. 42.

⁶ Huldreich Zwinglis Sämtliche Werke. Bd. 2. S. 340.

⁷ *Лютер Мартин.* Время молчания прошло. Избранные произведения 1520–1526 гг. / Пер. с нем., ист. очерк, комментарии Ю.А. Голубкина. Харьков, 1992. С. 188.

⁸ *Zwingli H.* Ratschlag zu einem Feldzug // Zwingli H. Hauptschriften. Bd. 7. Zürich, 1942. S. 231–260.

⁹ *Ibid.* S. 255–257.

¹⁰ Сказкин С.Д. Из истории социально-политической и духовной жизни Западной Европы в средние века. Материалы научного наследия. М., 1981. С. 167; Ивонин Ю.Е. У истоков... С. 54.

¹¹ Лютер Мартин. Избранные произведения. СПб., 1994. С. 67.

¹² Bucer M. Deutsche Schriften. Bd. 2. Gütersloh; Paris, 1962. S. 293.

¹³ Лютер Мартин. Избранные произведения. С. 168.

¹⁴ Там же.

¹⁵ См.: Цельтис Конрад. К Аполлону, изобретателю искусства поэзии, чтобы он с лирой пришел от италийцев к германцам // Цельтис Конрад. Стихотворения. М., 1993. С. 116; Немиллов А.Н. Немецкие гуманисты XV в. Л., 1979. С. 134.

¹⁶ Kaiser, Gott and Bauer. Reformation und Deutscher Bauernkrieg im Spiegel der Literatur. Berlin, 1983. S. 261–261.

¹⁷ Huldreich Zwingli Sämtliche Werke. Bd. 2. S. 149; Nd. 1. S. 517; См. также: Kobelt E. Die Bedeutung der Eidgenossenschaft für Huldrych Zwingli. Zürich, 1970. S. 30–34.

¹⁸ Buch der Reformation. Zeitgenössische Zeugnisse. Berlin, 1989. S. 241.

¹⁹ Bucer M. Deutsche Schriften. Bd. 1. Gütersloh; Paris, 1960. S. 434, 461.

²⁰ Köhler W. Die Geisteswelt Ulrich Zwingli. Christentum und Antike. Gotha, 1920. S. 133; Walton R. Zwingli's Theocracy. Toronto, 1967. P. 19–22.

²¹ Backus I. Randbemerkungen Zwingli in den Werken von Giovanni Pico della Mirandola // Zwingliana. 1990. Bd. XVIII. B. 1; 1991. Bd. XVIII. B. 2. Hft. 4–5. S. 289–309.

²² Huldreich Zwingli Sämtliche Werke. Bd. 6. Teil. 3. Zürich, 1983. S. 116. Anm. 3.

²³ Chrisman M. Strasbourg and the Reform. New Haven and London, 1967. P. 87.

²⁴ Locher G.W. Die zwinglische Reformation im Rahmen der europäischen Kirchengeschichte. Göttingen–Zürich, 1979. S. 48–50.

²⁵ Rüschi E.G. Vadians reformatorisches Bekenntnis // Zwingliana. 1986/1. Bd. XVII. Hf. 1, S. 33–47; Bonorand C. Vadians Weg vom Humanismus zur Reformation und seine Vorträge über die Apostelgeschichte. St. Gallen, 1962.

²⁶ Denck H. Schriften. Teil 2. Religiöse Schriften. Gütersloh, 1956; Melzer W. Points of Contact between Anabaptist Thought and Neoplatonic Philosophy in Hans Denck's "Von der wahren Liebe" // Der deutsche Bauernkrieg und Thomas Müntzer. Leipzig, 1976. S. 157–166.

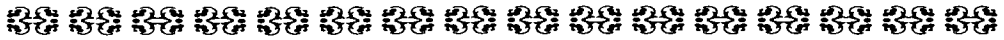
²⁷ О значении гуманистических, в том числе эразмианских, идей для анабаптизма см.: Muralt L. Glaube und Lehre der schweizerischen Wiedertäufer in der Reformationszeit. Zürich, 1938. S. 6–7; Lohse B. Die Stellung der "Schwärmer" und Täufer in der Reformationsgeschichte // Archiv für Reformationsgeschichte. Jg 60. 1969, S. 16–17; Goertz H.-J. Die Täufer. Die Täufer. Geschichte und Deutung. 2. Aufl. München, 1988. S. 71–75.

²⁸ Buch der Reformation... S. 33–34; Wimpfeling J. Opera selecta. München, 1965.

²⁹ Germania // Wimpfeling and Murner im Kampf um die ältere Geschichte des Elsass: Ein Beitrag zur Charakteristik des deutschen Frühhumanismus. Heidelberg, 1926; Brady Th. The Themes of Social Structure, Social Conflict and Civic Harmony in Jakob Wimpfeling's "Germania" // Sixteenth Century Journal. 1972. N III (2). P. 65–76.

³⁰ Stayer J. Op. cit. P. 59.





НЕМЕЦКИЕ SODALITAS КОНЦА XV – НАЧАЛА XVI в.

А.В. Доронин

Ученый, писатель, художник эпохи Возрождения, граждане надмирной “республики ученых”, не знающей границ языковых и политических, идентифицировали себя в качестве носителей новой, ренессансной культуры, обращенной к античности. В XIV–XV вв. этот эстетический посыл нашел отклик не только в итальянских землях, но также (на исходе XV в.) севернее Альп. Объединенные общей идеей культивирования дохристианских и раннехристианских образцов риторики и философии, литературы, древних языков, в первую очередь латыни, благодарные ученики и последователи Петрарки основали по прообразу античных свои Академии. Их целью было изучение творческого наследия Платона и мыслителей эллинистического периода, собрание римских древностей и памятников “отечественной” культуры. Гуманисты объединялись в Содружества (Sodalitas). Упоминания о таковых мы находим на рубеже XV–XVI вв. и в немецких землях – в Гейдельберге, Вене, Аугсбурге, Базеле, Нюрнберге, Готе/Эрфурте, Регенсбурге, Ингольштадте, Шлеттштадте (Эльзас) и др.

Рассказать о Содружествах немецких гуманистов и является задачей данной статьи. Хотя написано на эту тему, особенно в самой Германии, достаточно много¹ (разумеется, количество посвященных немецким Sodalitas публикаций не идет ни в какое сравнение с объемом литературы об итальянских ренессансных Академиях), а новых источников за последние десятилетия в этой связи сколь-нибудь существенно не прибавилось, вопросов и дискуссий вокруг Содружеств не стало меньше. Противопоставляя немецкие Sodalitas знаменитым итальянским Академиям XV в. (а первые изначально проникнуты духом патриотизма и нарастающего соперничества с итальянцами, в меньшей степени ориентированы на возрождение письменной культуры и ритуалов античности, в большей – на утверждение ее трансляции в немецкие земли), исследователи все еще ведут спор о том, насколько институциональный характер они имели, не являлись ли эфемерным плодом поэтического воображения Конрада Цельтиса? Какие задачи ставили перед собой и как их реализовывали? Каковы были формы их саморепрезентации? Насколько они были эффективны? Как соотносились в программах Sodalitas актуальные для них универсальный, нарождающийся национальный и региональный императивы? Насколько преобладал в их целеустановках антикварный компонент? В какой мере они были заняты собственно античностью? Как эволюционировали?

Никоим образом не рассчитывая здесь прояснить все еще стоящие на повестке дня вопросы, да и хоть сколько-нибудь полно проанализировать основной источник касательно *Sodalitas*, а именно переписку гуманистов, увы, не располагая возможностью основательно проштудировать имеющуюся на этот счет литературу, я хотел бы в первую очередь коротко рассказать здесь о становлении немецких гуманистических *Sodalitas*, а их обычно связывают с именем Конрада Пикеля (латинизированное имя Цельтис), и, во вторую, вмешаться в общую дискуссию на этот счет, критически подойдя к тем вопросам и оценкам, которые звучат в ней.

Возникновение *Sodalitas* в германских землях неотрывно от деятельности Цельтиса (1459–1508), первого среди немцев латиноязычного поэта, увенчанного императором лавровым венком (1487), выдающегося представителя трансальпийской культуры эпохи Возрождения, с середины XIX в. с легкой руки Давида Фридриха Штрауса признанного “эргуманистом” Германии². За плечами Цельтиса уже был бакалавриат в области искусств и теологии Кельнского университета, когда его заносят 13 дек. 1484 г. в матрикулы Гейдельберга по отделению риторики и поэтики. На следующий год Цельтис защищает здесь магистерскую диссертацию. В Гейдельберге под началом Рудольфа Агриколы он занимается греческим и древнееврейским языками. В 1486–1487 гг. Цельтис совершенствуется в поэтике в университетах Эрфурта, Ростока и Лейпцига. Оказавшись затем на Аппенинском полуострове, до начала 1489 г. он посвящает себя философским и филологическим штудиям в Падуе, Ферраре, Болонье, Флоренции, Венеции и Риме, посещает флорентийскую Платоновскую академию и Римскую академию, руководимые соответственно Марсилио Фичино и Помпонио Лето, попутно сходит с ними, а также Филиппом Бероальдом и другими видными итальянскими гуманистами. В 1489 г. путь его лежит через Буду в Краков, где знаменитый Войцех Брудzew готов просветить молодого франконца в астрономии и математике.

На основании “неясных указаний” в поздних стихотворениях Цельтиса некоторые исследователи полагают, что именно в Кракове в 1490 г. он, повсюду сплывавший вокруг себя тех, кто был увлечен античностью и новой гуманистической ученостью, и создал совместно с Филиппом Каллимахом³ первое содружество немецких гуманистов, *Sodalitas litteraria Vistulana* (Литературное содружество на Висле)⁴. Неудивительно, что граница по Висле (так у Тацита!) обозначала в представлении Цельтиса восточные пределы Германии, а Краков исконно германскую землю. В этом он не был одинок. К примеру, критичный Беат Ренан, историк и близкий друг космополитичного Эразма, восхвалял почитаемого сегодня в Венгрии Януса Паннония как великого немецкого поэта. Но сколь бы не были патриоты Германии усидчивы в поисках следов первого немецкого союза гуманистов на Висле, их усилия тщетны. Ни в переписке самого Цельтиса, ни в его стихотворениях того периода, ни в письмах его краковских друзей нет и намек на *Sodalitas litteraria Vistulana*, на какие-то практические шаги по его созданию.

Правда, первенство Кракова готовы оспорить австрийские исследователи, рассматривающие связанный с именем Цельтиса кружок адептов ренессансной культуры в Буде, будто бы возникший (однако не просматривающийся в источниках) в 1489 г., а затем де перенесенный в Вену в 1497 г., уже как *Sodalitas litteraria Danubiana* и начало австрийского национального гуманистического движения, более или менее независимого от немецкого⁵. Искать доказательства существованию *Sodalitas* в Буде в 1489 г. побуждает исследователей сам Цельтис, обращающийся во II книге своих “Од” “К ученому сообществу венгров о положении Буды и о знаменьях, которые предшествовали смерти божественного Матвея, короля Паннонии, с прискорбием”⁶. При том что историки без труда находят в Буде в 1489 г. тех, кто с восторгом предается изучению античной литературы, никаких следов Содружества как некоего института, именованного Дунайским или тем более Паннонским, нет. Исследователи из университета Граца предлагают, правда, компромиссный вариант, согласно которому Венское/Дунайское содружество уходит своими корнями в краковский период, в 1490 г., якобы оттуда и следует вести его историю. Тогда, естественно, к радости “гордящихся своей историей” австрийцев, которых мы, правда, не найдем на карте XV в., истоки гуманистического движения к северу от Альп восходят к Вене⁷.

Впервые, что обязательно подчеркивается в литературе, о планах Цельтиса основать в германских землях академию по типу Платоновской можно узнать из его письма, датированного концом 1491 г. и адресованного Сиксту Тухеру, профессору права в Ингольштадте⁸. Однако безусловно эта идея зародилась у Цельтиса раньше, в годы его общения с Агриколой в Гейдельберге или немногим позднее под непосредственным влиянием итальянских гуманистов и их академий. Очевидно, идея эта не спонтанна и несерьезна, не завязана исключительно на личную притягательность и харизматичность природы Цельтиса или же его амбициозность, иначе было бы понятно, почему содружества эти впоследствии, после его отъезда, как это непременно отмечается, распались (а существовали ли они как институты?). Нет, идея немецких гуманистических содружеств имеет принципиальное, программное для мировоззрения Цельтиса значение. Уже в своей ранней оде “К императору Фридриху за лавры”, где воспевается приход золотого века и “нравственности прежней” к германцам, а с ними утверждается “бегство грубости нравов” из их земель, Цельтис с чувством собственного достоинства взирает на небожителей Олимпа:

Это званье внесли рвением до вышних звезд
Греки, также и Рим в этом последовал.
А теперь вот и мы, взяв барбитон, идем,
Путь направив за их быстрыми стопами,
Средь холодных небес песни поем свои...
И коль примешь мои грубые песни ты,
Украшая виски зеленью лавровой,
Да сочту, что вкусил нектар Олимпа я⁹.

«Мы... идём... песни поем свои» – без сомнения, это Цельтис о современных ему германцах. Он, конечно, уже знает к тому времени не только знаменитую работу Тацита “О происхождении германцев и местоположении Германии”, но и трактат Энеа Сильвио Пикколомини “Германия”, и так и не произнесенную речь Джованантонио Кампано с призывом к немцам защитить империю перед лицом угрозы со стороны турок. Охотно следуя подсказанной ими идее преемственности германской традиции – соответственно общих для германцев нравов, культуры, истории, границ, этноса, – Цельтис видит в прошлом аморфном, постоянно видоизменявшемся политическом пространстве между Северным и Балтийским морями, Рейном, Дунаем и Вислой землю немцев, отождествляя Deutschland и латинское Germania¹⁰. Неудивительно, что именно на берегах Вислы, Дуная, Рейна (а по ним проходит граница Германии, согласно Тациту) и возникают (или же манифестируется Цельтисом их возникновение) Содружества германских гуманистов – Sodalitas Vistulensis, Sodalitas Danubiana, Sodalitas Rhenana, – реальность существования которых и стала в наши дни предметом жаркой научной дискуссии. Если же добавить к ним никогда не существовавшее Кодонейское Содружество (Содружество на берегах Северного моря)¹¹, прокламированное Цельтисом в открывающем книгу его “Эпиграмм” обращении “К четырем литературным содружествам Германии”¹², то становится очевидным, что своей целью он видел не просто “объединение усилий гуманистов Германии в распространении гуманистических знаний и идеалов”¹³, соответственно попечение локальных очагов новой, ренессансной учености. Больше, он думал об объединении гуманистов Германии в рамках нарождающегося национального проекта в целях содействия *translatio studii*, т.е. переносу центра христианской культуры и учености в немецкие пределы, коль скоро *translatio imperii*, переход власти в империи в пользу германских династий представлялся ему объективно свершившимся. В споре с итальянцами, дабы доказать неварварство Германии, самобытность и высокое достоинство ее культуры, Цельтис, по убеждению национальной немецкой историографии XIX в., “должен был создать подобные Академиям институты”, ведь “недостатка в прилежных ученых, занятых изучением древности, в Германии не было”, их нужно было лишь объединить¹⁴. И Цельтис именно тот, кто закладывает фундамент здания германской нации, притом когда речь о едином германском государстве не идет. В своей программной “Оде к Апполону, изобретателю искусства поэзии, чтобы он с лирой пришел от итальянцев к германцам” (1486) Цельтис видит Италию перевалочным пунктом на пути к новому расцвету культуры, начало которому греки, а вершиной и конечным пристанищем должна стать Германия:

Быстрый, ты сумел через ширь морскую
Радуюсь придти из Эллады в Лаций,
Муз ведя, чтоб там проложить дорогу
Всюду искусствам.

Наших, просим мы, пожелай пределов,
Как когда-то ты к италийцам прибыл;
Варварская речь да исчезнет, чтобы
Мрака не стало¹⁵.

На деле Цельтис обосновывает, популяризует, внедряет идею трансляции от древних греков (!)¹⁶ через римлян на немцев некой общечеловеческой исторической и культурной миссии¹⁷. Этот план коннотируется с его известным грандиозным национальным проектом “*Germania illustrata*”, описанием Германии, призванным доказать преемственность немецкой истории, ее глубокие (библейские) исторические корни и автохтонность. Позже, дабы “заполнить” современное ему культурное пространство “*Germania*”, Цельтис рассуждает уже о *Septenaria sodalitas litteraria Germaniae*, куда, кроме перечисленных выше четырех, призваны войти и три Содружества, географически привязанные к ее крупнейшим горным массивам – Гарцу, Альпам и Карпатам¹⁸. В прошлом одни исследователи приняли эту комбинацию на веру, другие сочли спекуляцией, соответственно свидетельством общей несостоятельности большинства утверждений, “конфуза” Цельтиса¹⁹, даже сознательной фальсификацией, третьи – данью мистике и священным числам²⁰. А существовали ли эти *Sodalitas* вообще?

Сегодня историки сходятся на том, что первое прослеживаемое по источникам содружество гуманистов в немецких землях – *Sodalitas litteraria Rhenana*²¹ – сложилось в Гейдельберге летом 1495 г.²², куда Цельтис бежал из охваченного чумой Ингольштадта²³, в университете которого преподавал на ту пору. В хорошо знакомом ему Гейдельберге он встретил не только старых друзей и единомышленников, но и обрел в их лице влиятельных покровителей и в известной степени меценатов. Речь идет в первую очередь о давно знакомом ему Иоганне фон Дальберге (1445–1503), авторитетном епископе Вормса, канцлере Гейдельбергского университета и доверенном лице курфюрстов Пфальца, получившем блестящее гуманистическое образование, в том числе в Италии. Под его патронатом предположительно 7 ноября (в день рождения Платона!) 1495 г. и было впервые заявлено о Рейнском содружестве гуманистов как “*omniorum philosophorum festum*”. Через две недели Цельтис продекламировал в кругу избранных оду в честь Дальберга, провозгласив того²⁴ бессмертным принципсом (главой) Содружества, “*sodalitas litteraria per Germaniam*”²⁵. Притом нет оснований полагать, как это делает А.Н. Немилов, будто Дальберг реально руководил им или финансировал его, исходя лишь из того, что “у Дальберга было достаточно средств на содержание своей Академии”²⁶. Явно выглядит преувеличением воспринимать просьбы Дальберга о покупке для него книг или заказе списков неких манускриптов и проч. как обязательные к исполнению распоряжения главы Содружества²⁷. “Его”, дальберговской Академией, Рейнское содружество, конечно, не стало. Ни в институциональном, ни в финансовом, ни в интеллектуальном, ни в программном отношениях. Вдохновителем, душой, главой, мотором *Sodalitas* всегда

оставался Цельтис. Хотя, безусловно, имея такого покровителя, как Дальберг, адепты новой учености чувствовали себя в Гейдельберге вполне уютно. Позже, уже в Вене, выступая от имени другого инициированного им *Sodalitas litteraria Danubiana*, Цельтис так же, как и прежде, обращается к Дальбергу как принцепсу “*sodalitas litteraria per universam (! – А.Д.) Germaniam*”²⁸, естественно, не имея в виду какого-либо содержательного наполнения этого риторически изысканного титула.

Гейдельбергское содружество, как, впрочем, и итальянские Академии, не имело ни жесткого, фиксированного числа членов, ни устоявшегося, заранее согласованного календаря мероприятий. Обычно Цельтис в личных письмах (при этом адресат его в тот момент мог проживать с ним в одном доме) созывал членов Содружества на общую встречу (их отмечено совсем немного), где неутомительные дружеские дискуссии и доклады, посвященные античным авторам и изящным искусствам, завершались веселыми и даже фривольными пирушками иногда в компании представительниц прекрасного пола. Последнее не смущало и тех из них, кто был облачен в рясу. Коль скоро Вимпфелинг, отказываясь приехать на одну из таких встреч, в своем послании к Цельтису ссылается на “*doctrinae et morum praescepta in vestris coetibus conclusa*”²⁹, исследователи на протяжении столетий задаются принципиальным вопросом, а не имело ли Содружество институционального характера³⁰. Действительно ли такая программа/доктрина, некие правила деятельности Содружества существовали? Каких-либо иных подтверждений тому, увы, не сохранилось, хотя в данном направлении поиск источников велся особенно заинтересованно и тщательно. Ведь это, пожалуй, один из центральных вопросов, связанных с деятельностью *Sodalitas*. Следует признать, что члены Содружества жили единой интеллектуальной жизнью, общими творческими планами главным образом и прежде всего в переписке Цельтиса и во многом благодаря ей³¹. Она велась основательно, была поручена конкретному переписчику. Отдельные программные эпистолы печатались во введении к совместным публикациям, переписывались, доводились до сведения со товарищей. Они и есть главный исторический памятник *Sodalitas*. Собственно, из них мы и черпаем информацию о членах Содружества, их инициативах, планах и т.п. Потому, возможно, было бы правильно отнести приведенную выше формулу Вимпфелинга на счет конвенциональности самодостаточного с точки зрения литературного жанра эпистолярного наследия эпохи Возрождения.

В ряды членов Рейнского содружества входили не только ближайшие друзья Цельтиса по Гейдельбергу³², как, например, Дальберг или профессор юриспруденции Гейдельбергского университета Иоганн Вакер (гуманистическое имя Вигилий), но и, помимо упомянутого эльзасца Якоба Вимпфелинга (тогда он был настоятелем собора в Шпейере), также Вилибальд Пиркгеймер (из Нюрнберга), Иоганн Стабий (на тот момент из Ингольштадта), Ян Толопфус (из Регенсбурга), Конрад Пейтингер (из Аугсбурга), Хайнрих Гринингер (из Мюнхена), Иоганн Циглер (из Нюрнберга), Урбан Пребусений

(из Шлезии), Хайнрих Гератволь (из Франкфурта-на-Майне) и др.; из близлежащих же к Гейдельбергу мест, например, Иоганн Тритемий, знаменитый аббат монастыря в Спонхейме, Хайнрих фон Бюнау (тогда в Вормсе), Томас Трухзесс (из Шпейера) и др. Переселившийся в 1496 г. в Гейдельберг Иоганн Рейхлин также охотно присоединился к Содружеству. Трудно представить себе, однако, чтобы все они могли более или менее регулярно собираться в хлебосольных для них домах Иоганна фон Дальберга или Вигилия (его члены союза называют своим *hospes*) или осуществлять совместные вылазки к сотоварищам, подобные той, что в июне 1496 г. им удалось организовать скромной компанией, когда они выбрались к щедрому на угощение Тритемию, в монастырь, славный не только своей библиотекой, но и тем, что даже тритемиевский

...лес отменно по-гречески все понимает,
Скажешь по-гречески ты, – он выполняет приказ³³.

Не исключено, что нога большинства из них никогда в жизни не ступала в Гейдельберг.

Хотя в 1496 г. Цельтис и вернулся в Ингольштадт, дабы продолжить там свою работу в университете, *Sodalitas Rhenana*, постепенно все более вовлекавшее в свою орбиту гуманистов юго-запада Германии, в переписке и немногих связанных с Содружеством бумагах продолжало фигурировать как *Sodalitas Celtica* (Содружество Цельтиса)³⁴, как, впрочем, впоследствии будут называть и *Sodalitas Danubiana*. В основном именно многочисленными издательскими проектами самого Цельтиса и его сподвижников, публично выступавших, как правило, в качестве цензоров (заинтересованных друзей-критиков на античный лад, но не чиновников), Содружества оставили в истории свой вклад. Будь то публикация космографии Луция Апулея “*De mundo*” (1497 г.; первый общий результат деятельности *Sodalitas*³⁵; ее сопровождали стихотворные посвящения 18 членов Дунайского содружества); счастливо найденные Цельтисом в знаменитом монастыре Сент Эммерам в Регенсбурге сочинения саксонской монахини Хротсвит из Гандерсхайма³⁶, “В крае германском теперь величайшей славы”³⁷ (1501); либо “логурина”³⁸, воспевающего победу германского императора Фридриха Барбароссы над ломбардскими землями и Миланом (1507) и др. Все они вкупе с изданной Цельтисом “Германией” Тацита (1500) и его “*Quatuor libri amorum*” (1502) содействовали одной цели – заявить о Германии не только как о сердце империи, но и центре новой учености, имеющей собственные богатые культурные традиции, корнями уходящие в самобытную древность. Притом, судя по всему, применительно и к Венскому, и к Гейдельбергскому, и к Аугсбургскому, и другим содружествам “о совместной издательской работе, которая бы документировала деятельность *Sodalitas*, не может быть и речи; *Sodalitas* в большей степени в качестве мецената брала на себя расходы” на публикации³⁹. Притом формально те не были конкретно привязаны ни к Гейдель-



*Кубок с рельефным изображением скелетов.
I век н.э. Малая Азия (?). Найден в Ольвии. Глина.
Санкт-Петербург. Эрмитаж*



*О живых и мертвых королях. Фрагмент псалтыри Арунделя. 1285.
Лондон. Британская библиотека*

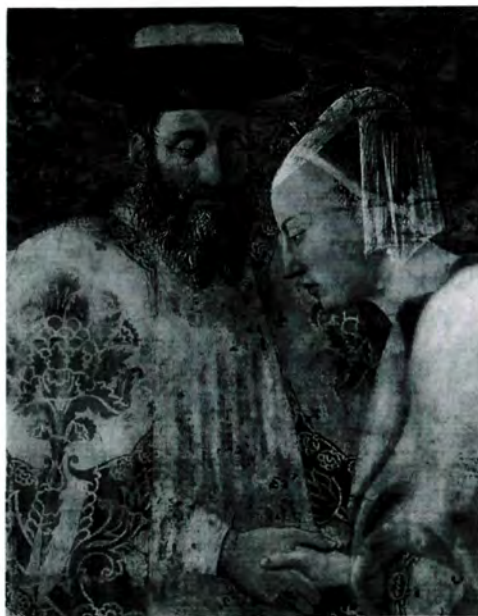


*Гийо Маршан. Смерть с королевой и герцогиней. Сцена из макабрического танца. 1491.
Париж. Национальная библиотека*

К статье О.Г. Махо



*Йос Ван Гент.
Кардинал Виссарион.
Париж. Лувр*



*Пьеро дела Франческа.
Встреча царицы Савской
с царем Соломоном.
Фрагмент фрески. Ареццо.
Церковь Сан Франческо*

К статье И.А. Журавлевой



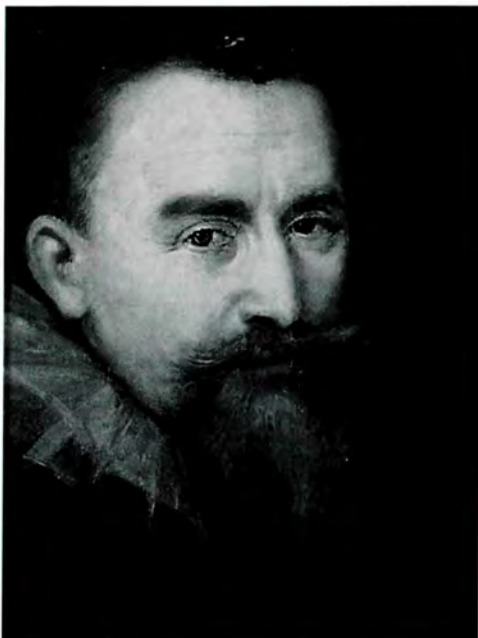
Агостино Венециано. Портрет султана Сулеймана Великолепного.
Гравюра

К статье Н.А. Истоминой



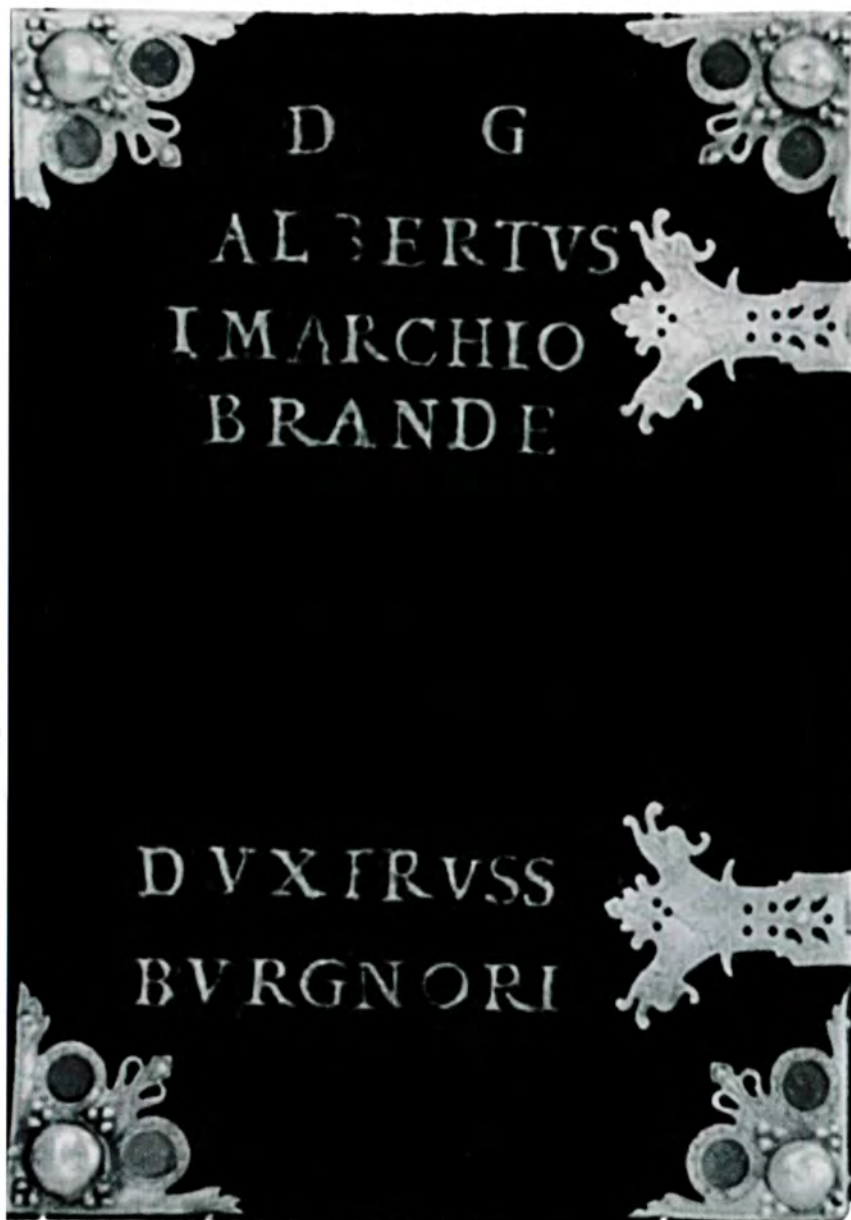
*Хендрик Гольтциус. Автопортрет.
Бумага, итальянский карандаш. 1592–1594. Вена. Альбертина*

*Хендрик Гольтциус (?).
Автопортрет.
Дерево, масло. 1600-е.
Частное собрание*



*Хендрик Гольтциус (?).
Женский портрет
(Маргарита Бартзен (?)).
Дерево, масло. 1600-е.
Частное собрание*

К статье Н.Н. Шевченко



*Книга-подарок Эвсебия Линиуса. 1865. Торонь.
Университетская библиотека*

бергу, ни к Вене⁴⁰. Сочинения Хротсвит впервые увидели свет в Нюрнберге, многие другие в Аугсбурге. Наряду с Базелем эти города стали в те годы оплотом гуманистического книгопечатания в Германии. Примечательно, что привилегия на Хротсвит, выданная Цельтису, – вообще единственный акт, где *Sodalitas Celtica* фигурирует в контексте официального права⁴¹.

После того как 7 марта 1497 г. Цельтис в обход университетской автономии по приглашению Максимилиана I был назначен ординарным профессором риторики и поэтики Венского университета, идея Содружества нашла распространение и в других германских землях. Вместе с Цельтисом с октября 1497 г. центр движения *Sodalitas* переместился на берега Дуная, в имперскую столицу, где вскоре по инициативе новопривзанного профессора возникло *Sodalitas litteraria Danubiana*⁴². Собственно именно с 1497 г. Гейдельбергское содружество, дабы различаться с Венским, стало (в переписке гуманистов) зваться Рейнским. Почетное “*princeps*” Дунайского содружества, собственно к самому эпитету “*princeps*” и сводящееся, как и в Гейдельберге, Цельтис “возложил” на главу местного клира, епископа Вешпрема Йоханнеса Витеза младшего⁴³. Гостеприимный приют члены Содружества нашли в доме Иоганна Куспиниана, коллеги Цельтиса по университету, историка, дипломата, советника императора. Образование Дунайского содружества придало ренессансной культуре в регионе мощный импульс. В этот период можно говорить даже о ее расцвете здесь под влиянием Цельтиса и при участии Максимилиана I, горячо поддержавшего также идею создания Венской школы поэтов и математиков, нового центра изящных искусств с Цельтисом во главе⁴⁴. И хотя в окружении последнего появляются ранее незнакомые ему лица, членами своего лишь формально нового Содружества Цельтис числит и всех тех, кто был с ним накоротке в Гейдельберге, с кем он долгие годы состоит в переписке. Спустя четыре года после возникновения *Sodalitas Danubiana* Цельтис все так же титулет Иоганна фон Дальберга главой Содружества гуманистов всей Германии.

Логичным представляется рассматривать *Sodalitas Danubiana* до 1508 г., года смерти Цельтиса, не как еще один локальный либо региональный очаг ренессансной культуры, но как следующий этап в реализации национального по своему духу плана Цельтиса содействию *translatio studii* на германские земли, *de facto* как составную часть одного виртуального Содружества гуманистов Германии, *Sodalitas Celtica*. Тем более что членами такового были все те ориентированные на новую ученость лица, где бы они не находились, кто разделял его идеи. В этом смысле звучит не вполне корректно, когда говорят, что по образцу Рейнского содружества создавались аналогичные кружки в других городах Германии⁴⁵. Нет, это один “кружок”, идейный глава и вдохновитель которого Цельтис. Дунайское содружество – не новый институт (да и вообще не институт как любое из связанных с именем Цельтиса Содружеств), но новая стадия цельтисовского национального культурного проекта “*Germania*”. Цельтисовское “*Phoebea sodalitas nostra*”, как называет

его он сам в одном из писем 1502 г.⁴⁶, – не сообщество постоянных членов, но свободная, текучая, не жестко оформившаяся группа людей, объединенных научными и литературными интересами во славу Германии, собственно союз гуманистов всей Германии. Членами *Sodalitas Celtica*, все равно где бы ни был Цельтис, видят себя, например, и аугсбургские гуманисты, сплотившиеся вокруг Конрада Пейтингера; этот кружок сохранился в переписке гуманистов под именем *Sodalitas Peutingeringiana* или *Sodalitas Augustana*⁴⁷. Так, в 1505 г. Пейтингер обращается к Цельтису: “*reverendos nobiles, ecclesiae maioris canonicos, et cives conterraneos nostros et etiam me, plurimum tibi deditos ac litterariae tuae sodalitates institutae commilitones, prosequeris*”⁴⁸. Вполне допустимо видеть и в *Sodalitas litterariae Angilostadiensis* (Ингольштадтском литературном содружестве), основанном ближайшим учеником и сподвижником Цельтиса Иоганном Авентином⁴⁹ при поддержке могущественного канцлера Баварии Леонарда фон Экка в 1516 г., спустя 19 лет после отъезда Цельтиса из Ингольштадта и через 8 лет после его смерти, продолжение, часть цельтисовского проекта “*sodalitas litteraria per universam Germaniam*”. Любое из Содружеств, о которых шла речь выше, дополняет, а не нарушает его.

Общегерманское содружество гуманистов не могло стать некоей реально действующей организацией, ведь очевидно только объединенные в одном месте, тесно и постоянно сотрудничающие люди могли бы работать на результат. Но если сам Цельтис не ставил перед *Sodalitas* конкретных задач и, главное, рассматривал его не как институт, тем более с региональными представительствами или же, на современный лад, филиалами⁵⁰, а как своего рода попечительский союз общекультурного плана в масштабах всей Германии в границах, очерченных Тацитом, то, вероятно, и нет смысла доказывать его продуктивность. Эффективность его в политическом и ретроспективно национальном планах как раз и состояла в содействии распространению ренессансной культуры, самого духа Возрождения в Германии, дабы *Sermania* стала, в конце концов, культурным центром империи. С ним Цельтис связывал приход нового “золотого века”, “золотого века” христианства. Стоит ли в таком случае говорить, а это мнение господствует в историографии, об имитации, сознательной мистификации гуманистических Содружеств со стороны Цельтиса, об “их фиктивном или даже утопическом характере”⁵¹? Вряд ли. Если же исходить из другой перспективы, ренессансной, то Цельтис объективно содействовал закату классического гуманизма и в этом его национально-патриотический проект с акцентом на “возрождение отечественной культуры” был эффективен. Показательно, что Эразм так и не позволил вовлечь себя в него.

Нет смысла искать в самом термине *Sodalitas* устойчивое содержательное, смысловое наполнение, общую модель, программу *per se*⁵². В дореформационный период оно употребляется применительно к гуманистическим образованиям разных форматов и уровней, различной идейной направленности: к объединению вокруг Пейтингера в Аугсбурге (*Sodalitas Peutingeringiana* или

Augustana); и гораздо более крупному Дунайскому содружеству; к *Sodalitas philomusea* в Ингольштадтском университете в 1502 г., небольшому кружку почитателей римской литературы (имевшему мало общего с планами Цельтиса) Якоба Лохера; и небольшому неформальному объединению исследователей баварской истории с регенсбуржцем Христофором Хоффманном во главе в 1510-е годы (как раз хорошо вписывающемуся в национальный проект Цельтиса); к венскому *Sodalitas Collimitiana* вокруг математика, врача и картографа, преподавателя университета Георгия Таннштеттера (гуманистическое имя Коллимиций) в 1510-е годы, когда после смерти Цельтиса значение Дунайского содружества как общегерманского центра гуманистической культуры постепенно сходит на нет; наконец, к *Sodalitas Staupitziana* Иоганна фон Штаупитца, теолога, “крестного отца” Мартина Лютера, создавшего в Нюрнберге в 1517 г. интеллектуальное сообщество, нацеленное на вопросы реформы церкви. С приближением Реформации кружки подобные *Sodalitas Staupitziana* начинают возобладать⁵³.

Иногда название *Sodalitas* фигурирует лишь по случаю и в таком, связанном к конкретному месту контексте никогда уже больше не встречается. Тибор Кланишаи указывает, к примеру, на эпиграмму, где упоминается “*sodalitas litteraria Linciana*”⁵⁴, не существовавшее никогда сообщество гуманистов в Линце, а также на письмо Дитриха Ульсения, датированное 1496 г., в котором говорится о мифическом “*sodalitas litteraria Bavarica*” в период пребывания Цельтиса в Ингольштадте⁵⁵. Он же напоминает нам и о том, что цельтисовская Коллегия поэтов и математиков приветствовала кайзера в качестве *Sodalitas litteraria Collegii Poetarum Viennae* или (в другом месте) *Sodalitas litteraria Viennensis Collegii*, а в одном из посвящений Цельтиса – “*ex... contubernio litterario Viennae*”⁵⁶.

То, что члены *Sodalitas* в письмах именовали свои Содружества также иначе – *contubernium*, *coetus*, *sodalitium*, *academia* – говорит определенно в пользу точки зрения, согласно которой *Sodalitas* не имели жесткого институционального статуса, а сами названия их не предполагали экспонирования вовне на политическом и правовом уровне. Вряд ли стоит принимать *contubernium* или *coetus* как обозначения филиалов *Sodalitas*, хотя так предлагает считать Тибор Кланишаи⁵⁷. Это не более чем синонимы применительно к *Sodalitas Celtica*, одному общегерманскому содружеству гуманистов. При этом его члены обращаются друг к другу вполне в духе Ренессанса, прибегая не только к “высокому стилю”, рассчитанному на внешнюю репрезентацию – “*sodalis*”, “*contubernalis*”, “*cultor sodalitatis litterariae*”, “*commilito*”, “*Phoebus vir*”, но и к принципиально сокращающему всякую дистанцию, сниженному дружескому – “*combibo*”⁵⁸. Выстраивать на основании всех подобного рода различий пирамиду скрытого иерархического соподчинения как самих Содружеств, так и их членов не уместно. Говоря о том, что “большое Содружество впоследствии само по себе преобразовывается в собрание более мелких локальных групп, а название *Sodalitas* постепенно распространяется

и на них”⁵⁹, следует подчеркнуть, что новая ученость, ренессансная культура, наконец, цельтисовская идея в первое десятилетие XVI в. захватывают в германских землях все более широкие круги интеллектуалов, а вектор ее действия из центра (если рассматривать Вену и фигуру самого Цельтиса как таковой) на периферию (что, правда, в таком случае понимать под периферией Священной Римской империи германской нации?) указывает не на распад и дробление, но расширение влияния и прирост.

В начале XVI в. классический гуманизм, олицетворением которого были итальянские Академии века предыдущего (например, *Academia Pontaniana* в Неаполе, Платоновская академия во Флоренции, Академия в доме Аламанно Ринуччини во Флоренции, Римская Академия Помпонио Лето, Новая Академия Альдо Мануция), целью попечения которых была античность, соответственно древние языки, начинает отступать перед национально окрашенным, так называемым “вульгарным гуманизмом”, перед зарождающейся национальной мифологемой с ее заботой о национальной истории (соответственно “отечественных”, значит, в первую очередь средневековых памятниках) и национальных языках (в ущерб латыни). Общекультурные интересы, а с ними в известной степени “антикварные”, вытесняются “национальными”. Однако говорить о существенном и продолжительном влиянии гуманистических содружеств на культурный климат Священной Римской империи в этот период не приходится. Как за классическими ренессансными итальянскими Академиями XV в. приходят национальные проекты общего Содружества гуманистов на манер цельтисовского, так и последние сменяются в итоге кружками, занятыми в первую очередь теологическими вопросами, проблемами Реформации. В этом прослеживается общая логика развития ренессансной культуры.

Рим как духовный центр (каковым он к началу нового времени так и не стал), а попутно и как светский культурный, теряет впоследствии в протестантизме свое значение. Протестантизм становится гарантией некой автономии национального начала, хотя, раскалывая идею общей Германии на три конфессиональных дискурса (католический, лютеранский и кальвинистский), тормозит становление общенационального немецкого государства. Посевам “национального”, пусть и религиозно окрашенного, отныне не обязательна легитимация через Рим. Кроме того, латынь как часть чужой традиции, “приигрывая” языкам национальным, инструментализуется, постепенно становясь уже по ходу XVI в. языком “высоколобых”. Зародившееся в Германии в начале как национально-патриотический проект ренессансное *Sodalitas* позднее оказалось сильно подвержено идеям Реформации, во многом переняло ее пафос, а затем трансформировалось в XVI–XVII вв. в профессиональные сообщества (именно гуманисты образуют новое ученое сословие!), например, для попечения национального языка. Уже на этой, профессиональной, основе *Sodalitas* впоследствии институционализируются. Продолжая линию, через сто лет мы найдем в Европе национальные Академии и национально ориентированную модель научной организации и политики, которая стано-

вится доминирующей. И в этом смысле, здесь следует согласиться с Христине Тремль, “цельтисовский посыл в организации Содружеств... сохранял свою силу”⁶⁰. Лишь в середине XVIII в. геттингенское научное сообщество Альбрехта фон Халлера⁶¹ снова выведет ученых на наднациональный уровень.

Цельтис, для многих, как и для Клянишаи, очевидно, “был первым, кто попытался вызвать к жизни единое представляющее всю страну, всю нацию ученое сообщество. Представление это было утопическим и понятно, что поэтической легитимации в нем выпала тоже немалая роль, особенно когда Цельтис набрасывает проект четырехкратного, соответственно семикратного деления Содружества”⁶². Но не фантазия и не утопия это вовсе, а созвучная духу времени, продуманная (!) программа национального (идейного, а не институционального) строительства, позже нашедшая свое отражение в самой национальной парадигме. Почему же с его смертью движение Sodalitas в германских землях постепенно затухает, утрачивает свою силу при том, что сама идея продолжает жить? При том что венские гуманисты еще строят под руководством Куспиниана, а затем Коллимиция общие планы; в Аугсбурге в 1510-е годы продолжается достаточно активная издательская деятельность; а Авентин в Ингольштадте по стопам Цельтиса создает в 1516 г. Ингольштадтское содружество, задумывает, как и учитель, публикацию многих важных памятников германской истории, наконец, в своих трудах в известном смысле реализует цельтисовский проект *Germania illustrata*. Конечно, дело не только в том, что не стало самого Цельтиса, идеями, энергией и авторитетом которого Sodalitas жило. После него внутренние связи Содружества, и без того непостоянные, в разной степени интенсивные и глубокие, безусловно, ослабевают. Но ведь национальный посыл Цельтиса и так изначально вступал в противоречие с надмирным характером республики ученых, адептов ренессансной культуры. Очевидно, к тому времени национальная мифологема, которая могла бы сплотить гуманистов Германии, еще только складывается⁶³. Да и в рамках самой этой мифологемы были возможны разночтения, сводившиеся к двум основным, “романской” и “автохтонной”, линиям⁶⁴ и не способствовавшие единству довольно разобщенного гуманистического движения в Германии. Особенно с приближением Реформации, канализировавшей конфликт германских государств и Рима, а с ним политическую и идейную ангажированность гуманистов Германии, в религиозное русло. Светское, нерелигиозное в своей основе мировоззрение гуманистов уступает отныне реформационному, постепенно теряет свою самодостаточность, надмирность, “горизонт для гуманистического движения становится все уже и уже”⁶⁵. Ренессансные Sodalitas (с некогда собственной культурной программой) подпадают в зависимость от партий, государств и их резонов; идейный багаж гуманистов инструментализуется; а их интеллектуальный потенциал становится объектом нарождающихся профессиональных отношений, конструируется; Содружество гуманистов распадается; а те из них, кто все еще поклоняется гению Эразма, избирают путь духовной эмиграции.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Здесь уместно назвать лишь некоторые, наиболее важные публикации по теме, напр., *Hummel G.* Die humanistischen Sodalitäten und ihr Einfluß auf die Entwicklung des Bildungswesens der Reformationszeit. Leipzig, 1940; *Lutz H.* Die Sodalitäten im oberdeutschen Humanismus des späten 15- und frühen 16. Jahrhunderts // *Humanismus und Bildungswesen des 15. und 16. Jahrhunderts* / Hrsg. von Wolfgang Reinhard. Weinheim, 1984. S. 45–60; *Csáky M.* Die “Sodalitas litteraria Danubiana”: historische Realität oder poetische Fiktion des Konrad Celtis? // *Die österreichische Literatur. Ihr Profil von den Anfängen im Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert (1050–1750)*. Graz, 1985. S. 739–758; *Klaniczay T.* Celtis und die Sodalitas litteraria per Germaniam // *Chloe. Beihefte zum Daphnis. Respublica Guelpherbytana. Wolfenbütteler Beiträge zur Renaissance- und Barockforschung. Festschrift für Paul Raabe* / Hrsg. von August Buck und Martin Bircher. Bd. 6. Amsterdam, 1937. S. 79–105; *Trembl Ch.* Humanistische Gemeinschaftsbildung. Soziokulturelle Untersuchung zur Entstehung eines neuen Gelehrtenstandes in der frühen Neuzeit // *Historische Texte und Studien*. N. 12. Hildesheim u.a., 1989; *Entner H.* Was steckt hinter dem Wort “sodalitas litteraria”? Ein Diskussionsbeitrag zu Conrad Celtis und seinem Freundeskreis // *Europäische Sozietätsbewegung und demokratische Tradition* / Hrsg. von Klaus Garber und Hans Wismann. Bd. 2. Tübingen, 1996. S. 1069–1101; *Müller J.-D.* Konrad Peutinger und die Sodalitas Peutingiana // *Der polnische Humanismus und die europäischen Sodalitäten. Akten des polnisch-deutsche Symposions vom 15–19. Mai 1996* / Hrsg. von Stephan Füssel und Jan Pirożyński. Wiesbaden, 1997. S. 167–186; *Wiegand H.* Phoebea sodalitas nostra. Die Sodalitas litteraria Rhenana-Probleme, Fakten und Plausibilitäten // *Der polnische Humanismus und die europäische Sodalitäten*. Wiesbaden, 1997. S. 187–209 u.a.

² *Strauß D.F.* Ulrich von Hutten. Leipzig, 1857. 2 Bde.

³ Филипп Буонакорси (латинизированное имя Каллимах) (1437–1496) – итальянский гуманист, участник Академии Помпонио Лето, после обвинения в заговоре против папы Павла II бежал в 1468 г. в Константинополь, затем в 1470 г. оказался при дворе польского короля Казимира IV, где стал воспитателем его детей и придворным историографом.

⁴ К “Висле и восточной стороне Германии” обращена первая из “Четырех книг любовных элегий соответственно четырем сторонам Германии” (“Quatuor libri amorum”) Цельтиса, изданных в 1502 г. в Нюрнберге.

⁵ См. подробнее *Ábel J.* Magyarországi humanisták és a dunai tudós társaság. Budapest, 1880; *List G.* Litteraria Sodalitas Danubiana // *Österreichisch-Ungarische Revue*, 1893. Nr. 14; *Csáky M.* Die “Sodalitas litteraria Danubiana”: historische Realität oder poetische Fiktion des Konrad Celtis? // *Die österreichische Literatur. Ihr Profil von den Anfängen im Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert (1050–1750)*. Graz, 1985.

⁶ См. *Цельтис К.* Стихотворения. М.: Наука, 1993. С. 42–44.

⁷ См. <http://gams.uni-graz.at:8080/fedora/get/o:wissg-wi-065-1/bdef:TEI/get/>

⁸ *Der Briefwechsel des Konrad Celtis*. Hrsg. von Hans Rupprich. München, 1934. S. 31.

⁹ *Цельтис К.* Стихотворения. С. 6.

¹⁰ Подробнее см.: *Доронин А.В.* Миф и национальная история в культуре Возрождения в Германии // *Миф в культуре Возрождения*. М., 2003.

¹¹ Оно – часть цельтисовской программы национального Содружества гуманистов, соответственно четвертая часть его “Четырех книг любовных элегий”.

¹² *Цельтис К.* Стихотворения. С. 246.

¹³ См. издательский комментарий к “Эпиграммам” Цельтиса // *Цельтис К.* Стихотворения. С. 384.

¹⁴ *Hartfelder K.* Heidelberg und der Humanismus // *Zeitschrift für Allgemeine Geschichte, Kultur-, Literatur- und Kunstgeschichte*. 1885. N 2. S. 681.

¹⁵ *Цельтис К.* Стихотворения. С. 116.

¹⁶ В своих сочинениях Цельтис неизменно подчеркивает родство греческой и германской культуры, их языков. Даже если латинская ученость транслирована (чему Цельтис яростно про-

тивится) под своды Парижского университета, то ему важно в обход Рима показать преемственность греческой, первичной по отношению к Риму, и родственной ей немецкой культурной традиций. Тогда, естественно, значимость Германии как центра ренессансного движения в рамках Священной Римской империи представляется неоспоримой. Тем же духом проникнуты и сочинения Иоганна Тритемия, а позже “Анналы князей Баварии” и “Баварская хроника” Иоганна Авентина. Из трудов Тритемия известно также о дальберговском “Собрании нескольких тысяч греческих и немецких слов, которые в обоих языках означают то же самое”, см. *Geiger L. Renaissance und Humanismus in Italien und Deutschland*. В., 1882. S. 439.

¹⁷ Ничего общего с идеями Цельтиса не имеет убежденность Герхарда Хуммеля в том (а это концептуально для его диссертации), что в цельтисовской программе «...в конце концов “литературное содружество” одерживает верх над “платоновской академией” не в последнюю очередь потому, что Цельтис видел свою задачу в пробуждении римской древности, в греческом же он был недостаточно силен», см. *Hummel G. Die humanistischen Sodalitäten und ihr Einfluß auf die Entwicklung des Bildungswesens der Reformationszeit*. S. 10–11.

¹⁸ “Эподы”, стих 14, “Седьмичное содружество словесности германской, седмицами изложенное”, см. *Цельтис К. Стихотворения*. С. 133–135.

¹⁹ См., напр., *Entner H. Was steckt hinter dem Wort “sodalitas litteraria”?* S. 1084–1086.

²⁰ *Treml Ch. Humanistische Gemeinschaftsbildung*. S. 49.

²¹ “О Рейне и западной стороне Германии” 3-я книга Цельтиса его “Четырех книг любовных элегий”.

²² Однако в работах немецкой национальной историографии практически вплоть до второй половины XX в., да и во всемирной паутине сегодня чаще встречается иная, неподтвержденная источниками дата – 1 февраля (день рождения Цельтиса!) 1491 г. См., напр., *Hartfelder K. Heidelberg und der Humanismus // Zeitschrift für Allgemeine Geschichte...* 1885. N 2. S. 682; *Matz M. Konrad Celtis und die rheinische Gelehrtenegesellschaft. Beitrag zur Geschichte des Humanismus in Deutschland*. Ludwigshafen am Rhein, 1903. S. 8. См. также <http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Fredou/test2>. Те, кто настаивает на 1491 г., не полагаясь на научную аргументацию и источники, не хотят, вероятно, “отставать” в этом “принципиальном” вопросе от поляков и австрийцев.

²³ В 1492 г. Цельтис получил место экстраординарного профессора поэтики и риторики в Ингольштадтском университете.

²⁴ Странно было бы предположить, как это, впрочем, делает Христине Тремль, что Дальберг был избран главой Содружества, а “выборы председателя являлись одним из немногих организационных мероприятий Содружества”, см. *Treml Ch. Humanistische Gemeinschaftsbildung...* S. 49. Самого высокопоставленного в обеих иерархиях *sodales*, епископа Вормса, канцлера и т.п. среди других кандидатов выбирают его подчиненные, а также вчерашние слушатели университетских бурс?..

²⁵ См. *Цельтис К. Стихотворения*. С. 75–78. Правда, в первом издании “*Libri odarum*” Цельтиса изменено название этой обращенной к Дальбергу оды. Оно сохранилось в копии, сделанной тогда же, в 1495 г., Вимпфелингом, и звучало так: “*Ioanni Cam. Dalburgio Vormacensi episcopo sodalitis litterariae per Germaniam immortalis et aeterno principi per Conradum Celtem ejusdem sodalitis praeconem...*”, цит. по: *Klaniczay T. Celtis und die Sodalitas litteraria per Germaniam*. S. 87. Anm. 22.

²⁶ *Немилов А.Н. Немецкие гуманисты XV в. Л.*, 1979. С. 137.

²⁷ Так у Х. Тремль. См. *Treml Ch. Humanistische Gemeinschaftsbildung*. S. 50.

²⁸ *Der Briefwechsel des Konrad Celtis*. S. 468.

²⁹ *Ibid.* S. 169.

³⁰ На основании этого письма Вимпфелинга совершенно убежден в том Хуммель, см. *Hummel G. Die humanistischen Sodalitäten und ihr Einfluß auf die Entwicklung des Bildungswesens der Reformationszeit*. S. 24. Герхарду Хуммелю, первому основательному исследователю немецких гуманистических Содружеств, мы обязаны многими устоявшимися заблуждениями на их счет.

³¹ Христине Тремль придает слишком большое значение тому, что “часть членов Рейнского сообщества жила – по меньшей мере какое-то время – вместе, или в доме Дальберга, или Вигилия или Хайнриха Шписса”, см. *Tremel Ch. Humanistische Gemeinschaftsbildung*. S. 50. Обычная для гуманистов практика гостевать у друзей не придавала Содружеству институционального характера.

³² О гейдельбержцах – членах Рейнского литературного содружества см. *Hartfelder K. Konrad Celtes und der Heidelberger Humanistenkreis // Historische Zeitschrift*. 1882. N 47. S. 15–36; *Ibid. Heidelberg und der Humanismus // Zeitschrift für Allgemeine Geschichte, Kultur-, Literatur- und Kunstgeschichte*. 1885. N 2. S. 671–696; *Ibid. Zur Gelehrtengegeschichte Heidelbergs am Ende des Mittelalters // Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins*. 1891. N 45. S. 141–171.

³³ *Цельтис К.* Стихотворения. С. 286.

³⁴ См. *Mertens D. Sodalitas Celtica impetrata? Zum Kolophon des Nürnberger Hrotsvith-Druckes von 1501 // Euphoriion. Zeitschrift für Literaturgeschichte*. 1977. Bd. 71. S. 277–280.

³⁵ Кстати, в посвящении к изданию Цельтис называет императорских советников Фухсмагена и Крахенбергера “*principes sodalitatit Danubianae*”. Ни до, ни после они нигде больше не фигурируют в качестве таковых.

³⁶ Хротсвит из Гандерсхейма, латиноязычная поэтесса (ок. 935 – ок. 975), изящество слога, начитанность и образованность, патриотизм которой в глазах национально ориентированных немецких гуманистов делали ее символом живой, высокой культурной традиции Германии X в. Тем самым, по их мнению, ставилось под вопрос варварство немцев в “темные века”.

³⁷ *Цельтис К.* Стихотворения. С. 275.

³⁸ Написанный гекзаметром эпос о первых годах правления императора Фридриха I, особенно о его борьбе с ломбардскими городами и Миланом (*urbs Ligurina*), в основе которого лежат *Gesta Friderici II–VI Отгона Фрейзингенского*. Авторство эпоса приписывают некоему Гунтеру, возможно, придворному капеллану Фридриха I и воспитателю его детей, и датируют 1180-ми годами. Антиквизированная поэтика и совершенство литературной формы эпоса заставили многих ошибочно на протяжении столетий, вплоть до 1870-х годов, воспринимать эпос как мистификацию со стороны самих гуманистов круга Цельтиса.

³⁹ *Müller J.-D. Konrad Peutinger und die Sodalitas Peutingeriana*. S. 181.

⁴⁰ Изданная Цельтисом в Вене в 1497 г. космография Апулея на тот момент никак не могла быть занесена в актив Дунайскому литературному содружеству, тогда только декларированному, если рассматривать его как региональный очаг ренессансной культуры.

⁴¹ См. *Mertens D. Sodalitas Celtica impetrata?..*

⁴² “Дунаю и полуденной стороне Германии” посвящена вторая из “Четырех книг любовных элегий” Цельтиса.

⁴³ Йоханнес Витез мл. умер в 1499 г. Ничего не известно о каком-либо его преемнике в качестве принцепса Дунайского литературного содружества. Подробнее о Дунайском содружестве см. *Klaniczay T. Celtis und die Sodalitas litteraria per Germaniam*.

⁴⁴ При жизни Цельтиса она вопреки всем его стараниям не была инкорпорирована в структуру артистического факультета Венского университета. Уже позже, будучи ректором университета, этого добился Иоганн Куспиниан.

⁴⁵ *Немилое А.Н.* Немецкие гуманисты XV в. С. 136–137.

⁴⁶ *Der Briefwechsel des Konrad Celtis*. S. 468.

⁴⁷ Подробнее см. публикацию *Müller J.-D. Konrad Peutinger und die Sodalitas Peutingeriana*. Из нее следует, что и деятельность *Sodalitas Augustana* никоим образом не носила локального или регионального характера.

⁴⁸ *Konrad Peutingers Briefwechsel / Gesammelt, hrsg. und erl. von Erich König*. München, 1923. Anm. 2. S. 61. Ян-Дирк Мюллер обращает наше внимание на то обстоятельство, что переписка Пейтингера с Цельтисом задумана как часть общей документации *Sodalitas Celtica* и собрана под общим названием *Liber epistolarum et Carminum Sodalitatis Ad Conraduin Celtem*, см. *Müller J.-D. Konrad Peutinger und die Sodalitas Peutingeriana*. S. 173. Anm. 29.

⁴⁹ Об Авентине и его сконструированной по лекалам Цельтиса национальной мифологеме общегерманской истории см. *Доронин А.В.* Историк и его миф: Иоганн Авентин (1477–1534). М., 2007.

⁵⁰ Так у Хуммеля и Клянишаи.

⁵¹ *Treml Ch.* Humanistische Gemeinschaftsbildung. S. 47.

⁵² В этом смысле противными самой идее, смыслу *Sodalitas Celtica* выглядят педантичные семантические изыскания термина *sodalitas* применительно к немецким гуманистическим содружествам, напр., у Хайнца Энтнера, см. *Entner H.* Was steckt hinter dem Wort “*sodalitas litteraria*”?, приводящие современного исследователя к пониманию *Sodalitas* как “тайных сообществ” наподобие более поздних масонских лож, ереси, “нелегального подполья” в век конфессиональных распрей.

⁵³ Этот путь от Эразма к Лютеру хорошо проиллюстрирован в статье *Bernstein Ec.* Der Erfurter Humanistenkreis am Schnittpunkt von Humanismus und Reformation. Das Rektoratsblatt des Crotus Rubianus // *Der polnische Humanismus und die europäische Sodalitäten.* Wiesbaden, 1997. S. 137–165. Кстати, занятое преимущественно филологическими вопросами Эрфуртское содружество, расцвет которого пришелся на 1510–1515 гг. и которое никогда не состояло в контакте с Цельтисом, репрезентировало себя не как “*sodalitas*”, но “*academia*” или “*schola*”.

⁵⁴ *Klaniczay T.* Celtis und die Sodalitas litteraria per Germaniam. S. 96–97.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.* S. 98.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ См. *ibid.*

⁵⁹ *Ibid.* S. 96.

⁶⁰ *Treml Ch.* Humanistische Gemeinschaftsbildung. S. 75.

⁶¹ Альбрехт фон Халлер (1708–1777), род. в Берне; врач, естествоиспытатель, поэт; с 1736 г. – проф. медицины и ботаники Геттингенского университета, 1751 г. – сооснователь и президент Геттингенского ученого общества, в 1745–1753 гг. – сотрудник *Göttingischen Gelehrten Anzeigen*, превратившихся под его влиянием в интернациональный научно-критический печатный орган.

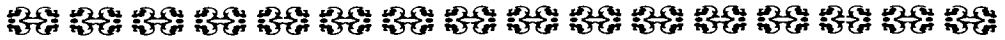
⁶² *Klaniczay T.* Celtis und die Sodalitas litteraria per Germaniam. S. 105.

⁶³ Первый фундаментальный, построенный на признании континуитета германской истории от начала мира, опыт подобного рода – “Анналы князей Баварии” Иоганна Авентина.

⁶⁴ См. подробнее *Доронин А.В.* Миф и национальная история в культуре Возрождения в Германии // *Миф в культуре Возрождения.* М., 2003.

⁶⁵ *Muhlack U.* Beatus Rhenanus und Tacitus // *Beatus Rhenanus (1485–1547): lecteur et editeur des textes anciens.* 2000. S. 469.





ТРАДИЦИЯ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЛИЯНИЯ В ПОРТРЕТАХ ХЕНДРИКА ГОЛЬТЦИУСА

Н.А. Истомина

Хендрик Гольтциус (1558–1617) как художник был типичным представителем своего времени. Характер его жизни и произведений укладывался в феномен “искусства около 1600 года”. Работы мастера, вмещааясь в рамки позднего маньеризма, стояли на грани образования нового стиля – барокко; они отражали черты переходной эпохи, богатой новшествами и изменениями в культурной жизни.

Маньеризм “второй волны”, на почве которого вырос талант художника, имел интернациональный характер и стал доминирующим направлением в европейском искусстве конца XVI в. В этом поликультурном пространстве сложился в целом единый стиль, возникший благодаря взаимопроникновениям различных художественных импульсов. Северные мастера путешествовали по Европе, перенимая друг у друга художественную манеру и композиционные мотивы. Самым популярным оставалось посещение Италии, где приезжие делали рисунки с античных произведений и работ итальянских мастеров XVI в., исправно используя затем в собственном творчестве характерные для изученного ими материала приемы и способы изображения.

Но, включая такие, ставшие давно привычными и даже обязательными заимствования, искусство этого времени ознаменовалось и обращением к местному наследию, к заальпийским образцам поздней готики и Возрождения. Акцент на национальной традиции позволил в формах стиля конца XVI – начала XVII в. сохранить средневековые черты, что неоднократно подчеркивалось многими историками искусства¹.

Частичное возвращение к средневековым формам обнаружило и еще один аспект “искусства около 1600 года”: странное совмещение натуралистической точности и безудержной, противоречащей ей фантазии². Происходит поиск нового понимания природы, художников уже не устраивает ренессансный, идеализирующий и обобщающий подход к ней. Мастера прибегают к реалистичности, детализации, с другой стороны, ищут динамику движения, не всегда отражающую естественность действия, но зачастую близко подходят к тем способам выразительности, которые будут органично синтезированы в искусстве следующего века.

Маньеризм за Альпами был связан с религиозным кризисом второй половины XVI в.: с развитием Реформации и противостоящим ей католическим

движением Контрреформации. Попытка ограничить ренессансное самосознание в рамках этого исторического процесса породила новый тип сдержанного и замкнутого в себе человека, находящегося в зависимости от внешних формальностей³, что в художественных произведениях зачастую выливалось в скованность поз и поведения моделей.

Рациональность и естественность, фантазия и жизнеподобие странным образом находятся в конфронтации и соединяются, образуя сложные формы в портретном искусстве. С одной стороны, становится типичным изображение ограниченного условностями этикета человека, где особое внимание уделяется демонстрации социального статуса и антуража, с другой, – прослеживается тенденция к передаче характера и психологии. У портретистов отмечается проявление особого интереса к самонаблюдению, что приводит к широкому распространению обладающих чертами самоанализа автопортретов, получивших популярность в эпоху барокко. Возникает своеобразный спор идеализации, виртуозности исполнения и самоценности природы, который в XVII столетии разрешится в пользу натуры.

Даже жизненный путь Гольтциуса, непоседливого, весьма общительного, постоянного стремящегося к новым знаниям, склонного к безудержной фантазии и розыгрышу человека, выделяющийся среди “жизнеописаний художников” Карела ван Мандера⁴ как настоящий приключенческий роман, всецело подчинен характеру эпохи. Биограф представил нам ищущего постоянно новые пути и средства воплощения художника-профессионала, гуманиста, увлекающегося алхимией ученого. Всю свою молодость Гольтциус, обосновавшийся в Харлеме, мечтал посетить Италию. В конце 1580-х он заболел чахоткой и, стремясь воплотить свое желание, поехал перед смертью увидеть “землю обетованную”. Сойдя с корабля в Гамбурге в 1590 г., больной, он пешком прошел по холоду через всю Германию. И, по-видимому, такой страстной была его мечта, что по прибытии в желанную страну с ним произошло чудо – он выздоровел. И этот эпизод биографии художника как нельзя лучше отразил фантастичность устремлений и увлеченность мастера, с одной стороны, с другой, – его трезвый ум: без Италии, самообучения на итальянских памятниках, знакомств и, наконец, саморекламы, он бы не состоялся как художник. В 1600 г. Гольтциусом на листе тонированной бумаги была нарисована собственная эмблема, включившая в себя голову Серафима и солнце, находящиеся над Кадуцеем – символом Меркурия (Вена, Альбертина). По справедливому замечанию К. Мюллера, художник сам представил здесь две основные сферы своей деятельности – художественную и коммерческую⁵, показывающие обе грани его характера – творческую и практическую.

В творческом методе, композиции портретов Гольтциуса и стиле их выполнения традиция и интернациональные влияния вступают в разнородные взаимодействия и эволюционируют. Свои произведения художник выполнял в различных материалах и техниках, отдавая предпочтения на определенных этапах своей жизни одним из них.

Демонстрация художественной и технической виртуозности, свойственная искусству рубежа XVI – XVII столетий, привела к широкому распространению рисунка, в первую очередь, портретного, который постепенно из подготовительного материала превращался в обладающее самостоятельной ценностью произведение. Наиболее яркой и совершенной частью наследия Гольтциуса остаются его портретные рисунки, которые принесли славу мастеру как блестящему рисовальщику своего времени.

Первые рисунки Гольтциуса были выполнены металлическим штифтом. В последней четверти XVI столетия такая техника являлась уже своего рода “рудиментом”. Она фактически закончила свое существование в работах Дюрера, а с 1530-х годов в Европе получили широкое распространение рисунки, выполненные мелом, углем и кистью. Один из исследователей творчества Гольтциуса, посвятивший его рисункам обстоятельную монографию, Е. Резничек, расценивал факт использования мастером техники металлического штифта на исходе XVI в. как дань семейной традиции, в которой Гольтциус следовал за бывшими также художниками отцом, дедом и прадедом, или как намеренное и подчеркнутое желание следовать работам Дюрера. Несомненно, для Гольтциуса была важна связь с семейным ремеслом и он не мог не подражать, по крайней мере на начальном этапе, манере работы отца, Яна Гольтца II. Однако, как кажется, последнее обстоятельство имело гораздо более важное значение, особенно в свете художественных вкусов того времени. Дюрер на Севере считался кумиром и непревзойденным по мастерству художником, его произведения во второй половине XVI столетия стали образцом для подражания и копирования, предметом собирательства и подделки, особенно это касается графики мастера; появились даже заказывавшиеся антикварами “легальные” копии с работ Дюрера, в частности, “профессионалом” в этом деле в Нюрнберге считался художник Ганс Хоффманн⁶.

Распространившееся по всей Европе влияние великого предшественника обнаруживает себя на одном из ранних рисунков Гольтциуса металлическим штифтом – портрете Яна Гольтца II (1579, Копенгаген, Государственный музей искусств). Портрет был почти зеркальным отражением живописи Дюрера с изображением Св. Иеронима (1521, Лиссабон, Национальный музей античного искусства) и обнаружил технические заимствования с его гравюр. Это относительно ранний (Гольтциус выполнил его в 21 год), видимо, натуральный набросок, уже сделан уверенной рукой мастера, которая сначала четкой линией обвела контуры лица, потом наметила волосы и выделила штриховкой тени.

Интересно, что манера выполнения рисунка и его композиция по степени внимательности к отдельным деталям напоминает рисованный автопортрет Леонардо да Винчи (ок. 1512, Турин, Королевская библиотека), с той лишь разницей, что последний выполнен в сангине и обладает большим обобщением, раскованностью, внутренней психологической силой. Конечно, вряд ли Гольтциус знал этот рисунок мастера итальянского Возрождения, но воз-

можно, видел произведения итальянских мастеров, выполненных под воздействием манеры да Винчи.

Техническое совершенство обнаруживают два рисунка, исполненные в том же материале: портреты родителей жены Гольтциуса – Яна Бертца и Элизабет Ватерланд (ок. 1580, Роттердам, Музей Бойманс ван Бёнинген), на примере которых можно проследить дальнейшее развитие мастерства работы со штифтом. Композиции объединены общим источником света, падающего слева, и с этой стороны контуры лиц намечены пунктиром, остальная часть рисунка, обладающая обилием деталей, довольно четко проработана свинцовым карандашом. Эти портреты были задуманы как самостоятельные произведения искусства, поэтому в них, в отличие от предыдущего наброска, тщательно прорисованы все детали головы и одежды. По определению Е. Резничека, тень в портретах, как в произведениях Дюрера, наложена серебряным штифтом, но появились и некоторые новые свойства в исполнении графических листов. Так, в нескольких местах, на волосах головы и бороды в мужском изображении и на чепце в женском, Гольтциус соскабливает острым инструментом верхний желто-коричневый грунт, что позволяет появиться на поверхности лежащему под ним белому⁷. Такой метод “оживляет” произведения, придает им впечатление натурности, приносит наглядное ощущение телесности и жизнеподобия изображениям. Он же свидетельствует о многосторонних знаниях Гольтциуса возможностей работы со штифтом и его творческой фантазии.

Уже в технике ранних рисунков мастера можно наблюдать и обращение к старым традициям, и введение собственных экспериментов, подтверждающих свободное владение материалом. Гольтциусу, как художнику органично связанному с заальпийским искусством и пока так мало знавшим итальянское, по духу была близка техника рисования свинцовым и серебряным карандашом, требующая усидчивости, внимательности, тщательности в проработке деталей.

Приблизительно с начала 1580-х годов технические возможности рисунков Гольтциуса, пока также выполненных при помощи металлического штифта, значительно увеличиваются, работа совершенствуется, приобретает более сложный характер. Доказательством этому служит портрет ученика и приемного сына художника Якоба Матама в возрасте 13 лет (ок. 1585, Харлем, Музей Тайлер). Несмотря даже на то, что рисунок не закончен и проработаны только голова и рукав, уже по этим деталям можно судить о техническом совершенстве произведения. Законченные части работы создают впечатление уже не рисунка, а почти гризайльной живописи за счет насыщенной штриховки, близко положенные линии которой показывают разную интенсивность и дают градации полутонов. В портретах Петруса Форестуса (ок. 1586, Харлем, Музей Тайлер) и мужчины с длинной бородой (1580-е, Амстердам, Рейксмузеум) художник с легкостью и непосредственностью, свойственным сделанной с натуры работе, создает впечатление материаль-

ности, осязаемости и живости моделей, фактурный контраст между лицом, бородой, мехом и одеждой.

В этих работах он скорее руководствуется впечатлениями от реальности, чем ориентируется на чью-то манеру рисования. О противоположном свидетельствует творческий метод мастера. Так, портрет Петруса Форестуса служил подготовительной штудией к гравюре 1586 г. Типичным для таких листов у художника будет подробная проработка головы и лишь в нескольких штрихах намеченные контуры костюма и заднего плана. Такой же формой работы пользовались и мастера французского карандашного портрета XVI в. и немецкий портретист Ганс Гольбейн Младший, разница состояла лишь в выборе материалов рисунка. Но и она оправдана. Как Гольбейн, так и французские художники использовали мягкие материалы для подготовительной штудии к живописи, тогда как итогом работы Гольтциуса, взявшего в руки жесткий свинцовый карандаш, была гравюра. Подобный способ применялся Гольтциусом для точного композиционного определения местоположения и поворота головы, то, что, вероятно, на ранних этапах создавало ему определенные сложности, а все остальное он мог гравировать сразу на металлической пластине без подготовительного рисунка. Этим фактом должна объясняться схематичность и иногда даже некоторая скованность фигур на гравюрах.

После поездки в Италию (1590–1591) техника работы с металлическим штифтом претерпевает существенные изменения. В штудии к двум фигурам людей, рассматривающих статую Геркулеса Фарнезского (ок. 1600, Амстердам, Рейксмузеум; возможно, портреты Яна Матеуса Бана и Филиппа ван Винге⁸), в тенях появляется быстрый, мягкий и широкий штрих, придающий легкость светотеневой моделировке, напоминающий технику работы с цветными мелками, которой художник увлекался со времени посещения Италии. Эти трансформации в мастерстве, согласно Е. Резничеку, зависят также и от изменения качества материалов для рисования: Гольтциус начинает использовать шероховатые листы бумаги и штихель с притупленным острием⁹.

Однако начиная с 1590-х годов рисунки штифтом редки, Гольтциус отдается другим техникам, позволяющим достичь большего раскрепощения и живописного впечатления в рисунке, но никогда окончательно не порывает с излюбленным севером металлическим карандашом, достигая в поздних работах особой рафинированности и некоторой манерности в работе с этим материалом. Его автопортрет (1615, Амстердам, Рейксмузеум) может удивить зрителя своей технической точностью, крепкостью линий, свидетельствующих о верности глаза уже старого художника. Лицо почтенного возраста мастера, мельчайшие морщины, еще полные энергии глаза, волосы, детали костюма проработаны в мельчайших подробностях. Возможно, при работе над произведением он использовал увеличительное стекло¹⁰.

Но после путешествия на юг художник меняет приоритеты в выборе материалов: он отдает предпочтение цветным мелкам. Первая проба ра-

боты в этом материале появляется еще в 1588 г. при выполнении портрета Гиллиса ван Бреена (Амстердам, Рейксмузеум). Техника работы над ним имеет и интернациональный, и специфически нидерландский характер. В листе ощущается влияние французского рисунка, главным образом таких мастеров последней трети XVI столетия, как Франсуа Кенель, Этьен и Пьер Дюмустье, что выражается в эскизности и импульсивности широких и размашистых штрихов, контрастной светотени, мягких тенях, превращающихся в живописное пятно, рисунке, который служит средством доказательств жизнеспособности и энергичности модели. Неизвестно, был ли знаком Гольтциус с произведениями своих современников, но подобные рисунки имели хождение в Нидерландах, тем более что и фламандские художники, тесно взаимодействуя с французскими коллегами, создали собственную школу карандашного портрета, одним из представителей которой являлся Франс Поурбус Старший. Возможно, эта зависимость явилась следствием общения с придворным мастером Рудольфа II, нидерландцем Бартоломеусом Спрангером, оказавшем существенное влияние на Гольтциуса в том числе и тем, что сам в юности увлекался копированием французских произведений. Но в первом листе способности Гольтциуса еще не развернулись в полную силу, в технике работы с цветными мелками он еще близок к формам, создаваемым штифтом, о чем свидетельствует некоторая осторожность в применении средств цветного карандаша, отразившаяся в некоторой сухости и скованности в произведении.

Путешествие по Италии дало возможность Гольтциусу лучше освоиться в применении цветных мелков. Во время поездки именно эту технику он использовал для большинства своих зарисовок, и эти упорные упражнения помогли художнику достичь необычайного мастерства. В Италии он попадает также под влияние Таддео и Федерико Цуккарро¹¹, но в его работах остается элегантность французского рисунка, усиливается моделировка формы, возникает интерес к тонированию. В целом для работ этого времени характерно совмещение “северной” скрупулезности и точности с итальянской и французской легкостью и свободой линий, при равновесии сосуществования или преобладания того или другого.

Во время путешествия были исполнены изображения Джованни Болоньи (1591, Харлем, Музей Тайлер), погрудные портрет сидящего мужчины (1591, Берлин, Гос. музей), портрет мужчины из Бостонского музея (1590–1591). Образы, обладающие на первый взгляд итальянской обобщенностью и монументальностью, сделанные не без влияния Ф.Цуккарро, при более внимательном рассмотрении показывают все ту же свойственную Гольтциусу в некоторых портретах натуралистически точную доскональность прорисовки головы, кропотливую детализацию мелких черт лица, вызывающую ассоциации с манерой рисования штифтом.

В изображении 22-летнего Якоба Матама (Вена, Альбертина) ощутима большая техническая свобода. Несмотря на то, что Гольтциус сохраняет лю-

бовь к детали, подробностям, интерес к линии, он уже как будто не рисует мелом, а пишет им, создавая живописное впечатление от произведения. А с 1600 г. внимание к тональному пятну в рисунке уже преобладает. Рисуя мелком автопортрет (1592–1594, Вена, Альбертина), портрет Пальмы Старшего (1603, Берлин, Гос. музей), мастер растирает в некоторых местах штрихи. В портрете Пальмы Старшего итальянские черты преобладают над северными. Он исполнен в два цвета, сангиной и углем, и с помощью этих материалов художнику удалось передать текстуру лица и волос, продемонстрировать богатые возможности цветовой и тональной передачи, представляя контраст черной бороды и волос с почти белым, тонированным сангиной лицом и светлым костюмом.

Как рисовальщик Гольтциус использовал и традиционный для Нидерландов и Германии XV–XVI вв. инструмент – перо. Такие его великие предшественники, как М. Шонгауэр, А. Дюрер, Лука Лейденский, оставили после себя много рисунков в этой технике, в которых они, как правило, подражали гравюру. Эта техника становится очень популярной в северной Европе особенно после 1570 г., и на первый план в оценке подобных вещей ставится виртуозность владения художником материалом. В Нидерландах в конце XVI столетия одним из лучших мастеров, работавших в этой технике, кроме братьев Вирикс, был Гольтциус.

Интересным аспектом в употреблении Гольтциусом этой техники был некоторый архаизм, который выражался в обращении к произведениям А. Дюрера и Лука Лейденского. При этом Гольтциус не становился эпигоном, поскольку отнюдь не копировал работы предшественников, а только подражал их манере исполнения, использовал их стиль, графические средства выражения, не пытаясь в деталях соответствовать имитируемым работам. Фантазия всегда играла важнейшую роль в художественном подходе Гольтциуса, и самостоятельные произведения мастера, будучи своего рода подделками, но не копиями, также являлись одной из форм необузданной фантазии Гольтциуса.

Однако Гольтциус ориентировался не только на северных мастеров. Он часто использовал широкое перо, как тициановские последователи, создавая с его помощью выразительную светотеневую игру. Этот “венецианский” способ также “прижился” в творческом методе художника¹².

“Североевропейская” и “венецианская” манеры, как правило, сосуществовали в работах мастера, создавая неповторимость его собственного художественного языка (“Человек у балюстрады”, Стокгольм, Национальный музей, “Неравная пара”, 1596, Берлин, Гос. музей; “Мужской портрет в стиле Луки Лейденского”, 1607, частное собрание¹³). Подобные стилистические метаморфозы мастера подтверждает и текст К. ван Мандера, неоднократно отмечавшего, что Гольтциус был способен принаравливаться ко всякому стилю, подражать ряду предшественников и современников, как каждому в отдельности, так и нескольким сразу, не опускаясь при этом до уровня про-

Сравнение подготовительного рисунка к гравюре с окончательным вариантом решается в пользу наброска, делавшегося с натуры, а не по памяти в мастерской (рисованный портрет Петруса Форестуса к гравюре 1586 г.).

В некоторых гравированных произведениях зрелого периода появляется интерес художника к демонстрации свойств материальности ткани, изображенной под разными ракурсами, что можно видеть в листе со знаменитым “Знаменосцем” (1589). Темное знамя контрастирует с небом и способствует выделению и подчеркиванию отдельных деталей костюма. Особенно удачной получилась фактура знамени на уровне колен мужской фигуры. Такой живописности и кажущейся “цветности” материала мастер достигает посредством рафинированной гравировки, варьируя расстояние между штрихами, которая дает нюансированный светотеневой эффект.

В гравюре художник мог при желании подражать старым мастерам, зачастую делая подобные листы ради шутки. По свидетельству К. ван Мандера, Гольтциус создал в манере Дюрера композицию “Обрезание” (1597) с автопортретом на заднем плане, выжег на листе углем то место, где была его монограмма, и вывесил произведение в лавке на продажу. Устроившись неподалеку, мастер мог слышать мнение посетителей и искренне радовался тому, что покупатели восхваляли в его работе мастерство знаменитого немца¹⁶. Однако эта работа, которая, по меткому выражению К. Мюллера, стала “мастерской гравюрой” Гольтциуса¹⁷, не характеризует художника как эпилгона. Буквального повторения нет ни в композиции, ни в фигурах, Гольтциус только попытался передать “дюреровскую” манеру. При этом, как было отмечено Х. Лифланг, композиция центральной части “Обрезания” напоминала гравюру “Поклонение волхвов” Луки Лейденского (1513)¹⁸, что свидетельствовало о вариативном комбинировании и синтезе в собственном искусстве отдельных “подсмотренных” у других мастеров деталей, а не о слепом заимствовании.

Также К. ван Мандер сообщает, что в 1600 г., уже после четверти века своей художественной деятельности, Гольтциус вдруг взялся за живопись, хотя раньше ей совсем не уделял внимания, не считая нескольких попыток рисования красками на стекле, чему он научился у отца – профессионала в этом деле. Переключившись на живопись, мастер оставил работу над гравюрами¹⁹. Причиной этого, по всей видимости, была искалеченная в детстве рука художника, которая отказывалась к старости проводить точные линии резцом. Неожиданное обращение Гольтциуса к живописи, вероятно, было вызвано и стремлением воспроизводить действительность более натурально. Гольтциус тяготел к крупным форматам. У О. Хиршмана есть указание на мнение харлемских художников, которые считали, что фигуры, изображенные в полный рост, производят впечатление большей натуральности и выразительности²⁰. Наконец, нужно отметить, что на протяжении творческого пути Гольтциуса происходит своеобразная эволюция в выборе материалов и их использовании, ведущая его произведения от графичности и линейности к живописности и тональным отношениям.

В действительности же художник в живописи не достиг тех высот, как в гравюрах и рисунках. Плачевным фактом остается и то обстоятельство, что нам известно мало его живописных портретов, о некоторых из них, бесследно исчезнувших, мы можем узнать лишь по упоминаниям в протоколах старых аукционов²¹. Из сохранившихся в подлиннике особенно интересен “Портрет собирателя раковин” Яна Говертсена (1603, Роттердам, Музей Бойманс ван Бёнинген), в котором художник во многом ориентировался на нидерландских портретистов второй половины XVI столетия, и в первую очередь на Антониса Мора. Унаследованное от рисунков внимание к детали и стремление к передаче фактуры соединяются в этом произведении, написанном в темной тональности, на котором особенно ярко выделяются светлое лицо модели и цветные пятна экзотических раковин на столе, с использованием валеров, смягчающих резкие контрасты. Известно, что современники высоко ценили Гольтциуса как живописца и считали его одним из ведущих мастеров в этой области²². Однако, как кажется, он не был хорошим колористом, используя “жесткие” и не совсем совместимые сочетания ярких цветов, чего, к счастью, не случилось в портрете Говертсена. К.С. Егорова отметила также, что ряд поздних живописных работ мастера отличается попросту “грубым прозаизмом”²³.

Широкое типологическое разнообразие портретов Гольтциуса позволяет нам говорить о них отдельно. Художник использует портретные формы, распространенные в XVI в., но, не довольствуясь популярными схемами, переформирует их, давая импульсы некоторым типам изображения, бытовавшим в творчестве следующего поколения художников. В целом же мастер оставался внутри маньеристической портретной иконографии, распространенной по всей Европе, в основном его работы показывали лишь то, что Л.О. Ларсон назвал “вариациями в схеме”²⁴.

Традиционными для конца XVI в. были два портретных типа, используемые как основа и варьируемые Гольтциусом. Это поясной или поколенный портрет в прямоугольном формате, с указанием на характер деятельности изображенного с помощью атрибутов: схема, появившаяся еще у немецких и нидерландских художников в первой половине XVI столетия (А. Дюрер, Г. Гольбейн Младший, К. Массейс и др.) и распространившаяся по Европе. Вторым источником был погрудный портрет в круглом или овальном медальоне, ведущий начало от итальянских медальерных изображений XV в. (Пизанелло) и ставший особенно популярным в немецкой и нидерландской гравюре XVI столетия. Но Гольтциус, зачастую обращаясь к названным выше схемам, вырабатывает уже в период своего раннего творчества различные их модификации.

Что касается первого варианта, то он часто употреблялся в гравюрах мастера. О. Хиршманн ведет происхождение этого типа у Гольтциуса от произведений Иеронима Кока²⁵, на печатный дом которого художник и работает как гравёр. В портрете Филиппа Галле (1582), гравёра, гуманиста,

после смерти Кока, основателя издательства в Антверпене, и, наконец, друга Гольтциуса, художник дает вариант “профессионального” изображения. Галле стоит у стола, обращая внимание зрителя на лист с гравюрой и резцы на столе, протянув к инструментам левую руку. Угол, по-видимому, балкона отделяет портретируемого от пейзажа со сценкой крещения мавров апостолом Филиппом, святым патроном гравера. Характерный для композиций маньеризма “пространственный скачок” приводит к большой разнице между фигурой на первом плане и мелким ландшафтом. Горизонт довольно низкий, что, несомненно, способствует усилению значительности образа. Изображаемый позирует и, позируя, хочет казаться важнее. Замечателен в этой связи факт, подчеркиваемый О. Хиршманном, что для придания большего статуса модели Гольтциус даже задрапировал ее в широкий плащ, подобно античной тоге. Такой же способ идеализации очевиден в немного более ранних портретах Кока²⁶.

Первая схема, применяемая наиболее часто Гольтциусом в гравюрах, достаточно редко встречалась в рисованных изображениях. Очевидно, рисунок в большинстве случаев служил мастеру подготовительным материалом для быстрой фиксации натуры с акцентированием внимания на лице, тогда как детали костюма и антураж могли быть созданы по памяти или даже сфантазированы в итоговом произведении. Только “самоценный” рисунок мог соответствовать данному типу. Наиболее выразительным образцом здесь оказывается автопортрет из Британского музея, где художник изобразил себя перед высоким столиком на фоне стены, держащим лист бумаги и металлический штифт – похоже, что Гольтциус ориентировался на живописный автопортрет Антониса Мора (1558, Флоренция, Уффици). Контрастный разворот фигуры и головы указывает на попытку передать впечатление мгновенности взгляда мастера, только что оторвавшегося от работы и одновременно демонстрирующего нам атрибуты своего искусства, хотя в позе и чувствуется некоторая неловкость.

Живописный вариант к первому типу – портрет Яна Говертсена, сидящего за столом, на котором в естественном беспорядке разбросаны предметы его увлечения – разной формы, размеров и окраски диковинные раковины.

Уже в конце 1570-х годов мастер пробует гравировать свои маленькие портреты в медальонах, в форме, снискавшей в то время в Нидерландах необычайную популярность. Такой вид был любим местными бюргерами очевидно потому, что он походил на медальерные образы, на которых удостоивались чести изображаться только король и его приближенные. Братья Вирикс очень часто использовали изображения в медальонах для своих изданий, где бюст портретируемого, вписанный в круг или овал, помещался на белом или темном нейтральном фоне; иногда графическими средствами за фигурой мастера показывали подобие нишевого углубления. По требованию заказчика контуры обрамлялись полями с надписью.

Нас не должно смущать то, что некоторые подобные портреты руки Гольтциуса являют нам надпись в зеркальном отображении – это стало след-

ствием пробного отпечатывания на бумаге изображений с серебряных или золотых медальонов, также изготавливаемых Гольтциусом, которые, будучи сродни медалям (в отличие от медалей, они не отливались, изображение гравировалось на подготовленной пластине) и ювелирному искусству, носились владельцем на плаще как брошь. Иногда на обратной стороне металлической пластинки помещался фамильный герб²⁷.

Гольтциус использовал все вариации схемы, создавал свои и вносил новые качества. Простейшим следованием распространенному типу был портрет Гиллиса ван Бреена (1579) на белом фоне без надписи. Интересом к эксперименту уже отличается медальон с изображением Адриана ван Свитена (1579), где внутри овального поля, сбоку от портретируемого, гравирован герб. В некоторых случаях художник пытается в рамках этой схемы поместить портретируемого в пейзажную или городскую среду, о чем свидетельствует портрет Яна ван Брокховена (1579), где рядом с мужчиной на стене висит герб, а за ним виден угол окна с далеким ландшафтом, а также портрет Франца Шаттера (1581), показанного темным силуэтом на светлом фоне перед панорамой рыночной площади с ратушей. В этом приеме ощутимо стремление мастера открыть пространство заднего плана в маленьком и замкнутом формате медальона, раздвинуть его узкие рамки.

От произведений братьев Вирикс, бывших в то время главными конкурентами художника в этом направлении, портреты Гольтциуса отличает большая естественность поз и попытка активного освоения пространства фигурой внутри тесного медальона. Модели Гольтциуса находятся в свободном трехчетвертном развороте, за их спиной чувствуется воздух, в то время как фигуры на изображениях Вирикс скованы в движении и, как кажется, “прижаты” к стене. В некоторых портретах Гольтциус стремится выйти за пределы картинного пространства, как бы приблизить портретируемого к зрителю, будто заставить контактировать их друг с другом: появляется ряд медальонов, где надпись обрезана и ее часть скрывается за плечами модели (Портрет Геласиуса, 1580).

В отличие от миниатюрных, портретные медальоны больших размеров часто вписывались в квадрат или в прямоугольник, иногда даже в целую аллегорическую композицию. Такой вариант оставался типичным для Северного Возрождения и маньеризма. Одной из самых ранних гравюр подобного рода у Гольтциуса был портрет Яна Гольца II (1578). Круглый медальон с погрудным изображением отца мастера вписан в прямоугольник, включающий в себя надпись. Бюст объемен и выходит за рамки ограниченного кругом пространства, он напоминает скульптурные головы пророков из “Райских врат” Флорентийского баптистерия Л. Гиберти (1424–1452).

К тому же типу принадлежит и портрет учителя Гольтциуса – гравера, гуманистически образованного нотариуса, литератора и публициста Дирка Корнхерта (1591). Художник усложняет композицию в прямоугольнике вокруг медальона, показав атрибуты и инструменты музыкального и изобразительного

искусства, литературы, коммерции, а также оружие с перчатками, свидетельствующие о принадлежности портретируемого к дворянскому сословию.

Нередко подобный композиционный вариант можно найти и в рисунках: в портретах родителей жены Гольтциуса, изображенных на фоне пейзажа, а также в автопортретах из Берлина и Вены.

Новой схемой, широко применяемой Гольтциусом, является совмещение двух вышеуказанных типов – портрета в овале и в прямоугольнике. Характерная для последнего распространенная композиция, где человек показан с атрибутами своей деятельности, вписывается в овал, который, в свою очередь, помещается в центр вертикального листа. Одними из ранних подобных изображений являются портреты Меркатора (1574), географа, представленного в медальоне с глобусом и циркулем, Яна ван Хессена (1578), сидящего за столом и сочиняющего письмо, и военного Яна ван Дювенвоорде (1579), поза которого заставляет вспомнить о портрете Вильгельма Оранского кисти Антониса Мора (1555–1556, Кассель, художественное собрание) – одной рукой полковник оперся на меч, а вторую положил на пояс, он изображен в парадном костюме на фоне далеко простирающегося морского пейзажа с кораблями на низком горизонте, свидетельствующего о батальных заслугах Дювервоорде и дающего возможность подчеркнуть значительность персонажа.

Еще один тип композиции, зачастую используемый Гольтциусом в графике – это изображение в полный рост, как правило, солдат, офицеров и знаменосцев. Большинство таких работ исполнены в технике гравюры (“Знаменосец”, 1589; Портрет Станислава Собески, 1583). Здесь сильно проявила себя маньеристическая основа творчества художника и меньше всего преследовалась им цель подражания натуре. Удлиненные, изгибающиеся фигуры, как у Пармиджанино или Б. Спрангера в причудливо-элегантных позах, облачены в парадные роскошные костюмы: модели откровенно позируют перед зрителем. Но в выразительности образа “Знаменосца”, в его эффектном развороте, можно уловить уже привкус искусства предстоящей эпохи.

Следует выделить портреты, которые мастер включает в многофигурные композиции. К ним относятся автопортреты в гравюре – “Обрезание”, живописи – “Аллегория Алхимии” (1611, Базель, Художественное собрание) и перьевом рисунке на холсте – “Вакх, Венера и Церера”. Художник всегда смотрит прямо на зрителя, чем привлекает к себе внимание и вводит зрителя в изображенное действие. Как кажется, автопортретные черты имеет сидящий за столом в центре персонаж из гравюры “Пир Лукреции” (ок. 1578–1580), композиции, как будто предвосхищающей “Тайную вечерю” Я.Тинторетто из венецианской церкви Сан Джорджо Маджоре (1592–1594), он и находится в том месте, где итальянский художник изобразит Христа. Однако в подготовительном рисунке к гравюре (ок. 1578–1580, Брауншвейг, Музей герцога Антона Ульриха) лицо этого человека не прорисовано, а его взгляд в итоговой работе не ищет контактов со зрителем – возможно, Гольтциус машинально придал ему черты сходства со своим лицом.

В композициях “Геркулес Фарнезский” (1592) и “Аполлон Бельведерский” (1592) главной целью Гольтциуса было передать свое искусное умение не столько в создании гравюры с античной скульптуры, сколько в возможности воссоздать памятник в сложном ракурсе. Две портретных головы, находящиеся на уровне глаз зрителя в “Геркулесе”, помогли художнику подчеркнуть величие огромной фигуры мифологического божества и связать античный миф с современностью – а это уже тема для мастеров XVII столетия. Очень похожий композиционный тип, ярко выражающий маньеристическую схему, сочетающую разнородные планы, встречается в живописи Б.Спрангера в “Эпитафии золотых дел мастера Николауса Мюллера” (ок. 1590, Прага, Национальная галерея).

Портретные композиции в “Геркулесе” и “Аполлоне” уже несколько напоминают жанровые произведения, но признаки жанра наиболее ярко проявили себя в гравюре с портретом Федерика де Вриса (1593), где на фоне дерева представлен ребенок, забавляющийся с собакой и голубем. Однако попытка “занять” модель еще не приводит к свободе и естественности действия – заявляет о себе скованность, неуверенность и некоторая “неуклюжесть” изображения. Композиция распадается на отдельные элементы, не совмещенные между собой. Между тем произведение Гольтциуса явилось фактически зеркальным отражением детского гравированного “Портрета Иоанна Фридриха на коне”, выполненного Лукасом Кранахом Старшим (1506). Но изображение Кранаха демонстрирует княжеское величие юного курфюрста, а Гольтциус снижает репрезентативность до детской игры: вместо коня, на котором сидит Иоанн Фридрих, мальчик пытается оседлать собаку; приветственный жест поднятой руки сменяется поднятой рукой, крепко схватившей пытающуюся улететь птицу; несмотря на возраст, взгляд Иоанна Фридриха вряд ли можно назвать “наивным”, а живые и наивные глаза ребенка у Гольтциуса выражают детское простодушие.

Переходная эпоха сказывается в появлении еще одной формы – фантазийных портретов – вымышленных образах, наделенных некоторыми конкретными чертами, набросках, которые, возможно, сделаны с натуры, но в ходе работы подверглись сильной идеализации. Выполненные мелом листы с изображением девушек (“Юная дама, читающая книгу”, 1605, Берлин, Гос. музей; “Женский портрет”, Амстердам, Рейксмузеум), некоторые фантазийные портреты, сделанные в чьей-либо манере (“Штудия юноши в стиле Л. Лейденского”, 1599, Лондон, Национальный музей; “Портрет ученого в стиле Л. Лейденского”, Харлем, Музей Тайлера), не позволяют догадываться, являются ли эти произведения плодом воображения или же отражением внешности реального человека. Так, Е.Резничек затрудняется определить, является ли персонаж, изображенный в “Портрете в стиле Луки Лейденского” 1607 г., вымышленным или историческим, так как образ имеет в себе множество как нереальных реминисценций, так и натуральности, выразившейся в таких подробностях, как бородавки на носу и под глазами. Автор приходит к выводу, что изображен портрет конкретного, но неизвестного

нам человека. Более того, есть свидетельство, что Гольтциус рисовал серию подобных изображений с харлемских бюргеров²⁸.

Все портреты Гольтциуса укладывались в рамки маньеристической схемы. Чаще всего – это человек, изображенный с разнонаправленным положением головы и туловища, причем корпус показан в полупрофиль, а голова – в фас, что почти всегда вызывает ощущение некоторого неудобства позы модели. Вероятно, подобная постановка является следствием стремления художника передать мимолетность движения и непосредственность действия, но положение модели часто приобретает застылые формы. Многие портретируемые смотрят на зрителя пронизывающим его взглядом – холодным, серьезным, острым и беспристрастным. С точностью передается портретное сходство; как правило, можно судить о социальном статусе этих людей или роде их занятий, но сложно догадаться о характере или психологическом состоянии. На род их деятельности, интересов, указывали костюм, антураж, атрибуты. Подобные каноны для портретирования использовались в середине – конце XVI столетия многими европейскими художниками. В Италии есть похожие образцы уже у Бронзино (“Портрет юноши”, 1530–1532, Нью-Йорк, Музей Метрополитен), Сальвиати (“Портрет дворянина с письмом”, после 1543, Флоренция, Уффици, “Автопортрет”, 1550-е, там же), Морони (“Портрет адвоката”, 1560-е, Лондон, Национальная галерея, “Портрет Пьетро Секко Суардо”, Флоренция, Уффици); в Нидерландах у Я. ван Скореля, М. ван Хемскерка (“Портрет Питера Биккера (?)”, 1529, Амстердам, Рейксмузеум), А. Мора, Ф. Флориса (“Портрет сокольничего”, Брауншвейг, Музей герцога Антона Ульриха), Н. Нейштателя (работавшего в Нюрнберге портретиста, но нидерландца по происхождению). Особую популярность схема приобретает в позднем маньеризме у “рудольфинцев” в живописных портретах Б. Спрангера, Й. Хейнтца Старшего (“Портрет эрцгерцогини Констанции”, 1606, Вена, Музей истории искусства), а также в скульптурных бюстах Рудольфа II работы А. де Вриса (1603 и 1607, Вена, Музей истории искусств).

Важной целью сейчас для художника была, как и для большинства мастеров маньеризма, демонстрация своего художественного мастерства и виртуозного им владения. Мастеру присущи педантичность, претенциозность и некоторая каллиграфичность. Достаточно редко можно увидеть в работах Гольтциуса намек на какое-либо психологическое состояние героев. Одним из таких исключений является рисованный портрет Петруса Форестуса с прищуренными глазами, которыми он мягко, с интересом смотрит на зрителя и чуть улыбающимся, немного приоткрытым ртом, будто Форестус имеет желание что-то сказать. О карандашном портрете Яна Говертсена (1606, Харлем, Музей Тайлер) Е. Резничек упоминал как об одухотворенном, экспрессивном и сильно моделированном рисунке, вызывающем ассоциации с работами Л. Бернини²⁹. Между тем и в живописном портрете “собирателя раковин”, написанном тремя годами раньше, есть новые тенденции, напоминающие интимный барочный портрет и предвосхищающие зрелые про-

изведения Ф.Хальса. Говертсен как будто раскачивается на стуле, у него небрежно расстегнут воротник, чуть всклокочены волосы – он не скрывает свою естественную натуру. Его покрытое морщинами лицо выглядит усталым, усталость отражается и в его глазах, но его губы приоткрыты – он будто вступает в диалог со зрителем, показывая ему одну из самых крупных раковин своей коллекции. Однако впечатлению полной раскованности “мешает” увлечение деталями, ограничивающими свободу действия.

О новых веяниях свидетельствует ряд портретов, в которых мастер стремится передать мгновенность происходящего, вместе с тем выводит портретируемого на контакт со зрителем. Гравюры с портретами Юстуса Липсуса (1587) и Йохануса Цуренуса (1588) дают этому наглядный пример. Изображенные на этих листах вдруг оторвались от книг и очень живо посмотрели на зрителя как на собеседника: возникает эффект присутствия. Притягивающий взгляд отличает их от сделанного раньше портрета Яна ван Хессена (1575), на котором он, отвлекшись от письма и будто задумавшись, смотрит в сторону, что характерно для произведений Северного Возрождения. В фантазийных женских портретах Гольтциус, обращаясь к природе, забывает об экстравагантной фантазии, вычурности и маньеристических эффектах; эти работы отличаются непосредственностью восприятия, камерностью и интимностью, что станет одним из основных качеств барочного портрета.

Дух переменчивой эпохи отразился и в автопортретах мастера. Глубокие внутренние связи с культурой маньеризма имеет композиция “Аллегория алхимии”. Рубеж веков был ознаменован особым интересом к мистическим течениям, поисками “философского камня”, с помощью которого надеялись получить не только и не столько золото, сколько ключ к гармонии мира, чтобы преодолеть антагонизм, характерный для культуры и искусства эпохи, совместить реальное и фантастическое, научное и сверхъестественное. Свидетельствуя о своем увлечении, Гольтциус изобразил себя среди аллегорических фигур, в свободном общении с ними, расположившимися вокруг монарха, простирающего к ним руки. Однако, по мнению О. Хиршмана, Гольтциус скорее делает пародию на алхимию, чем прославляет ее, поскольку сам стал жертвой обмана шарлатана-алхимика³⁰.

Рисованный автопортрет Гольтциуса (в 1974 г. принадлежал лондонской галерее Рафаэля Вела³¹), где художник изобразил себя в круглом медальоне как в зеркале, напряженно всматривающимся в мир, напоминает автопортрет Пармиджанино (1521, Вена, Музей истории искусств); некоторую схожесть можно обнаружить и в позднем автопортрете 1615 г. из Берлина. Формат и ощущение его выпуклости отсылают к круглым выдувным зеркалам этого времени, а зеркало становится предметом художественного интереса в маньеризме, часто появляясь в живописных работах европейских мастеров. Отмечая увлеченность этим предметом человека эпохи маньеризма, Г.Р. Хоке говорит о своеобразной мистификации зеркала, способного совместить в себе существующее и несуществующее, создающего галлюцинации, напоми-

нающего своим отражением о скоротечности времени³². Изображение сложно уловимого и деформирующегося отображения в выпуклом зеркале – это и попытка мастеров продемонстрировать свою техническую виртуозность, что и пытался сделать юный Пармиджанино. Не хотел ли Гольтциус своими поздними автопортретами подвести некий итог, представляя зрителю свой образ и достигнутое им мастерство, “сетуя” на старость и уходящие силы, всматриваясь в себя, в свое будущее, и в будущее искусства?

* * *

На одном из московских аукционов в 2002 г. на продажу были выставлены парные портреты – мужской и женский – неизвестного мастера нидерландского происхождения, датированные началом XVII в.³³ По композиции и стилю (несмотря на записи карнации, сделанные в XIX–XX вв., к счастью, полупрозрачные) эти работы укладываются в рамки искусства рубежа XVI – XVII столетий. На досках небольшого формата даны почти оплечные фигуры (возможно, обрезанные), с контрастным разворотом головы по отношению к туловищу. В изображениях прослеживается попытка передать естественность состояния, хотя в формах еще и ощущается некоторая неловкость. Портреты контрастно выделяются на темном фоне; лица, написанные полупрозрачными слоями краски, отличаются живописной легкостью и сплавленностью тонов, но одновременно и вниманием к конкретной детали. Женский портрет кажется более скованным. Голова дамы словно “зажата” в узкое пространство между воротником и чепцом. Портрет мужчины выглядит естественнее. Художник концентрируется на пронизательном взгляде, мелких морщинах вокруг чуть прищуренных глаз; он обращает внимание на внутреннее состояние модели: живость ума, жизненную активность и при этом и некоторую душевную усталость. Устремленный на зрителя, но как будто всматривающийся в самого себя взгляд изображенного, психологическая проникновенность образа, позволяют предположить его автопортретность: схожий по живописным качествам и композиции автопортрет принадлежит Б. Спрангеру (1580-е, Вена, Музей истории искусств). Сопоставление же мужского портрета и карандашного автопортрета Гольтциуса (1592–1594, Вена, Альбертина) обнаруживает несомненное композиционное и физиогномическое сходство: почти буквальное повторение в постановке и костюме, однотипность овала лица, формы глаз, носа и ушей. В живописном произведении художник выглядит старше, чем в карандашном портрете – лицо немного обрюзгло, борода обросла, глаза впали, в них появился оттенок скептицизма, – но моложе, чем в рисованном автопортрете 1615 г., что позволяет датировать это произведение первым десятилетием XVII в. Таким образом, если это произведение является автопортретом Гольтциуса, то парное к нему изображение – образ его супруги Маргариты Бартзен.

С одной стороны, физиогномическое сходство не доказывает принадлежность этой работы Гольтциусу. Это мог быть портрет мастера, выполненный другим художником, или же копия с его утерянного живописного или

рисованного произведения. Однако техника живописи, напоминающая об изображении Говертсена, проникновенный самоанализ, точность в отражении взгляда, по характеру близкого к венскому образу, обращенного к зрителю, но не замечающего его, позволяет настаивать на автопортретности, тогда как причину создания копии с автопортрета еще живого художника найти сложно.

Эти портреты свидетельствуют о восприятии Гольтциусом новых тенденций, связанных с XVII в., утверждая новый формат интимного изображения, своей самодостаточностью подчеркивая индивидуальность и сложность характеров. Постепенное смягчение контурности линий и работа живописным пятном, тяга к обобщению, воспринятая Гольтциусом из итальянского искусства, почти достигнутое им в этих работах ощущение естественности и живости восприятия фактуры, к которому он стремился на протяжении всей своей жизни – блеска глаз и губ, мягкости волос, прозрачности воротников – почти позволяет говорить о нем как о мастере эпохи барокко.

* * *

Но Гольтциуса нельзя назвать художником XVII столетия: он не был “реформатором” искусства, как Караваджо, или создателем “большого стиля”, как Рубенс, заявившие о себе еще при жизни мастера. Колебания, выражающиеся в технике, иконографии, стиле и внутреннем содержании его портретных произведений, связаны со сложностью переходного времени, с феноменом “искусства около 1600 года”. В его работах, в целом входящих в рамки стиля интернационального маньеризма, произошло совмещение черт северного и итальянского изобразительного искусства, причем заальпийские влияния больше обнаруживали себя в его ранних рисунках и гравюрах. Посещение Италии послужило своеобразным “проводником” художника в эпоху барокко, показав возможности для органичного синтеза местных и итальянских традиций.

Гольтциус заимствовал технику и иконографию у других художников, но, стремясь достигнуть высшей точки мастерства, никогда не был эпигоном, поскольку в его творчестве всегда доминировало собственное понимание изображения. Основываясь на типологии и увлекаясь формальными сторонами маньеризма, в конце жизни Гольтциус старается порвать с ними при помощи увлеченного обращения к природе, к ее индивидуальности и своеобразию, о чем свидетельствует и внушительное число автопортретов, явившихся впоследствии формой “самоизучения” многих художников XVII столетия.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Э. Панофский обозначил это явление как “просвечивание готического тела сквозь современную и стилизованную под античность одежду” (Цит. по: *Бялостоцкой Я.* Проблема маньеризма и нидерландская пейзажная живопись // Советское искусствознание. 1987. №22. С. 170.); согласно Г.Р. Хоке, сам маньеризм вырос на почве готического стиля (*Hoocke G.R.* Die Welt als Labirint. Manier und Manie in der Europäischen Kunst. Beitrage zur Ikonographie

und Formgeschichte der europäischen Kunst von 1520 bis 1650 und der Gegenwart. Hamburg, 1957. S. 12). Я. Бялостоцкий отметил в маньеризме тенденции, “подобные искусству средневековья”, которые сочетали “реализм предметов с формами, оторванными от природы, обстоятельность изображения – с отвлеченной формулой” (*Бялостоцкий Я.* Указ. соч. С. 170).

² *Бенеш О.* Искусство Северного возрождения: его связь с современными духовными и интеллектуальными течениями. М., 1973. С. 176; *Бялостоцкий Я.* Указ. соч. С. 170; *Тананаева Л.И.* Некоторые концепции маньеризма и изучение искусства Восточной Европы конца XVI и XVII века // Советское искусствознание. 1987. № 22. С. 127–128.

³ *Вунтер Б.Р.* Статьи об искусстве. М., 1970. С. 513–515.

⁴ *Мандер К. ван.* Книга о художниках. М.; Л. 1940. С. 299–313.

⁵ *Müller K.* Gold und Ehre. Zur Karriere Heindrick Goltzius // *Die Masken der Schönheit. Heindrick Goltzius und das Kunstideal um 1600.* Hamburg, 2002. S. 7.

⁶ См. подробнее: *Pilz K.* Hans Hoffmann. Ein Nürnberger Dürer-Nachahmer aus 2. Hälfte des XVI. Jahrhunderts // *Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg.* N 51. 1962. S. 236–272.

⁷ *Rezniček E.K.J.* Heindrick Goltzius als Zeichner. Utrecht, 1961. S. 58.

⁸ *Hendrick Goltzius (1558–1617). Drawings, Prints and Paintings.* Amsterdam; N.Y.; Toledo, 2004. P. 132–134.

⁹ *Rezniček E.K.J.* Op. cit. S. 96.

¹⁰ *Ibid.* S. 122.

¹¹ *Ibid.* S. 85.

¹² *Ibid.* S. 113.

¹³ *Idem.* Hendrick Goltzius: Drawings Redissolved 1962–1992. N.Y. P.70.

¹⁴ *Мандер К. ван.* Указ. соч. С. 308.

¹⁵ *Hirschmann O.* Heindrick Goltzius. Leipzig, 1919. S. 87.

¹⁶ *Idem.* Op. cit. S. 307–308.

¹⁷ *Müller K.* Op. cit. S. 10.

¹⁸ *Hendrick Goltzius (1558–1617)...* S. 213–214.

¹⁹ *Мандер К. ван.* Ук. соч. С. 310.

²⁰ *Hirschmann O.* Heindrick Goltzius als Maler 1600–1617. Haag, 1916. S. 30.

²¹ Некоторые сведения о произведениях Гольтциуса, проданных с аукционов, в кн.: *Hirschmann O.* Heindrick Goltzius als Maler... S. 61–63, 74, 90–93; отдельные описания: *Мандер К. ван.* Указ. соч. С. 310–311.

²² *Hirschmann O.* Heindrick Goltzius als Maler... S. 29–30.

²³ *Егорова К.С.* Картины Хендрика Гольтциуса в ГМИИ им. А.С.Пушкина // Из истории зарубежного искусства. Материалы научной конференции “Випперовские чтения – 1988”. Вып. 21. 1991. С. 121.

²⁴ *Larsson L.O.* Bildnisse Kaiser Rudolf II // *Prag um 1600.* Wien, 1988. Bd. III. S. 162.

²⁵ *Hirschmann O.* Heindrick Goltzius als Maler... S. 88.

²⁶ *Ibid.* S. 95.

²⁷ *Ibid.* S. 91; *Rezniček E.K.J.* Heindrick Goltzius als Zeichner... S. 54–55.

²⁸ *Rezniček E.K.J.* Hendrick Goltzius: Drawings... P. 70.

²⁹ *Ibid.* P. 68.

³⁰ *Hirschmann O.* Heindrick Goltzius als Maler... S. 59–61.

³¹ *Rezniček E.K.J.* Hendrick Goltzius: Drawings... P. 92.

³² *Hocke G.R.* Op. cit. S. 7–8.

³³ См. каталог: Аукционный дом “Гелос”. Продажа коллекции Инкомбанка. М., 2002. С. 24. Илл. 52–53.





КНИЖНЫЕ ПОДАРКИ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ ПРИ ДВОРЕ ГЕРЦОГА АЛЬБРЕХТА ПРУССКОГО

Н.Н. Шевченко

Проблема культурного взаимодействия в эпоху Возрождения не исчерпывается изучением разнообразных контактов в воображаемом или реальном географическом пространстве. Если рассматривать культуру в широком смысле слова как систему поведенческих норм, ценностных установок и практик¹, то понятие “культурные связи” распространяется и на сферу социальных отношений, обеспечивающих целостность любой культуры. Речь идет о контактах и механизмах взаимодействия между носителями различных культурных представлений. Игнорируя наличие контактов между разными социальными группами, невозможно, например, объяснить, почему так называемая “народная” и “официальная” культуры²; сосуществовавшие в XVI в., представляли собой отличные друг от друга, но взаимосвязанные картины мира. Они нередко базировались на осмыслении одинаковых мифологических сюжетов и литературных текстов³. Освоение этих текстов шло по разным схемам, поскольку каждая социальная группа исходила из своего набора культурных установок. Данная статья изучает культурное взаимодействие между немецким князем и учеными в XVI в. Примером таких контактов является обмен подарками при дворе герцога Альбрехта Прусского (1525–1568). Дарение было важным элементом придворной жизни в эпоху Ренессанса, и его можно рассматривать как модель культурных и социальных связей между представителями ученой культуры и властью⁴.

Обмен подарками в XVI в. служил одним из важнейших способов взаимоотношений между княжескими или королевскими дворами и представителями других социальных групп. Книги занимали видное место среди объектов, преподносимых в дар правителю. Само изображение автора, возлагающего к ногам монарха свои труды, использовалось для символической демонстрации такой модели отношений с верховной властью (иногда эти изображения помещали в самих книгах, посвященных королю или князю)⁵.

В XVI в. книги все чаще служили для установления и поддержания контактов в обществе. Их дарили родственникам, друзьям, наставникам, ученикам и покровителям. Иногда эти подарки отправляли через пол-Европы, и шли они месяцами. В библиотеках ученых, князей и аристократии нередко можно было встретить экземпляры книг, украшенные дарственными надписями. Наглядным подтвержде-

нием тому являются фонды Вольфенбюттельской библиотеки герцога Августа, где многочисленные надписи на форзацах и титульных листах книг XVI–XVIII вв. свидетельствуют, что книга часто становилась объектом коммуникации.

Какое значение имела практика дарения книг в раннее Новое время? Прежде в историографии было принято считать, что подношение подарка полностью лишено какого бы то ни было стремления к выгоде, поэтому “дар” противопоставлялся индустриальному понятию “товара”⁶. Исследование этнолога Марселя Мосса в 1920-е годы поставило под вопрос такую концепцию, поскольку Мосс обнаружил, что ритуал дарения базируется на следующих главных правилах: взаимность (обязанность давать и отдавать) и создание личных связей путем принятия на себя взаимных обязательств⁷. Американский историк Натали Земон Дэвис показала в своем недавнем исследовании состоятельность выводов Мосса и его последователей для французского общества раннего нового времени. История подарков во Франции доказывает, что необходимость взаимности в ритуале обмена дарами характеризует и исторические формы дарения⁸. Подарки позволяли осуществлять коммуникацию внутри социальной иерархии сословного общества, а их ценность выражалась в понятиях патроната и других форм личных отношений (например, “дружбы”).

С этой точки зрения обмен книжными подарками являлся продолжением связей социальных. Значение книг в рамках культурного обмена было результатом различных практик взаимодействия: общения, подчинения, выражения благодарности и принятия на себя определенных обязательств. Именно социальная и – в широком смысле – культурная обусловленность отношения к книгам, которая рассматривается на материале переписки и библиотеки герцога Альбрехта Прусского, представляет главный предмет данной статьи. В центре внимания будут следующие вопросы: какую функцию в жизни ренессансного двора играли книжные подарки? как практика дарения зависела от социального статуса и ценностных установок дарителей и адресатов подарков? как связан активный обмен книжными подарками между учеными и князем с тем фактом, что в XVI в. на немецких территориях было основано много придворных библиотек, которые стали неотъемлемой частью широко известных достопримечательностей каждого двора?

В XVI в. рост числа людей, получивших образование, а также бóльшая доступность печатной книги способствовали заметному расширению группы потенциальных дарителей книг. В отношениях с прусским герцогом книги использовали прежде всего ученые, т.е. люди с университетским образованием (которых американский историк Паула Финдлен характеризует как “новую культурную элиту, опирающуюся на двор”⁹). Среди них были стипендиаты герцога (Георг Венедигер, Андреас Аурифабер, Петер Генеранус, Георг Майор мл.), профессора немецких университетов (Георг Майор ст., Викторин Стригель, Давид Хитрей, Леонард Фукс), именитые реформаторы (Филипп Меланхтон, Йохан Бугенхаген, Пауль Эбер), священнослужители (Маттиас

Флаций Иллирик, Антон Корвин, Стефан Райх, Георг Бухгольцер, Иоганн Драх (1494–1566)) и придворные из других лютеранских княжеств (Георг Лаутербек – мансфельдский канцлер, Ханс Дёбнер, Вольф фон Кёдеритц – саксонский канцлер, Мельхиор Клинг – советник саксонских курфюрстов).

Летом 1565 г. в Кёнигсбергском дворце получили одну примечательную посылку. В ней было пять книг, которые предназначались для каждого члена княжеской семьи: только что вышедшие трехтомные комментарии Меланхтона к письмам Цицерона в позолоченном переплете для юного принца Альбрехта Фридриха (1553–1618), рукописное собрание рождественских песнопений для герцогини Анны Марии (1532–1568) и печатное изложение Экклезиаста в немецком переводе для герцога Альбрехта¹⁰. Отправитель книг Стефан Райх (1512–1588), представившийся как “бедный священник” из Остерфельда, отлично разбирался в том, как использовать книги, чтобы вступить в патронатные отношения с князьями. До этого он уже посвящал издания своих сочинений маркграфу Бранденбургскому, герцогам и курфюрстам Саксонским¹¹. В сопроводительном письме он просил прусского герцога поддержать публикацию своих комментариев к “Притчам Соломона” и помочь осуществить их издание¹². При этом Райх рекомендовал себя герцогу как человек, тесно связанный с созданием книг, на что указывал каждый из присланных подарков: Райх редактировал письма Цицерона, переводил “Экклезиаста” на немецкий, был комментатором “Притчей Соломона” и сочинителем рукописного сборника рождественских песнопений (причем единственный среди “других благочестивых христиан” был назван по имени). Райх упомянул еще одно сочинение, которое он готовил к печати: свои латинские комментарии к Теренцию, которые он, по его словам, собирался посвятить прусскому принцу. Таким образом, священник демонстрировал себя не только в роли редактора, переводчика и сочинителя, но и в роли составителя посвящения.

Стратегия Райха, рассчитывавшего убедить герцога, не дала ожидаемых результатов. Хотя герцог милостиво принял его подарки, но просьбу вежливо отклонил “до первой возможности” под предлогом, что книгопечатника Ханса Даубманна пока нет в Кёнигсберге. За свое усердие священник все же получил из казны в подарок 20 талеров¹³.

Логика действий священника и герцога подтверждает, что в глазах Райха и Альбрехта Прусского книги имели разный ценностный статус. Этот эпизод обнаруживает также ключевые культурные значения книги, которые касаются коммуникативного потенциала этого объекта в сети взаимоотношений, существовавшей вокруг двора. Стефану Райху казалось возможным и даже необходимым дифференцировать тематически и по внешнему оформлению книги, которые предназначались в дар герцогу, герцогине и принцу. Герцог получил в подарок изложение библейского текста на немецком языке, герцогиня – сборник песнопений (тоже на немецком), а принц – пособие по латыни. Священник исходил из своих представлений о том, какие книги являются достойным и доступным чтением для каждого члена княжеской семьи. Не существовало никаких письменных наставлений, предписывавших дарителю книги подобную

логику действий. Правила выбора и оформления книжных подарков вытекали из практического отношения к книге и из понимания задач коммуникации.

Подбор подаренных Райхом сочинений соответствует общей логике тематических предпочтений, которая прослеживается во всех книжных подарках, полученных при прусском дворе в XVI в. Самому герцогу чаще всего присылали религиозные книги, особенно тексты Священного Писания или труды известных реформаторов. Книги должны были указывать на преимущественное значение религиозного знания и конфессиональной принадлежности в вопросах правления протестантского князя. Альтернативу религиозным книгам составляли правовые трактаты и исторические сочинения, доля которых среди подаренных книг с середины 1550-х годов неизменно возрастала.

Герцогиням дарили почти исключительно катехизисы, молитвенники, сборники духовных песнопений или комментарии и переложения библейских текстов¹⁴. Такой тематический выбор книг соответствовал идеалу благочестия, описанному в назидательной литературе того времени. Таков же был горизонт представлений ученых-дарителей о нормах женского чтения в княжеской среде.

Принцу Альбрехту Фридриху (пока он не наследовал власть) дарили книги, соответствующие гуманистическому идеалу образования, который благодаря влиянию гуманистически настроенных придворных определял концепцию воспитания наследника в раннее Новое время¹⁵. Сам герцог Альбрехт одобрял такие книжные подарки своему сыну. Так, он благодарил Евсевия Меня за составленный учебник с латинскими изречениями под названием “Синонимы”, который ученый посвятил и подарил прусскому принцу¹⁶. Герцог щедро – 60 талерами – вознаграждал Иоганна Шоссера (1534–1585), который в 1564 г. подарил Альбрехту Фридриху сборник латинских стихотворений¹⁷. После того как Альбрехт Фридрих наследовал герцогский престол, тематика подаренных ему книг меняется. Среди них начинают преобладать пособия по управлению, правовые сочинения и религиозные трактаты, а именно все те тексты, которые обосновывали концепцию и практику княжеской власти.

В случае с Райхом обращает на себя внимание и тот факт, что герцог, хотя и не готов был выполнить просьбу дарителя, ответил на полученные книги денежным вознаграждением и благодарственным письмом. Ожидание взаимности было одной из важных установок любого дарителя в раннее Новое время. Представление о замкнутом круге обмена дарами влияло не только на моральный дискурс и художественные образы (распространенное в эпоху Ренессанса изображение трех Граций), значение которых доказала и исследовала Н. Дэвис¹⁸. Постулаты христианской религии о ценности божественных даров и взаимности человеческих деяний оказывали существенное воздействие и на непосредственную практику обмена подарками. Один из просителей герцога, возможно, его стипендиат, Петер Генеранус, отправляя книги Альбрехту Прусскому и его супруге, апеллировал к Священному Писанию, что “короли и князья должны быть попечителями и кормильцами церкви и

Господу Иисусу Христу преподносить дар... жертвовать дары, как мудрецы с Востока у яслей Вифлеемских”¹⁹. Под “жертвой Иисусу” он подразумевал поддержку настоящих и будущих служителей церкви, к которым причислял и себя.

Обязательная благодарность за преподнесенный дар являлась неотъемлемой частью повседневного опыта того времени. Взаимность была необходима и зачастую вынужденна, а отсутствие формальной благодарности могло вызвать нарекание со стороны дарителя. Так, Лукас Вагнер, альтист из Мюнхена, сетовал, что не получил от Альбрехта ни одного знака княжеской милости за дважды присланные в дар песнопения, в то время как мюнхенский композитор Людвиг Зенфл (1490–1543), возглавлявший придворную капеллу герцога Вильгельма IV Баварского, за такой же подарок получил позолоченный ларец. В довольно категоричном тоне музыкант обращался к герцогу с просьбой и ему “преподнести что-нибудь ценное из герцогского милосердия”²⁰.

Не случайно практика дарения апеллировала к понятию “жертвы”. Это позволяло объяснить формальную неравноценность дара и полученного за него вознаграждения. Поскольку негласные правила обмена подарками основывались на взаимности человеческих поступков, то в строго иерархичном обществе раннего Нового времени замкнутый круг обмена подарками, равноценными в материальном отношении, был невозможен. Изначальный же отказ от равноценности даров выдвигал требование щедрости от вышестоящих на сословной лестнице и делал возможным общение поверх строгих границ социальной иерархии, не угрожая при этом оскорбить честь представителя любого сословия.

Подобное правило благотворительности при дворе французского короля Норберт Элиас назвал “этосом статусного потребления”, который являлся отличительной особенностью придворно-аристократической культуры в раннее Новое время²¹. Согласно “канону престижного потребления” поведение короля зависело от высокого социального положения и требований престижа, которые вынуждали его демонстрировать свою щедрость. Этого требовали и религиозные установки, поскольку щедрость воспринималась как одна из форм коммуникации с Богом, замыкавшая круг обращения даров земных и небесных. Благотворительность являлась важной нормой социального поведения и для протестантского князя, который относился к ней как к моральной обязанности и как к средству социальной репрезентации.

Не обязательно ответ герцога сопровождался материальным вознаграждением. “Спектр взаимности” в обмене подарками включал и другие формы реакции на подаренные книги. На некоторые подарки и услуги считалось даже предосудительно и неприлично отвечать простым денежным вознаграждением²². В случае переписки прусского герцога с учеными это были прежде всего подарки, сопровождаемые просьбой о покровительстве. В качестве примера можно упомянуть подарок последнего издания Нового Завета, которое виттенбергский издатель Ханс Луффт (1495–1584), известный своими многочисленными тиражами Библии в переводах Мартина Лютера,

и реформатор Иоганн Бугенхаген (1485–1558) прислали Альбрехту и его супруге Доротее Датской (1504–1547) в 1546 г. Книги в дорогом переплете сопровождали обращенные к герцогу просьбы о покровительстве профессора Кёнигсбергского университета Фридриха Стафилуса (1512–1564) и семьи зятя Луффта Андреаса Аурифабера (1514–1559)²³. В ответ на эту просьбу Альбрехт выражал в письме свою благодарность и обещал защиту упомянутым лицам, но ни словом не обмолвился о денежном вознаграждении²⁴.

Подарки служили для символического выражения тех одновременно неравноправных и взаимовыгодных отношений между князем и его подданным, которые складывались в форме патронатных связей. Подношение дара смягчало асимметрию иерархических отношений представителей разных сословий и позволяло преодолевать в общении формальную непроницаемость сословных границ²⁵. Сложившийся “этикет патронатных взаимодействий”²⁶, определенные “правила вежливости”, регулировавшие такую коммуникацию, проявлялись как на уровне невербальных практик (во внешнем оформлении и содержании книги), так и в письменном языке общения дарителя и адресата подарков. Дарители часто сопровождали свои подношения письменными уверениями в подданнических чувствах. Так, в 1560 г. придворный поэт датского короля Кристиана III (1534–1559) Иероним Озий (ум. 1575), коронованный в 1558 г. как “*poeta laureatus*”, в своем письме герцогу Прусскому демонстрировал все упомянутые “формулы вежливости”. Он говорил о своем подданническом благоговении²⁷ и подчеркивал, что присылаемое им издание стихов (“незначительное сочинение”) никак не может быть сопоставлено с добродетелями Альбрехта и его милостью. Но “как бы ничтожно оно ни было” Озий рассчитывал в ответ от герцога получить расположение и покровительство²⁸. Стефан Райх также говорил о незначительности книг, преподносимых в дар княжеской семье (“такое малое и бумажное подношение”), подчеркивая дистанцию между его подарком и милостью князя²⁹. Формализация правил вежливости и языка общения служила для публичного признания разницы в социальном статусе патрона и клиента. Последний должен был продемонстрировать уважение к своему покровителю и беспрекословное подчинение ему, а патрон после признания своего превосходства был обязан предоставить защиту и выполнить обращенную к нему просьбу³⁰. Таким образом, обмен подарками представлял собой ритуальную модель (а по выражению Шэрон Кэттеринг, “эвфемизм”³¹) патронатных отношений.

Адресатом такой коммуникации был обычно сам герцог, поскольку именно он выступал в роли патрона в отношениях с учеными. Книги, подаренные членам княжеской семьи, также предполагали обязательное обращение к самому герцогу. Несмотря на личное обращение к герцогине или детям в посвятельной надписи, ученые направляли книги непосредственно Альбрехту, а в случае подарка принцу или принцессе спрашивали мнение герцога, подойдет ли его детям для чтения эта книга. Обращение к членам княжеской семьи

продолжало стратегию поиска защиты у князя и укрепления личных отношений с ним. Нюрнбергский реформатор Вайт Дитрих (1506–1549), прежде чем подарить принцессе Анне Софии (1527–1591) свою книгу (“Kinderpostille”), подчеркивал, что этой книгой он хотел бы выразить самому герцогу свою благодарность и преданность³². В сопроводительном письме, которое Ханс Луффт направил в Кёнигсберг вместе с последним изданием “Нового Завета” для герцогини Доротей, виттенбергский издатель восхвалял добродетели ее супруга, которого он почитал за идеального протестантского князя.

Подарки прилагались обычно к просьбам о материальной помощи или к рекомендации какого-то лица герцогу. Георг Венедигер (1519–1574), в то время стипендиат герцога, несколько раз присылал своему патрону в Кёнигсберг книги в благодарность за выплату ему стипендии из княжеской казны³³. В феврале 1550 г. виттенбергский профессор Георг Майор (1502–1574) отправил в Кёнигсберг некую “Историю о смерти понтифика”, сопроводив ее “нижайшей просьбой” предоставить стипендию на обучение его сына³⁴. При этом он уделил особое внимание тому, чтобы представить свой подарок как очень полезное и ценное сочинение, которое связано с актуальными протестантскими спорами об Интериме³⁵. За этим письмом последовал еще ряд подарков. За полгода Майор отправил Альбрехту катехизис, собрание проповедей и посвященное герцогу сочинение о браке, которое было только что издано в Виттенберге³⁶. На предоставление его сыну стипендии в размере 200 гульденов ученый также ответил подарками. Он прислал герцогу несколько теологических трактатов, а также сообщал о других книгах, которые планировал отправить в Кёнигсберг в скором времени³⁷.

Иоганн Функ (1518–1566), претендовавший на место проповедника в Кёнигсберге, обещал прусскому герцогу подарить свою книгу, которая “хоть, вероятно, и является ничтожной и плохой”, но может показать, с каким усердием Функ намерен выполнять свои обязанности перед лютеранской общиной³⁸. Много книг присылал Альбрехту Йохан Драх, которого герцог поставил во главе Помезанского епископства³⁹. Почти все время Драх проводил за пределами герцогства, поскольку работал над изданием многоязычного перевода Ветхого Завета в Виттенберге. Своими административными функциями в управлении епископством Драх откровенно пренебрегал, и книжные подарки служили долгое время единственным свидетельством деятельности ученого, которое получал герцог. В 1550 г. Драх отправил ему два тома своих “Предсказаний”, в 1555 г. – третий том этого же сочинения, а в 1557 г. очередную свою книгу “Исповедание веры и учения”⁴⁰. Сын известного реформатора Юстус Йонас младший (1525–1567), выполнявший дипломатические поручения многих протестантских князей, отправил в подарок герцогу Альбрехту издание части Библии и несколько других книг после того, как тот принял его прошение о принятии на придворную службу⁴¹. Книги служили, таким образом, символическим подтверждением взаимных обязательств, которые брали на себя участники патронатных отношений.

В книжном подарке исключительно важно было именно его символическое значение, указание на ценности и нормы, установленные в обществе. О целенаправленном использовании языка подарков свидетельствует воображаемый диалог из сочинения Эразма Роттердамского “Разговоры запросто”. В нем запечатлены идеальные представления об обмене дарами. Король Евсевий, принимающий в своем дворце ученых мужей, раздает им подарки, значение которых он определяет не материальной, а символической ценностью: “Все подарки примерно одной цены – ничтожной... Тут четыре книжки, двое часов, лампа, шкатулка с тростниковыми перьями из Мемфиса. Это более для вас подходит, чем, например, бальзам или зубной порошок, или зеркало”. Предполагается, что подарки должны соответствовать каким-то качествам и добродетелям получателя. Книга “Притчи Соломона” призвана учить мудрости, поэтому она была в позолоченном переплете, ведь золото, как знал Евсевий, символизирует мудрость. Евангелие от Матфея и Послания апостола Павла позволяют постоянно видеть слово Господа, а следовательно, и удерживать его в сердце. Нравственные сочинения Плутарха свидетельствуют, на взгляд дарителя, о том, что и язычники могли приобщиться к евангельской мудрости. Лампа же предназначается для того, кто никогда не уставал читать книги. Получатель этого подарка расценил его и как призыв к бодрствованию во всякое время. Передавая в дар шкатулку с перьями, Евсевий говорит о пользе письма. Часы же напоминают о быстротечном ходе времени и служат бережливому с ним обращению. Каждый подарок таит в себе определенный намек и воспринимается как стимул к размышлению и действию. Получатели даров усматривают в них прежде всего переведенные на язык предметов советы: “Мы благодарны не за одни лишь дары, но и за добрые слова. Ибо не столько оделяешь ты нас гостинцами, сколько похвалами”⁴².

Символическое значение подаренных книг осознавалось дарителями и в реальной жизни. Дарители ожидали получить ответ герцога на языке социальной символики. Установление патронатной связи было особенно очевидно, когда оно подкреплялось определенным знаком, указывающим на социальный статус патрона. Например, когда Леонард Фукс (1501–1566), тюрбингенский профессор медицины, получил от герцога позолоченный кубок, он сетовал, что на нем нет никакой княжеской символики. Фукс говорил, что всегда радуется при виде герцогского герба, и если бы он был изображен на кубке, то и его дети еще долго могли бы хранить память о прусском герцоге⁴³. Ученый подчеркивал, что в подарке его больше всего интересует не материальная ценность, а запечатленное в нем покровительство и расположение герцога.

В мемориальной функции наиболее очевидно просматривается символическое значение книжных подарков. После смерти Лютера в Кёнигсберг в течение 10–15 лет регулярно приходили посмертные издания реформатора. Ханс Лuffт и Иоганн Бугенхаген выбрали для подарка герцогу, его супруге

и дочери то издание немецкого перевода “Нового Завета”, которое учитывало последние исправления Лютера, внесенные им незадолго до кончины. Связь книги с последней волей реформатора делало этот подарок, на взгляд дарителей, особенно ценным. Важным событием было создание комиссии по изданию полного собрания сочинений Лютера в Виттенберге (1548) и Йене (1555), новые тома которых ученые регулярно присылали в Кёнигсберг⁴⁴. В октябре 1548 г. Георг Рёпер (1492–1557), редактор и корректор виттенбергской типографии и самый известный “протоколист” Лютера, прислал герцогу книгу “Trostsprüche” Лютера, которые Рёпер издал в Виттенберге вместе с Георгом Сабинусом (1508–1560), ректором Кёнигсбергского университета. Альбрехт выразил свою благодарность материальным вознаграждением в размере 20 гульденов⁴⁵. В ответ ученый прислал второй том виттенбергского издания собрания сочинений с комментарием, что издание и сохранение трудов реформатора является важнейшей задачей, поскольку очень многие пытаются изменить и обесценить лютеранское вероучение⁴⁶.

В 1552 г. другой виттенбергский теолог Георг Майор подарил Альбрехту пятый том местного издания Лютера со словами, что книги эти – огромное сокровище, которым он хотел бы поделиться с герцогом. В своем ответном письме герцог подчеркнул свою заинтересованность в судьбе наследия Лютера и попросил продолжать присылать ему новые тома виттенбергского издания⁴⁷. Прусский правитель был не единственным адресатом подобных подарков. С теми же словами Майор преподнес в дар отдельные тома собрания сочинений Лютера королю Кристиану III Датскому. Король в ответ на эти подарки также выразил большой интерес к публикации всего письменного наследия реформатора и оказался хорошо осведомлен о текущих делах виттенбергского издания. Обнаружилось, что Иоганн Бугенхаген исправно информировал его о положении дел с публикацией трудов Лютера⁴⁸.

После выхода в свет в 1555 г. первого тома Йенского издания герцог тоже получил аналогичные подарки. Здесь посредником выступил Ханс Дёбенер, который многократно присылал не только тома из собрания сочинений, но и другие посмертные издания Лютера, например, сборники его посланий и писем⁴⁹. Ценность таких подарков Дёбенер объяснял огромным значением наследия реформатора для всей лютеранской церкви и для протестантского князя в первую очередь⁵⁰. Альбрехт отвечал полным согласием и просил продолжать его информировать о Йенских публикациях и присылать новые тома.

Судьба письменного наследия Лютера имела политическое значение, поскольку от религиозной полемики зависел выбор модели лютеранской церкви в немецких княжествах. Почти одновременный выход двух собраний сочинений реформатора был важным следствием споров между сторонниками Лютера после его смерти. Протестанты потерпели поражение в Шмалькальденской войне в 1547 г., и герцог Мориц, получивший титул курфюрста Саксонского, заключил союз с императором. Вместе с этим и виттенбергские

теологи, возглавляемые Меланхтоном (прозванные за это “филиппистами”), допускали участие светской власти в контроле церкви и высказались за возможность принять положения Интерима. Этот компромисс с императорской властью и римско-католической церковью осудила другая часть лютеран (“строгие лютеране” или “гнезиолютеране”). Их главными идеологами были Николай Амсдорф (1483–1565) и Маттиас Флаций Иллирик (1520–1575). Они отстаивали независимость от княжеской власти в вопросах вероисповедания, придерживаясь точки зрения, что догматические вопросы могут решать только ученые богословы. В этом противостоянии книги как средство полемики играли не последнюю роль. “Строгие лютеране” поставили под вопрос полноту и достоверность собрания сочинений, издаваемых в Виттенберге, и принялись за подготовку своей редакции трудов Лютера, которая впоследствии стала выходить в Йене. Издатели обоих собраний претендовали на то, что именно в их редакции отражена неискаженная версия лютеранского учения. Задача сторон заключалась в том, чтобы представить светской власти свой взгляд на наследие Лютера, а поддержка правителя во внутриконфессиональных спорах оказывалась решающей для утверждения догматов евангелической веры. Поэтому, обращаясь к герцогу, реформаторы заботились о рассылке новых томов главным протестантским князьям и настойчиво называли письменное наследие Лютера “сокровищем”, судьба которого зависит от правителя.

Книги с сочинениями Лютера после его смерти символизировали итог его деятельности как переводчика и комментатора Библии и воплощали последнее слово реформатора, давая тем самым возможность продолжать начатое им дело. Уже в эпоху ранней Реформации Лютера воспринимали и изображали как пророка на многотиражных “летучих листках”⁵¹. После смерти героизация образа Лютера привела к постепенному складыванию культа реформатора, следствием которого стало и увеличение символического значения его книг. На книги проецировалась эмоционально окрашенная связь лютеран с образом Лютера, и это еще больше способствовало тому, что культ печатного слова, который изначально был важен для протестантов, все сильнее влиял на восприятие любых книг лютеранской традиции.

После смерти Филиппа Меланхтона (19 апреля 1560 г.) его книги также дали повод к коммуникации ученых с прусским герцогом. В начале 1560-х годов Альбрехт получил целый ряд сочинений, связанных с именем этого реформатора. Первым обратился к герцогу Евсевий Мений, который послал в Кёнигсберг свой перевод меланхтоновской “Хроники Кариона”. Для книги Мений заказал дорогой бархатный переплет с позолоченными накладками и герцогским именем, тисненным золотой краской, а на титульном листе сделал дарственную надпись⁵². Мений сопроводил свой подарок просьбой о покровительстве, которое герцог пообещал ему в ответ⁵³.

Через полгода Георг Вайгель подарил два экземпляра своей торжественной речи, посвященной памяти Меланхтона⁵⁴. Иероним Озий, одним из пер-

вых сообщивший Альбрехту о смерти реформатора, прислал свою памятную речь “Elegium in obitu Philippi Melanchthoni”, которая была произнесена в Виттенбергском университете⁵⁵. При этом поэт обращался к герцогу с просьбой о покровительстве. Упоминание имени почившего реформатора если и не служило гарантией, то во всяком случае давало надежду завоевать расположение князя.

Теолог Пауль Крель (1531–1579), профессор Виттенбергского университета, посвятил Альбрехту Прусскому книгу, которую он написал в память о своем учителе Филиппе Меланхтоне. Эта публикация была результатом его работы над неизданным наследием реформатора, которую ученый начал сразу же после смерти Меланхтона. Работа включала комментарии и изложения нескольких псалмов, которые Крель слышал от своего учителя и восстановил по сохранившимся записям. Крель выражал уверенность, что такая публикация обязательно заинтересует герцога и что наследие Меланхтона должно находиться под защитой светской власти. Он был убежден в огромном значении этого сочинения для всей лютеранской церкви и утверждал, что оно принесет Альбрехту “честь и славу и в теперешнее время, и у потомков, которые будут читать эту книгу”⁵⁶.

Книги становились объектом памяти о человеке после его смерти и в других случаях. Самым распространенным мемориальным подарком были эпитафии и траурные речи. Таким путем в придворную библиотеку попали эпитафии на смерть первой супруги Альбрехта Доротеи Датской⁵⁷, жизнеописание герцога Альбрехта, составленное лютеранским богословом Давидом Войтом (1529–1589)⁵⁸, а также траурные речи на смерть герцога Альбрехта Мекленбургского (1556–1561)⁵⁹.

После смерти автора его сочинения нередко служили напоминанием о нем. Кунигунда Дитрих, вдова известного нюрнбергского реформатора Вайта Дитриха, прилагала к своей просьбе о защите и покровительстве издание последнего сочинения ее супруга с комментариями к Евангелию от Иоанна⁶⁰. В ответ на обещание Альбрехта покровительствовать вдове и детям реформатора, Кунигунда Дитрих прислала еще одну книгу, “последний и тяжелейший труд о первой книге Моисея, который он (Вайт Дитрих. – *Н.Ш.*) составил и оставил после себя как последнюю ценность для христиан”⁶¹. Второй том этого сочинения был издан уже посмертно. Вдова называла эту книгу “последним завещанием” Дитриха, которое он посвятил всей христианской церкви.

К книжным подаркам Кунигунда Дитрих приложила также два портрета своего супруга – выполненный на холсте и отлитый в гипсе. Изображения, зачастую служившие мемориальными объектами, сопровождали некоторые книжные подарки. Георг Венедигер прислал герцогу Альбрехту вместе с изданием сочинений Меланхтона портрет курфюрста Саксонского, в ведении которого находился университет, где Венедигер проходил обучение⁶². Когда Рурдт фон Гиттельде сообщал Альбрехту о результатах своей миссии

по прусским делам, он прислал изображение своего патрона – фульдского аббата⁶³. Кристоф Йонас (1510–1582), стипендиат герцога в Виттенбергском университете, отправил своему покровителю исполненный Лукасом Крананом портрет известнейших профессоров, стяжавших громкую славу этому университету, Мартина Лютера и Филиппа Меланхтона⁶⁴. На подаренных портретах всегда были представлены лица, особо важные для дарителя; так для Кунигунды Дитрих ее супруг был главным лицом, обеспечивавшим ей социальный статус и защиту⁶⁵.

Дарители рассчитывали своим подарком не только сохранить память об авторе сочинений, но и о своей персоне. Так, Юстус Йонас, отправляя молодому принцу Альбрехту Фридриху в подарок к Новому году собрание басен Эзопа, выражал надежду, что “как часто (Альбрехт Фридрих) будет видеть эту книгу в своей библиотеке, так часто будет милостиво вспоминать, что за сто миль есть бедный слуга, который... просит Бога от всего сердца” благословить обучение прусского принца⁶⁶.

В обмене подарками книги выступали не просто как носители информации, объекты чтения или роскоши. Они становились важным выразительным средством предметного языка патронатных отношений, скреплявших сословное общество в раннее новое время. Книжные подарки служили не только средством распространения идей, они являлись частью социальной коммуникации. Благодаря множественности культурных значений и широкой доступности после распространения книгопечатания, книга оказалась одним из наиболее универсальных средств для общения ученых с правителем. Как ее содержание, так и оформление выражали приверженность определенным идеалам. К тому же книга служила предметом социальной самоидентификации ученых. Об этом можно судить по тому, на каких изображениях чаще всего появляются книги. Совершенно очевидна репрезентативная функция книг на портретах ученых, где они символизируют контекст и результат учебных практик и ценностные установки этой социальной группы (как шпага на портрете дворянина или монеты на портрете купца)⁶⁷. Так, например, на изображении Августина, служившего в Средние века прообразом учености, практически всегда присутствовали книги.

Наряду с этим предметами социальной идентификации ученых на картинах нередко являлись измерительные инструменты, особенно связанные с астрономией и географическими вычислениями (глобусы, астролябии, квадранты). Примечательно, что эти же предметы дополняли книги в обмене подарками с княжеским двором. Математики, занимавшиеся математическими измерениями и астрологическими подсчетами, нередко искали покровительства у князей и императоров, преподнося в дар самостоятельно сконструированные или изобретенные приборы от астролябий до часов⁶⁸.

Значение подарков зависело напрямую от социальных норм и культурных практик, связанных с этим объектом в конкретной социальной группе. Тематический выбор сочинений, особенности внешнего оформления и

риторика сопроводительных писем свидетельствуют о том, что функцией подарка являлось указание на определенные ценности. С одной стороны, ученые активно использовали книжные подарки для укрепления патронатных связей, выражая в символическом акте дарения свою преданность князю. С другой стороны, ученые представляли книги как итог или неотъемлемый инструмент своей профессиональной деятельности и разными способами добивались признания культурной ценности этого объекта. Преподнося в дар печатные издания и рукописи, ученые утверждали и распространяли свои представления о ценности книги. К концу своего правления Альбрехт Прусский воспринимал книгу прежде всего как атрибут учености и как важный объект религиозных практик. Даже его наследник, Альбрехт Фридрих, лично не питавший склонности к чтению и собирательству книг, не только сохранил созданную отцом библиотеку от посягательств на ее целостность, но и продолжил планомерную политику по увеличению ее фондов и расширению штата придворных, обслуживающих книжное собрание. Укрепившееся взаимодействие между учеными и князем было одной из причин постепенного изменения отношения к книгам при дворе. Создание придворных библиотек стало важным шагом в политике протестантского князя, идеал которого в XVI в. все больше связывался с такими качествами как ученость, мудрость и благочестие.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Данное определение завоевывает все более заметное место в историографии см.: *Algazi G.* Kulturkult und die Rekonstruktion von Handlungsrepertoires // *L'Homme. Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft.* 2000. Bd. 11. S. 105–119; *Bachmann-Medick D.* Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Reinbek, 2006.

² С 1970-х годов в историографии утверждается точка зрения, что, помимо “официальной” культуры, в Средние века и раннее Новое время существует альтернативная ей культура широких слоев населения (“народная” культура), которая оказывается чужда эстетике и ценностям “высокой” культуры: *Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990; *Гуревич А.Я.* Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981. Среди наиболее значительных полемических зарубежных исследований следует назвать: *Burke P.* Popular culture in early modern Europe. L., 1978; *Muchembled R.* Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XVe–XVIIIe siècles). P., 1977; *Schindler N.* Widerspenstige Leute. Studien zur Volkskultur in der frühen Neuzeit. Frankfurt/M., 1992; *Scribner R.* Popular culture and popular movements in Reformation Germany. L., 1987.

³ Наиболее наглядно это показали исследования Карло Гинзбурга и Роже Шартье: *Гинзбург К.* Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. М., 2000; *Chartier R.* Culture as appropriation. Popular cultural uses in early modern France // *Kaplan St. (ed.).* Understanding popular culture. Europe from the Middle Ages to the nineteenth century. B., 1990. S. 229–253.

⁴ Такое понимание практики дарения убедительно обосновала Натали Земон Дэвис: *Davis N.* Beyond the market. Books as gifts in sixteenth-century France // *Transactions of the Royal Historical Society.* 1983. Vol. 33. P. 69–89.

⁵ *Chartier R.* Princely patronage and the economy of dedication // *Chartier R.* Roms and meanings. Texts, performances, and audiences from codex to computer. Philadelphia, 1995. P. 25–42 (русский перевод: *Шартье Р.* Письменная культура и общество. М., 2006. С. 78–101).

⁶ Thomas N. Entangled objects. Exchange, material culture, and colonialism in the Pacific. Cambridge (Mass.). 1991. P. 2–3.

⁷ *Kettering Sh.* Gift-giving and patronage in early modern France // French History. 1988. Vol. 2. P. 131.

⁸ Davis N. Die schenkende Gesellschaft. Zur Kultur der französischen Renaissance. München, 2002 (ориг.: The gift in sixteenth-century France. Oxford, 2000).

⁹ Findlen P. Possessing nature. Museum, collecting and scientific culture in early modern Italy (Studies on the History of Society and Culture 20). Berkeley, 1994. P. 348.

¹⁰ Письмо Стефана Райха герцогу Альбрехту, 9.IV.1565 (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz zu Berlin (далее: GStAPK) XX. HA NBA A 4 K. 248). Cicero M.T. Epistolarum Libri tres. A Ioanne Stvrmio pro pverili edvcatone confecti et editi, Nunc vero Germanice redditi per M. Stephathvm Riccivm. Leipzig, 1565; *Melanchthon Ph.* Ecclesiastes: oder Prediger Salomonis. Ausgelegt durch Herrn Philippum Melanthonem, aus dem Latin verdeudscht durch M. Stephanum Reichen. Wittenberg, 1561.

¹¹ Стефан Райх изучал теологию в Виттенбергском университете у Мартина Лютера, Юстуса Йонаса и Филиппа Меланхтона, который в 1549 г. отправил прусскому герцогу одно из сочинений Райха (не называя при этом имени автора) и попросил материальной поддержки для сочинителя. (Письмо Филиппа Меланхтона герцогу Альбрехту 2.IV.1549 (GStAPLK XX. HA NBA A 4 K. 221)). Независимо от того, какие должности Райх занимал – ректора городской школы, диакона или священника – он использовал книжные подарки и посвящения, чтобы установить отношения с князьями – с герцогом Морицем Саксонским (1540), курфюрстом Иоганном Фридрихом Саксонским (1542), герцогом Иоганном Эрнстом Саксонским (1543), князем Иоахимом Анхальтским (1555), графом Вильгельмом Хеннебергским (1557), герцогом Филиппом Штеттинским (1560), маркграфом Сигизмундом Бранденбургским (1563), герцогом Иоганном Фридрихом III. Саксонским (1565), маркграфом Георгом Фридрихом Бранденбургским (1568): *Koch E.* Magister Stephan Reich (Riccius). Sein Leben und seine Schriften (1512–1588). Meiningen, 1886.

¹² При этом Стефан Райх хотел получить от книгопечатника авторский гонорар в 100 талеров: Письмо Стефана Райха герцогу Альбрехту, 9.IV.1565 (GStAPK XX. HA NBA A 4 K. 248). Это сочинение было издано тремя годами позже в Лейпциге, по всей видимости, в переработанной сокращенной версии: *Reich S.* Ein christlicher, nötiger, vnd nützlicher Unterricht, von der Weiber Haushaltung: Aus dem 31. Capitel, der Sprüche Salomonis, und anderer ... Schriften, zusammen gezogen. Leipzig, 1568.

¹³ Письмо герцога Альбрехта Стефану Райху, 7.VIII.1565 (GStAPK XX. HA Ostpr. Fol. 32. Fol. 373f.).

¹⁴ Герцогиня Доротея Прусская получила в подарок катехизис от Петра Генерануса (в 1545 г.) и Новый Завет от Ханса Лuffфта (в 1546 г.). В 1560 г. лютеранский теолог Пауль Эбер подарил герцогине Анне Марии Прусской комментарии к воскресным чтениям Евангелий.

¹⁵ *Hammerstein N.* “Großer fürtrefflicher Leute Kinder”. Fürstenerziehung zwischen Humanismus und Reformation // Renaissance, Reformation. Gegensätze und Gemeinsamkeiten / Buck A. (Hg.). Wiesbaden, 1984. S. 193–285; *Schirrmeister A.* Quid cum aulae poetae? Dichter, Redner oder Historiker. Formen humanistischer Bildung am Hof und ihre Protagonisten // Paravicini W. Erziehung und Bildung bei Hofe. Wettlaufer J. (Hg.). Stuttgart, 2002. S. 235–247. За этот идеал высказывался польский гуманист Анджей Фрыч-Моджевский (1503–1572), который называл мудрость одним из условий достойного правления. Среди гуманистов эту идею поддерживал также Леон Батист Альберти, который считал гуманистическое образование необходимым для аристократического воспитания: *Schreiner K.* Bücher, Bibliotheken und “Gemeiner Nutzen” im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit // Bibliothek und Wissenschaft. 1975. Bd. 9. S. 232–233.

¹⁶ Письмо герцога Альбрехта Евсевию Мению, 12.IV.1566 (GStAPK XX. HA Ostpr. Fol. 32. Fol. 457).

¹⁷ Письмо герцога Альбрехта Иоганну Шоссеру, 16.III.1564 (GStAPK XX. HA Ostpr. Fol. 32. Fol. 206).

¹⁸ *Davis N.* Die schenkende Gesellschaft. S. 21–36.

¹⁹ Письмо Петра Генерануса герцогу Альбрехту, 1.I.1545 (GStAPK XX. HA HBA A 4 K. 213).

²⁰ Письмо Лукаса Вагнера герцогу Альбрехту, 9.II.1536 (GStAPK XX. HA HBA A 4 K. 194).

²¹ *Алиас Н.* Придворное общество. Исследования по социологии короля и придворной аристократии, с Введением: Социология и история. М., 2002. С. 87.

²² *Davis N.* Die schenkende Gesellschaft. S. 69.

²³ Письмо Ханса Луффта герцогу Альбрехту, 7.X.1546 (GStAPK XX. HA HBA A 4 K. 216). См. также: *Voigt J.* Briefwechsel der berühmtesten Gelehrten des Zeitalters der Reformation mit Herzog Albrecht von Preußen. Königsberg, 1841. S. 83. Можно предположить, что подарок Луффта был связан и с его намерением открыть в Кёнигсберге филиал своей процветающей типографии.

²⁴ Письмо герцога Альбрехта Хансу Луффту, 10.XI.1546 (GStAPK XX. HA Ostpr. Fol. 30. Fol. 701).

²⁵ *Davis N.* Die schenkende Gesellschaft. S. 19.

²⁶ *Biagioli M.* Galileo, Courtier. The Practice of Science in the Culture of Absolutism. Chicago, 1993. S. 19.

²⁷ Письмо Иеронима Озия герцогу Альбрехту, 25.IV.1560 (GStAPK XX. HA HBA A 4 K. 238).

²⁸ Письмо Иеронима Озия герцогу Альбрехту, 28.VI.1561 GStAPK XX. HA HBA A 4 K. 240).

²⁹ Письмо Стефана Райха герцогу Альбрехту, 9.IV.1565 (GStAPK XX. HA HBA A 4 K. 248).

³⁰ *Kettering Sh.* Op. cit. P. 133–134.

³¹ *Ibid.* P. 131–132.

³² “Jch hab yetzt Kinder postill vntter den henden, sobaldt dieselbe verfertigt, wil ichs E.F.G. Kandte danckbar erzaigen Will mich also E.F.G. maller vntherthenikait befolhen haben”. (Письмо Вайта Дитриха герцогу Альбрехту (до 29.IX.1546) (GStAPK XX. HA HBA A 4 K. 216)).

³³ Письма Георга Венедигера герцогу Альбрехту, 7.V.1543, 24.VII.1543, 5.VI.1549 (GStAPK XX. HA HBA A 4 K. 209, 210, 222).

³⁴ Письмо Георга Майора герцогу Альбрехту, 23.II.1550 (GStAPK XX. HA HBA A 4 K. 224).

³⁵ Интерим – попытки установить компромисс между римско-католической и протестантской церковью, которые привели к особенно ожесточенным спорам среди лютеран в конце 1540-х годов. В итоге выделилась группа сторонников Филиппа Меланхтона, допускавшего частичное возвращение католических обрядов (которые он считал “незначительными” (*adiaphora*)), а также противостоявших им “строгих лютеран”, которые отвергали всякую возможность компромисса с римской церковью.

³⁶ *Maior G.* Vom Ehestand erinnerung. Allen Christlichen Eheleuten tröstlich und nützlich zu lesen. Wittenberg, 1550. Письмо Георга Майора герцогу Альбрехту, 2.VII.1550 (GStAPK XX. HA HBA A 4 K. 224), герцога Альбрехта Георгу Майору, 22.III.1551 (GStAPK XX. HA Ostpr. Fol. 31.Fol. 186).

³⁷ Среди этих подарков было издание: *Maior G.* De Origine et Avtoritate Verbi Dei, & quae Pontificum, Patrum & Conciliorum sit autoritas, admonition... S. 1, 1551. Письмо Георга Майора герцогу Альбрехту, 15.X.1550 (GStAPK XX. HA HBA A 4 K. 225).

³⁸ Письмо Иоганна Функа герцогу Альбрехту, 25.V.1547 (GStAPK XX. HA HBA A 4 K. 217).

³⁹ Один из двух епископских диоцезов в Прусском герцогстве (второй диоцез – Самбийский).

⁴⁰ Письма Иоганна Драха герцогу Альбрехту, 10.X.1550, 14.III.1555, 1557 (GStAPK XX. HA HBA A 4 K. 225, 232, 234). *Drach J.* Gottes Verheissunge Figure vnd Geschichte: Von Christo vnd der Christenheit. Aus Mose vnd alien Propheten. Die Namen Christi. Der Prediger vnd Christen. Aus der Heiligen Schrifft. 3 Bde. Lübeck, 1548–1550; *Idem.* Bekendhis des Glaubens und der Lehre. S.l., S.d.

⁴¹ Письма Юстуса Йонаса герцогу Альбрехту, 9.I.1558, 14.I.1558 (GStAPK XX. HA HBA A 4 K. 236).

⁴² *Rotterdamский Э.* Разговоры запросто. М., 1969. С. 54–55.

⁴³ Письмо Леонарда Фукса герцогу Альбрехту, 24.X.1538 (GStAPK XX. HA HBA A 4 K. 199).

⁴⁴ Первое Виттенбергское издание полного собрания сочинений Лютера вышло в 12 томах в 1539–1559 годах, Йенское издание вышло в 9 томах в 1555–1558 годы: *Schilling J.* Art. Lutherausgaben // *Theologische Realenzyklopädie.* Bd. 21. Berlin, 1991. S. 594–599.

⁴⁵ Письмо герцога Альбрехта Георгу Рёперу, 14.III.1548 (GStAPK XX. HA Ostpr. Fol. 30. Fol. 927).

⁴⁶ Письмо Георга Рёпера герцогу Альбрехту, 7.X.1548 (GStAPK XX. HA HBA A 4 K. 220). *Molitor J.* Magister Georg Rörer aus Deggendorf – der Bibel Corrector und Luthers Moses: Zu seinem 500. Geburtstag am 1. Oktober 1992 // *Deggendorfer Geschichtsblätter.* 1992. Bd. 13/1. S. 21–61. Рёпер говорит о разгоравшемся тогда споре об Интериме и о полемике гнездиолютеран с филиппистами.

⁴⁷ “nachdem Jr annfenglichen Jnn eurem scheidenn meldett daß der funffte Tomus der bucher deß Ehrwürdigen h Doctoris Martinj Lutherj gotseliger gedechtnus Jnn druck vorfertigt, vnnd solchen aus vrsachen daß Jr solcher bucher von vns fur einen grossenn theurenn werdenn schatz (wie sie dann auch eigentlich seint) gehalten werden wisset, vnns neben eurem schreyben vbersendenn thut” (Письмо герцога Альбрехта Георгу Майору, 27.VI. 1552 (GStAPK XX. HA Ostpr. Fol. 31. Fol. 326–327)).

⁴⁸ Письма короля Кристиана III. Датского Иоганну Бугенхагену, 18.I.1549; короля Кристиана III. Датского Георгу Майору, 30.III.1549, 24.II.1553, 9.XII.1554 (*Lausten M.* König Christian III. von Dänemark und die deutschen Reformatoren. 32 ungedruckte Briefe // *Archiv für Reformationsgeschichte.* 1975. Bd. 66. S. 159, 162, 168, 170); письмо Георга Майора королю Кристиану III. Датскому, 6.IX.1557 (Schumacher A. (Hg.). *Gelehrter Männer Briefe an die Könige in Dännemarck vom Jahr 1522 bis 1663 zum Druck befordert von Andreas Schumacher.* Bd. 2. Kopenhagen, 1758. S. 220–221).

⁴⁹ Письма герцога Альбрехта Хансу Дёбенеру, 7.VII.1556 (GStAPK XX. HA Ostpr. Fol. 31. Fol. 717); Ханса Дёбенера герцогу Альбрехту, 5.I.1557 (GStAPK XX. HA HBA A 4 K. 234).

⁵⁰ Письмо герцога Альбрехта Хансу Дёбенеру, 17.IV.1557 (GStAPK XX. HA Ostpr. Fol. 31. Fol. 831).

⁵¹ О складывании образа Лютера у протестантов см.: *Boettcher S.* Von der Trägheit der Memoria. Cranachs Lutheraltarbilder im Zusammenhang der evangelischen Luther-Memoria im späten 16. Jahrhundert // *Eibach J.* Protestantische Identität und Erinnerung. Von der Reformation bis zur Bürgerrechtsbewegung in der DDR (Formen der Erinnerung 16). Sandl M. (Hg.). Göttingen, 2003. S. 85–112; *Kolb R.* Martin Luther as prophet, teacher and hero. Images of the reformer 1530–1620. Grand Rapids (Mich.), 1999.

⁵² Письмо Евсевия Мения герцогу Альбрехту, 24.X.1560 ((GStAPK XX. HA HBA A 4 K. 239). *Melanchthon Ph.* Chronica Carionis / gantz new Latine geschriben, von dem Ehrwürdigen Herrn Philippo Melanthon. Verdeudscht durch Eusebium Menium. Mit einer Vorrede Georgij Maioris. Wittenberg, 1560 (эта книга находится в отделе редких книг библиотеки Торуньского университета (Ob.6.II.4480)).

⁵³ Письмо герцога Альбрехта Евсевию Мению, 3.XII.1560 (GStAPK XX. HA Ostpr. Fol. 31. Fol. 1129).

⁵⁴ Письмо Георга Вайгеля герцогу Альбрехту, 30.V.1561 (GStAPK XX. HA HBA A 4 K. 240).

⁵⁵ Письма Иеронима Озия герцогу Альбрехту, 25.IV.1560, 28.6.1561 (GStAPK XX. HA HBA A 4 K. 238, 240). Книга вошла в состав личного собрания герцога, хранившегося в его спальнях покоях (GStAPK ВРН Rep 42 I K 2 S. 80^v).

⁵⁶ Письмо Пауля Креля герцогу Альбрехту, 3.IX.1561 (GStAPK XX. HA HBA A 4 K. 241).

⁵⁷ *Sabinus G.* Oratio Habita a Georgio Sabino in funere nobilissimae dominae Dorotheae, conivgis illvstrissimi Principis Alberti, Marchionis Brandenburg: Prussiae Ducis etc. Königsberg, 1548 (эта книга находится в отделе редких книг библиотеки Торуньского университета (Pol.6.II.574–576)). *Holtorp B.* Epicedion funere Dominae Principis Dorotheae, Conjugis Alberti Marchionis Brandenburgensis et Prussiae Ducis. Königsberg, (1547?) (это сочинение вошло в состав “камерной библиотеки” герцогов Прусских и в личную библиотеку герцога Альбрехта: GStAPK XX. HA EM 50_a34. 8. 23^v; GStAPK ВРН Кеп 42 I К. 2. S. 82^r).

⁵⁸ *Voit D.* Libellus continens orationes quasdam de vita, pia et constanti confesione et orbitu Alberti Senioris, Marchionis Brandenburgensis, primi ducis Borussiae/ Collectus atque editus a Davide Voito. Wittenberg, 1572 (эта книга вошла в учебную библиотеку герцога Альбрехта Фридриха: GStAPK XX. HA EM 50_a34. S. 5^r).

⁵⁹ *Sickius P.* Oratio fvnbris de obitu illvstrissimi principis ac domini D. Alberti lunioris, Ducis Megaloburgensis, etc. Anno Christi 1561, die 2. Martij, in Monte Regio defuncti. Wittenberg, 1561; *Voit D.* Oratio de obitu illustrissimi principis ac domini Alberti, Ducis Megalopyrgensis. Wittenberg, 1561 (GStAPK ВРН Rep 42 I К 2. S. 80^v, 82^v, 83^r).

⁶⁰ Письмо Кунигунды Дитрих герцогу Альбрехту, 4.VI.1549 (GStAPK XX. HA НВА А 4 К. 222).

⁶¹ Письмо Кунигунды Дитрих герцогу Альбрехту (первая половина 1550 г.) (GStAPK XX. HA НВА А 4 К. 224). *Dietrich V.* In primum Librum Mose Enarrationes Martini Lutheri, plenae salutaris & Christiane eruditionis. Wittenberg, 1550.

⁶² Письма Георга Венедигера герцогу Альбрехту, 28.IV.1548, 10.X.1549 (GStAPK XX. HA НВА А 4 К. 219, 223).

⁶³ Письмо Рурдта фон Гиттельде герцогу Альбрехту, 5.III.537 (GStAPK XX. HA НВА А 4 К. 196).

⁶⁴ Письмо Кристофа Йонаса герцогу Альбрехту, 24.IV.1540 (GStAPK XX. HA НВА J 4 К. 926).

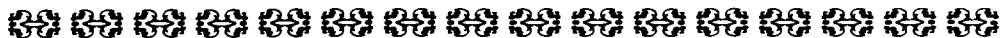
⁶⁵ Подробнее о положении женщины в раннее Новое время см.: *Wiesner M.* Women and Gender in Early Modern Europe (New Approaches to European History 1). Cambridge, 1993; *Wunder H.* “Er ist die Sonn”, sie ist der Mond”. Frauen in der Frühen Neuzeit. München, 1992.

⁶⁶ Письмо Юстуса Йонаса герцогу Альбрехту, 11.I.1561 (GStAPK XX. HA НВА А 4 К. 240).

⁶⁷ О стратегиях социальной репрезентации на ренессансных изображениях см.: *Burke P.* Städtische Kultur in Italien zwischen Hochrenaissance und Barock. Eine historische Anthropologie. B., 1987. S. 136–145.

⁶⁸ *Shevchenko N.* Eine historische Anthropologie des Buches. Bücher in der preußischen Herzogsfamilie zur Zeit der Reformation. Göttingen, 2007. S. 241–245.





ОБРАЗ “ЧУЖОГО” В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ И ПРОПАГАНДЕ ФРАНЦИИ ЭПОХИ ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН

И.Я. Эльфонд

Средневековье с его строго определенным представлением о незыблемости положения каждого человека в социуме вырабатывало образ “чужого” прежде всего как изгоя, человека вне закона (что иногда заметно даже в этимологии). Становление национальных государств, формирование национальной идеологии, ход Реформации, начинавшаяся борьба за гегемонию в Европе способствовали смене идеологических стереотипов; образ чужака в XVI в., как правило, совпадает с образом врага и во многом связан с особенностями политической пропаганды. Вполне естественно, что в наибольшей мере разработке новых представлений о “чужом” уделили внимание идеологи тех стран, которые вели длительные войны или испытали внутривнутриполитические конфликты, сопровождавшиеся чужеземной агрессией.

Франция в XVI в. дает исключительный пример сознательного и целенаправленного конструирования образа “чужого”, фактически приравненного к образу врага. На этом процессе сказались Итальянские войны, которые воспитывали французов в недоброжелательстве к иностранцам, прежде всего к итальянцам и испанцам, но еще более мощным фактором явились гражданские войны второй половины века, когда была создана система пропаганды и всеми лагерями с одинаковым усердием создавался и обыгрывался образ “чужого”. Особенность французского варианта этого образа (в отличие от аналогичных поисков в других странах) в том, что он приобретает различное наполнение в зависимости от политической и религиозной среды, в которой он формировался, при том, что сохраняется типичная для XVI в., пожалуй, главная характеристика образа “чужого” – понимание в прямом смысле слова как иностранца, идентификация всего негативного и скверного с иноземцами. В огромной литературе, посвященной истории духовной жизни Франции этого периода, почти не обращалось внимание на то, что политическая идеология построена на строго охранительных позициях, на неприятии всего инородного, хорошим считалось и заслуживало внимания (тем более одобрения) только французское, все прочее – от лукавого. Даже особые качества королевской династии основываются на том, что король “принадлежит к чисто французскому роду”¹. Поэтому формирование образа чужого оказа-

лось неразрывно связано с формированием представлений о национальной самоидентификации французов, с их взглядами на свое происхождение и прошлое народа.

Интерес к своему, национальному определил и детальное изучение древнейших традиций и родного языка, обращение к генезису и этногенезу французской нации, и лозунги возвращения к древнейшим обычаям (к порядкам времен Хлодвига). При этом в историографии по преимуществу утверждалась концепция слияния разных этносов в единый французский народ, за исключением протестантских историков, жестко настаивавших на германском происхождении французов и нередко объявлявших германцами даже галлов². Но и Ф. Отман, ведущий теоретик этого направления, которого впоследствии называли даже “отцом германистики”, утверждал, что происхождение французов было связано со слиянием двух народов (франков и галлов) в единый. Он провозгласил, что “вскоре после основания королевства Франкогаллия образовалась единая народность из двух так, как если бы этот народ оказался дважды рожденным, а в результате их взаимопроникновения возник единый язык, а также сплелись воедино установления, учреждения и обычаи”³. Было логичным прославлять как галлов, так и франков; галлы объявлялись “могучим и воинственным народом”, устрашавшим римлян на протяжении длительного времени. Но при этом восхваление собственных предков сопровождалось принципиальным отвержением и осуждением всего, что имело отношение к римлянам; галлы и франки противопоставлялись Риму как его антагонисты, и этот антагонизм объяснялся, с одной стороны, любовью к свободе, от природы присущей и галлам и франкам, и неприязнью ими разврата, жестокости и коварства Рима. Поэтому предки французов (галлы) заслуживают похвал как инициаторы сопротивления римскому владычеству, поскольку “они оказались первыми в мире, кто начал сбрасывать с себя ярмо столь могущественного тирана и требовать для себя освобождения от рабства у столь чудовищного изверга”⁴.

На этой крайней позиции сказалось влияние проблемы “чужака”: романский элемент во Франции на любом витке истории отрицался именно в связи с негативным отношением к современным итальянцам и прежде всего к папству и королеве-матери Екатерине Медичи. А как результат резко негативно оценивался даже процесс романизации Галлии и римского владычества в эпоху античности. Это не мешало тому же Отману утверждать, что французской язык “наполовину был создан из заимствований, почерпнутых у римлян”, что, тем не менее, также оценивалось как вредное для Франции явление. Таким образом, проблемы развития национальной истории и этногенеза французов оказались тесно связаны с понятием чужого и конструированием образа врага – в данном случае, римлян, точнее – итальянцев. Следует отметить, что столь резкое неприятие именно римского влияния (которое отрицать было бессмысленно даже в силу того, что именно на протестантском юге сохранилось множество римских памятников) было характерно для протестантской

пропаганды, но при этом памфлетисты сохраняют общую для французской историографии того времени точку зрения на синтетное происхождение французского народа как итога слияния различных по своему характеру и даже уровню развития племен и этносов. Но проблемы этногенеза и истории в период жесточайшей политической и конфессиональной конфронтации служили задачам политической пропаганды.

Политическая пропаганда Франции XVI в. в целом с момента появления первых памфлетов основывалась на разработке проблемы “свой–чужой” и обыгрывании образа врага. Именно они находились в центре внимания идеологов всех лагерей. Противопоставление интересов Франции и французов интересам чужестранцев неизбежно приводило к поиску врага, виновника всех бедствий. Им, естественно, становился прежде всего чужеземец. Сам факт нефранцузского происхождения уже должен был ориентировать французов на неприятие или прямое сопротивление этим людям, независимо от того, кто они были и как служили Франции. Французам вменялось в обязанность “действовать против всех иностранцев, которые готовят нам всеобщую гибель”⁵. Нередко встречались и прямые угрозы: “иностранцы, которые с некоторых пор привыкли править государством, впредь лишатся этого удовольствия”⁶.

Первыми к разработке указанной плодотворной идеи приступили идеологи протестантов. Классический для любой демагогической пропаганды вопрос “кто виноват?” получил детально разработанный ответ. Образ врага, как уже отмечалось выше, – это прежде всего образ врага-чужеземца. Естественным следствием разработки этой проблемы становились попытки внедрить в массовое сознание идеи ксенократии и ксенофобии. Доминирующей линией становится антиитальянизм; эта тема приобретает в пропаганде исключительный накал и становится самостоятельным приемом пропаганды. Страх перед итальянцами быстро трансформируется в проявление ненависти по отношению к ним: “Итальянцы завоевали такую милость и такое доверие при дворе благодаря своему искусству и изобретательности в деле вытягивания денег из простого народа”⁷. Италофобия своим возникновением и продолжительным существованием обязана была трем моментам – прежде всего правлению Екатерины Медичи, засилью итальянцев при дворе, неприятию учения Макиавелли (всеми лагерями без исключения)⁸.

Наиболее последовательные и убежденные противники итальянцев распространяли свое отношение к ним и на древних римлян, говоря о “тирании Рима”, о “зломном духе римлян”. Уже упомянутый Отман начал подобную пропаганду в самых ранних своих сочинениях и широко развернул ее во “Франкогаллии”, восклицая: “сколь жестоким и бесчеловечным было правление римлян, сколь свирепы были их разбои, сколь чудовищны были их злодейства, сколь омерзителен и ужасен образ жизни римлян, и как же горько ненавидели их галлы”⁹. В дальнейшем он ввел термин “италогаллы”, противопоставляя их как чужаков представителям французского народа, “франкогаллам”. С точки зрения Отмана “италогаллы сосут кровь и мозг из

несчастливого франкогалльского народа”¹⁰, подобно вампирам. Они для автора именно чужаки, враги Франции: “для французского королевства было гораздо больше пользы от гордых германцев, чем от италогаллов”. Очень существенно само введенное понятие – чужими оказываются не просто выходцы из Италии, но италогаллы, т.е. французы, покорившиеся итальянцам и служащие им. Впервые понятие чужого начинает применяться не к чужеземцу, а к уроженцам самой Франции, вина которых состоит даже не в том, что они – католики, а в том, что они предали интересы своей родины, по сути, перечень их “провинностей” сводится к коллаборационизму.

Еще более резок в трактовке образа врага-иностранца И. Жантийе; он заходил гораздо дальше других пропагандистов, декларируя, что все итальянцы по своей природе склонны к злу, и “подобно тому, как драгоценные камни ценятся дороже всего, поскольку они редко встречаются, то и благородные итальянцы должны почитаться, поскольку их крайне мало”¹¹. Неизвестный враг, чужак, итальянец очень быстро персонифицировался, его образ ассоциировался прежде всего с Екатериной Медичи. Она становится своего рода символом чужака, сознательно губящего Францию. Королева враждебна Франции и ведет политику, направленную на уничтожение страны, именно потому, что она – “чужеземка”, “она принадлежит к иному народу, являясь итальянкой и флорентийкой”¹².

Екатерина Медичи по этой причине не просто “разожгла гражданскую войну в королевстве”, но “столкнула между собой братьев и соседей”, “всегда старалась истребить дворянство”¹³. На идее чужака, подчеркивании враждебности к иностранцам базировалась и концепция недопустимости женского правления. Именно во избежание перехода короны к чужому необходимо отстранение женщин от наследования. А королевы-регентши, кричали во весь голос публицисты, не могут правильно оценивать ситуацию и проводить политику в интересах страны и народа, поскольку они – уроженки иных стран и в лучшем случае не могут ориентироваться в местных проблемах, в худшем – готовы предать интересы Франции (Бланка Кастильская, Брунгильда, Луиза Савойская, и конечно же, Изабелла Баварская)¹⁴. Таким образом, враждебными Франции провозглашались уроженки самых разных регионов Европы, но особую ненависть вызывали лица испанского и итальянского происхождения, что вполне корреспондировалось с политическими пристрастиями и антипатиями протестантов.

Не меньшую антипатию теоретики протестантов, а позднее и “политиков” питали к Лотарингскому дому и Испании. Раньше всего под прицел попали Гизы. Второй персонификацией образа врага чужестранца стал кардинал Лотарингский, “источник бедствий и гражданских войн, а значит, гибели и разорения этого королевства”¹⁵. Многочисленные памфлеты (и в особенности “Анти-Гизар”, 1586) подчеркивали чужеземное происхождение Гизов, из-за которого они готовы погубить Францию: “все беды из-за Лотарингского дома, инициатора последних новшеств, направленных на то, чтобы раздуть

новую гражданскую войну в этом королевстве, призвать в страну чужестранцев и проделать все это на деньги испанского короля”¹⁶. Особенно подобная пропаганда активизировалась в последний период войн, когда в полемику вступил декан Тулузского университета Пьер де Беллуа. Он потребовал, чтобы “французов оставили в покое при своих законах, под властью и милостью наших королей”¹⁷. Гизы становились “втирушами”, от этой “странной семейки” стоит избавиться, даже “отправив их куда-нибудь в Китай”. Они стремились, по утверждению публицистов, к узурпации власти, в крайнем случае, – отхватить себе часть страны под предлогом законного наследства: “Гизы хотят присвоить Анжу и Прованс, поскольку король якобы узурпировал их у предков Гизов, как и корона Франции была узурпирована у их предков”¹⁸. Не меньшую популярность приобретала тема испанцев, заключенных врагов Франции, и прежде всего их короля – “демона юга” Филиппа II.

Католики первоначально эту проблему не затрагивали, их образ чужого скорее являлся образом инакомыслящего, точнее инаковерующего, и был связан по преимуществу с проблемой Реформации. В дальнейшем, однако, они пошли по тому же пути и упорно настаивали на том, что Наваррские короли – тоже чужестранцы. Поскольку этот титул пришел по женской линии, а сама Испанская Наварра была давно утрачена королями-выходцами из французских феодальных родов, то объявить Генриха Наваррского не французом представлялось затруднительным. По этой причине продвигалась мысль о том, что “титул и звание короля Наваррского является фатальным и приносит бедствия Франции”¹⁹. Даже принцы крови, принимая титул королей Наваррских, автоматически становятся врагами Франции: “Шарль д’Эвре, принц крови ... стал королем Наварры в силу прав своей жены и причинил столько бед Франции, что наши историки зовут его вторым Нероном”²⁰. Характерно, что именно в отношении Генриха Наваррского ими применялась формула “чужой”: “бearnец – чужой по рождению и нравам”²¹.

При случае апологеты католической партии и Лиги могли предельно оскорбительно высказываться и в адрес других европейских народов. Так, главный оппонент Отмана П. Массон “именует немцев свиньями, а их родину – свиным хлебом”²². В адрес немцев звучит и другое обвинение, ставшее хрестоматийным: “немцы – пьяницы”²³. Практически среди ближайших соседей Франции не осталось ни одного народа, который не получил бы от французских публицистов всех партий свою порцию оскорблений и ругательств. Лигеры не упускали случая обругать и “английскую Иезавель”²⁴ (в их представлении сторонницу врагов Франции – гугенотов) за лицемерие и смену религии.

Второй модификацией образа “чужого” оказался иноверец. В условиях Реформации и Контрреформации вопрос о религиозном инакомыслии естественно оказывался связанным в политической идеологии и пропаганде с образом “чужого”. Выше уже упоминалось, что католики нещадно эксплуатировали образ чужака-иноверца. Для ярых католиков иноверец – это еретик,

а “еретики во сто раз хуже, чем турки, сарацины и язычники”²⁵. Именно инакомыслящие христиане, еретики, т.е. протестанты всех толков, оказались причиной преуспевания турок в Европе: “новоявленные еретики среди христиан являются единственной причиной могущества Османов, равно как и захвата и разграбления Греции с Константинополем, а также Венгрии”. Таким образом, католики сближали протестантов с мусульманами, обвиняя их в предательстве всей христианской общности и не упоминая о том, что обитатели Греции также исповедывали иную, чем католицизм, религию.

Враг-иноверец отождествлялся с иноверцами-чужеземцами: “те, кто борется с еретиками, имеют те же мотивы, что и христиане, сражающиеся с турками и язычниками в своих странах”²⁶. Иноверец не просто враг, война с ним – священна, “как же можно заключить мир с дьяволом?”. Цель ее – не просто борьба с чужаками, следовало “полностью выкорчевать врагов католической веры”²⁷. До крайности доходили лигеры, которые обвиняли своих политических противников (католиков!) уже не в принадлежности к иной вере, а в атеизме: “те, кто притворяется политиками, на самом деле атеисты”²⁸. Таким образом, не только иноверцы, но и лица, придерживающиеся умеренных взглядов, превращались в чужаков и оказываются в компании мусульман и язычников. Цели иноверцев для пропагандистов Лиги совершенно ясны, хотя их возможности, мягко говоря, преувеличивались: “они хотят уничтожить католическую веру и истребить всех без исключения католиков”²⁹.

С точки зрения какого-либо лигера, иноверец – враг Бога, “Кальвин возненавидел Бога”, и уже в силу этого он – чужак и враг Франции. А потому принадлежность к ереси автоматически влекла за собой и утрату прирожденных прав еретика, делала человека чужаком и изгоем: “Ваш наваррец вследствие принадлежности к ереси утратил свой ранг принца крови и право, по которому он мог бы наследовать корону”³⁰.

Наконец, проблема “чужого” имела еще одну трактовку: все большее значение приобретало подчеркивание морального разложения, также ставящего человека вне привычного круга, делающего его чужим для правильно живущего общества. Эта атака в основном коснулась двора; двор противопоставляется публицистами нормально мыслящему и существующему французскому обществу, он бросает своим аморализмом вызов всему народу. Соответственно нападки на разложение двора в начальных стадиях войн делались по преимуществу протестантскими публицистами: “Двор французского короля отвратителен из-за его разврата”³¹. При этом могли сочетаться и разные варианты образа “чужого”, нередко символом врага, “чужого” становился образ, сочетавший чужеземное происхождение, религиозное инакомыслие и моральную нечистоплотность.

Королевские советники также превращались пропагандой в чужаков в результате предательства и служения чужестранцам: “Измена королевских советников проявлялась открыто: одни превратились в прислужников

короля Испании, другие получали от него субсидии”³². Даже перечисление организаторов Варфоломеевской ночи строилось так, чтобы показать это событие как факт, осуществленный чужаками-иностранцами (Екатериной Медичи, Гизами, Гонзаго (Невером), Таванном)³³.

Огромное значение в этой связи приобретают генеалогические изыскания, авторы которых, пытаются решить проблему “свой–чужой”, либо доказывая французское (франкское) происхождение рода, либо его связь с французскими королевскими династиями. Доказательство обратного, т.е. проблемы “чужого”, также строилось на генеалогических данных. Так, опровергался любимый тезис лигерской пропаганды – происхождение Гизов от Каролингов. Прежде всего доказывалось их иноземное происхождение: как предки Гизов упоминались исключительно Генрих Лимбургский, Готфрид Арденнский, Готфрид Лувенский и Герхард Эльзасский. Кроме того речь шла о том, что Лотарингия не имела отношения к истории Франции и связана была исключительно со Священной Римской империей. И наконец, доказывалось, что Гизы не имеют никакого отношения к роду Каролингов: “императоры передавали герцогство пяти разным династиям, и оно ничего общего не имело с родом Карла Великого”³⁴.

Защитники Лотарингского дома, напротив, стремились доказать, что чужак по крови может быть верным слугой короля и служить Франции: поскольку выходцы извне “доказали свою верность долгим опытом и великими услугами”, то именно они оказываются “важнейшими и самыми верными слугами королевства” и “предпочтут защиту короны своей жизни”³⁵. Даже в разгар Лиги доказывалось, что “сеньоры из Лотарингского рода верно служили Франции”³⁶, отдавали жизнь за Францию не только Гизы, но и сами лотарингские герцоги. Таким образом, в пользу защиты “своих” вводится аргумент о верном служении стране, это как бы превращает “чужого” в “своего”, натурализует его.

Большую роль в создании образа чужака играло обвинение в принадлежности к роду, который либо дал еретиков (католики), либо проявил себя недостойно по отношению к Франции. Памфлетисты очень любили поминать еретический юг (“Раймонд IV был лишен своих прав, как и Наваррец, а также и Раймонд V со своим дядей королем Арагона”)³⁷. Кроме того, памфлетисты использовали такой прием, как напоминание о происхождении своих противников от изменников: “коннетабль Люксембургский, герцог Алансонский, именно от них происходит король Наваррский, как и от короля Карла Наваррского, прозванного Злым за тот вред, который он причинил Франции”³⁸. При этом уже не важны точные сведения: так, к предкам короля Наваррского памфлетисты прибавляют Дофина (вероятно, Овернского), герцога Немурского (из рода Арманьяков) и даже Лонгвилей (незаконной ветви царствующей династии)³⁹. Вполне логичным развитием этой тенденции стала разработка не только в публицистике, но и в политической теории проблемы ксенократии. С точки зрения идеологов и публицистов власть может идти против своего народа, выполняя чей-то заказ или установки только в одном случае: если

правитель не имеет отношения к данному государству и не является прирожденным государем. А потому он в лучшем случае безразличен к проблемам народа и судьбам родины: все налоги, поборы и обложения впервые возлагаются на бедный народ по “злобе и наущению чужестранцев вопреки древним законам и порядкам этого королевства”⁴⁰.

Постепенно сам образ “чужого” в пропаганде оказывается органически связанным с идеей ксенократии, т.е. чужой, ненациональной и уже в силу этого антинародной власти – дурное управление и возникающая тирания в пропаганде безоговорочно объяснялись происками итальянцев, немцев, лотарингцев и испанцев (в варианте Лиги – наваррцев, англичан и тех же немцев). Даже законный король вызывал сомнения, если он активно сотрудничал с чужестранцами: “добрых католиков мучает, что король Франции заключил странный союз с англичанами, Женевой, Седаном и другими еретиками”⁴¹. Генрих III “продал Францию немцам”. Тем более это относилось к противникам: “они призывают на помощь англичан и немцев, но обрушиваются на испанского короля и герцога Савойского”⁴². Ксенократия, заклинали население Франции памфлетисты, обязана свошй возникновением либо незаконному присвоению власти, либо ее прямому захвату: “захватили управление Францией, украв эту честь у принцев крови”⁴³.

Главным занятием, которое инкриминировалось чужакам, было стремление вмешиваться не в свое дело и захватить власть. Католики обвиняли в этом всех протестантов: “обычное занятие гугенотов – мешаться в дела, которые их совершенно не касаются, раздувать ссоры между принцами”⁴⁴. Чужак не должен этого делать: “мы благодарим Вас, но просим не вмешиваться в наши дела”⁴⁵.

Тезис о наличии ксенократии во Франции служил для разжигания ненависти к чужакам, приводившей к ксенофобии. Более отчетливо эта черта проявилась в сочинениях протестантов, где постоянно речь шла об “иностранцах, которые под предлогом службы королю используют ее возможности против бедных гугенотов и политиков”. Особое место занимал “демон юга”; по мнению гугенотов, “в этом королевстве командует не кто иной, как король Испании”⁴⁶. Следует отметить, что в позднейшие времена резко негативное отношение к испанцам и Испании отчетливо выражают и умеренные католики, защитники легитимизма. Даже очень сдержанный А. Арно весьма критически отзываясь об испанцах, подчеркивая их “варварское” происхождение и бросая тень на их “чистоту крови” из-за длительного существования с арабскими завоевателями. В его представлении “испанцы – раса готов и сарацин”⁴⁷. Еще более резки авторы “Менипповой сатиры”, прямо направленной против испанцев и “испанской панацеи” от всех бед: “Старый лис, испанский король знает, как нас обманывать, он ведает природу французов”⁴⁸. Авторы популяризируют мысль, широко известную по памфлетам эпохи: испанцы – заклятые враги Франции. А сторонники Испании – доверчивые дураки: поскольку вполне готовы, вдохновленные

речью ректора университета, положить свою жизнь, но не за Францию, “дав клятву сражаться и умереть за Лотарингских принцев и, если понадобится, и за короля Испании”⁴⁹. Характерно, что в “Менипповой сатире” даются не просто политические рекомендации всем французам, в том числе и депутатам штатов (отказаться от Лиги и подчиниться власти законного государя, француза по крови), но и советы избавиться от недостатков, приобретенных прирожденными французами в результате воздействия на них чужестранцев, в частности от “испанского хвастовства, неаполитанской лже-доблести и склонности к мятежу валлонов”⁵⁰.

Хотя большинство положений, связанных с ксенофобией и резко негативным видением “чужого”, присутствовали в публицистике всех лагерей, утвердилось только два момента – сама идея о наличии ксенократии, правлении чужаков, и италобобия. Таким образом, тема бедной Франции и идея ксенократии объективно приводили через конструирование образа “чужого” к вспышке националистической истерии во французской пропаганде эпохи гражданских войн XVI в.

Пожалуй, идеи ксенофобии и ксенократии впервые настолько открыто и в таких масштабах использовались в политической идеологии и публицистике. Неприятие чужаков, противопоставление их национальным традициям и порядкам, апология всего французского составляли основную часть доводов теоретиков различных лагерей. Так закладывались основы системы политической пропаганды.

Вместе с тем во Франции имелось существенное отличие от аналогичной пропаганды в других странах Европы. Здесь решение проблемы “чужого” связывалось не только с идеей нефранцузского происхождения или подданства, но и с политической ориентацией: по сути, только здесь чужаками представители других народов объявлялись в зависимости от той или иной политической ориентации и партийных пристрастий. Для одних французов чужим оказывался уроженец Италии или Испании, для других – немец или уроженец Наварры, причем эта поляризация выражена очень отчетливо и далеко не всегда зависела от конфессиональной принадлежности. Католики, подобно протестантам, вполне могли оценивать как чужих итальянцев или испанцев.

Кроме того при отчетливом неприятии “чужого” вполне принималась и широко использовалась идея синтезного происхождения французского народа. Наконец, в разгар всеобщей нетерпимости в публицистике изредка мелькает и здравая мысль о том, что представитель другого народа, выходец из другой страны может акклиматизироваться, верно служить новой родине и натурализоваться. Наконец, немаловажен тезис о том, что не всегда уроженец своей страны является в ней своим: Он может стать чужим если предает ее интересы или ставит конфессию выше интересов общества или государства. Таким образом, хотя в принципе отношение идеологов и публицистов к этой проблеме и связано со строго охранительными позициями, в целом проблема чужого и ставится и решается несколько шире.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Arnault A.* Fleur de Lys. P., 1593. P. 7.

² *Hotman F.* Matagonis de matagonibus decretorum baccalauvrey monitoriale adversus Italogalliam sive antifrancogalliam Anthonii Matharelli alvernogeni. S.I., 1574. P. 19.

³ *Hotman F.* Francogallia. Cambridge, 1972. P. 284.

⁴ *Ibid.* P. 178.

⁵ Exhortation a la paix. S.I., 1563. P. Biiij-r.

⁶ Declaration et protestation de Monseigneur Henry de Montmorency. S.I., 1586. P. 7.

⁷ Responce a une lettre escrite a Compiegne de 4 jour d'aoust touchant les mescontennants de la noblesse de France. S.I., 1567. P. B3.-r.

⁸ См. *Kelley D.* Murd'rous Machiavel in France // Political Science Quaterly. 1970. LXXXV. P. 545–559; *Эльфонд И.Я.* Макиавелли, макиавеллизм и антимакиавеллизм во французской общественной мысли эпохи гражданских войн // От средневековья к Возрождению. СПб., 2003.

⁹ *Hotman F.* Francogallia. Cambridge, 1972. P. 180.

¹⁰ *Hotman F.* Matagonis de matagonibus decretorum baccalauvrey monitoriale adversus Italogalliam sive antifrancogalliam Anthonii Matharelli alvernogeni. S.I., 1574. P. 22.

¹¹ *Gentillet I.* Anti-Machiavel. Genève, 1968. P. 41.

¹² Высшего накала полемика достигает после Варфоломеевской ночи, Екатерина Медичи становится "антигероем" в знаменитом памфлете (*Estienne H.*) Discours merueilleuse de la vie, actions et deportement de Catherine de Medicis, Roynes-mère. Geneve, 1575. P. 145.

¹³ *Ibid.* P. 145, 146, 150.

¹⁴ Помимо указанного памфлета, этому доказательству посвящена полностью XXVI глава "Франкогаллии" Ф. Отмана.

¹⁵ Sommaire discours sur la rupture et infraction de la paix et Foy publique et sur les moyens qui tient le cardinal de Lorraine pour subvertir l'estat de la France et en'investir L'Espagnol. S.I., 1568. P. 23.

¹⁶ Declaration et protestation de Monseigneur Henry de Montmorency. S.I., 1586. P. 10.

¹⁷ *Belloy P. De.* L'Examen du Discours public centre la maison royale de France et particulierement contre la branche de Bour bon seule reste d'icelle sur la Loy Salique et succession du Royaume. S.I., 1587. P. 12.

¹⁸ Brief discours sur les moyens qui tient le cardinal de Lorraine pour empecher l'establisement de la paix et ramener les troubles en France. S.I., 1568. P. Cijj-r.

¹⁹ Responce a l'Anti-Espagnol, seme ces jours passes par les rues et carrfours de la ville de Lyon de la part des conjures qui avoyent conspire de livrer la dicte ville en le puissance des heretiques. Lyon, 1590. P. 60.

²⁰ Le remerciement des catholiques unis fait à la declaration et protestation de Henri de Bourbon, dict le Roy de Navarre. Lyon, 1589. P. 6, 62. При этом как-то забывалось, что упомянутая женщина (Жанна Французская) сама была француженкой, дочерью французского короля Людовика X и принцессы французского королевского рода Маргариты Бургундской. И уж совсем было непроспительно то, что Карл Злой объявляется ее мужем, а не сыном.

²¹ *Dorlean L.* Responce des vrays catholiques francois. S.I., 1588. P. 27.

²² *Hotman F.* Strigilis Papirii Massoni. sive Remediale charitativum contra radiosam frenesim Papirii Massoni lesuitae escucullati: per Mathagonidem de Mathaginibus baccalaurem formatum injure canonico et in medicinae si voluisset. S.I., 1578. P. 32.

²³ *Ibid.* P. 30.

²⁴ *Dorlean L.* Le Banquet et aspredinée au comte d' Arète. Arras, 1593. P. 90.

²⁵ *Dorlean L.* Advertissement des catholiques anglois aux François catholiques. S.I., 1586. P. 16r.

²⁶ Justification de la guerre entreprise, commencee et poursuivree sous la conduite de tres valereux et debonnaire prince Monseigneur due de Mayenne. P., 1589. P. 25.

²⁷ Graces et louanges deves à Dieu pour la justice faicte du cruel tyran et ennemi capital de la France. P., 1589. P. 16.

²⁸ *Dorlean L.* Advertissement des catholiques anglois aux françois catholiques. S.l., 1586. P. 23r, 47v; *Idem.* Responce des vrays catholiques francois aux catholiques anglois. S.l., 1588. P. 14.

²⁹ *Dorlean L.* Advertissement des camoliques anglois aux françois catholiques. S.l., 1586. P. 23r.

³⁰ Le remerciement des catholiques unis fait à la declaration et protestation de Henri de Bourbon, diet le Roy de Navarre. Lyon, 1589. P. 20, 48.

³¹ Discours par Dialogue. S.l., 1569. P. Gijj.

³² *Hotman F.* Discours simple et veritable des rages exercees par la France des horribles et indignes meurtres commis en personne de Gaspar de Coligny, admiral de France, et de plusieurs grands, seigneurs, gentilhommes et du lache et estrange carnage non fait indifferens chrestiens qui sont peu recouvrer en la plupart des villes de ce royaume sans respect aucun du sang, sexe, aage ou condition. (Basel), 1575. P. A5v.

³³ *Ibid.* P. 33/34.

³⁴ Extraict de la genealogie de Hugues surnomme Capet roy de France et des derniers successeurs de Charlemagne. S.l., 1594. P. 22. Герцогство передавалось действительно разным династиям, но сам род правивших в Лотарингии в XVI в. герцогов (а значит, и Гизов, являвшихся младшей ветвью этого рода) восходил по женской линии к Карлу Великому: основатель его был женат на дочери последнего из Каролингов, Карла, герцога Нижней Лотарингии.

³⁵ Advis au roy sur le fat de la religion donne par Monseigneur le Prince de Conde. P., 1562. P. E3-v, El-r.

³⁶ Responce de par messieurs de Guise à un advertissement. S.l., 1585. P. 8, 13–14.

³⁷ Le remerciement des catholiques unis fait à la declaration et protestation de Henri de Bourbon, diet le Roy de Navarre. Lyon, 1589. P. 54.

³⁸ Sommaire responce à l'Examen d'un heretique sur un discours de la Loy Salique fausement pretendu contre la maison de France et le branche de Bourbon. S.l., 1587. P. 34.

³⁹ *Ibid.* P. 20.

⁴⁰ Declaration et protestation du Monseigneur de Damville, Marechal de France. Strasbourg, 1575. P. B2.

⁴¹ Le bon francois ou la guerre des gaulois. S.l., 1589. P. 7.

⁴² Advis au roy. P., 1562. P. El-v.

⁴³ *Hotman F.* Le tigre. P., 1560. P. 47.

⁴⁴ Responce de par messieurs de Guise à un advertissement. S.l., 1585. P. 10.

⁴⁵ Le remerciement des catholiques unis fait à la declaration et protestation de Henri de Bourbon, diet le Roy de Navarre. Lyon, 1589. P. 4.

⁴⁶ Responce à une lettre escrete a Compiegne du 4 jour d'Aoust touchant les mescontennants de la noblesse de France. S.l., 1567. P. Biiij-r.

⁴⁷ *(Arnaud A.)* Fleur de Lys. P., 1593. P. 39.

⁴⁸ Satyre Ménippée de la Vertu du Catholicon d'Espagne et de la tenue des Estats de Paris. P., 1889. P. 261.

⁴⁹ *Ibid.* P. 26.

⁵⁰ *Ibid.* P. 260.





ВЕНГЕРСКИЕ СТУДЕНТЫ В ИТАЛЬЯНСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ В КОНЦЕ XVI в.

Т.П. Гусарова

Первый университет на территории Венгерского королевства открылся в 1637 г. До этого времени, да и позже венгерская молодежь получала высшее образование в Европе. До XVI в. большая ее часть устремлялась в итальянские университеты. Этому способствовали издавна установившиеся культурные контакты Венгрии со странами Апеннинского полуострова. То обстоятельство, что начиная с XIV в. венгерский трон занимали чужеземные династии (сначала Анжуйская, затем Люксембургская), теснейшим образом связанные с другими регионами Европы, обеспечивало достаточную открытость венгерской правящей элиты внешнему миру. Растущее влияние гуманизма в Европе в XVI в. укрепляло эти отношения. Уже в правление Сигизмунда (Жигмонда) Люксембурга выросло число студентов из Венгерского королевства, получивших образование в итальянских университетах, поскольку стала острее ощущаться потребность в гуманистически образованных специалистах для государственного управления. По возвращении домой бывших студентов ожидала работа в первую очередь в королевской канцелярии наряду с высокими должностями в церковной иерархии. Среди выдающихся выпускников итальянских университетов этого времени следует упомянуть Яноша Витезя, Яна Паннония. При Матяше Корвине связи с ренессансной Италией расширились, его двор активно приобщался к достижениям ренессансной культуры. При поддержке самого короля и некоторых прелатов в итальянских университетах учились десятки выходцев из Венгерского королевства.

В XVI в. география университетского образования для студентов из Венгрии расширилась. Италия по-прежнему занимала ведущее место, но к ней добавились Германия, Чехия, Польша, когда с приходом на венгерский престол Ягеллонов при королевском дворе усилилось влияние немецкого, чешского и польского гуманизма. С началом Реформации протестантская молодежь стала ориентироваться на университеты Северной Германии, особенно Гейдельберг, Виттенберг, Эрфурт, Страсбург. Учащихся из Венгрии можно было также встретить в Женеве, Базеле, голландских университетах и даже Англии. Католики охотнее отправляли своих детей в Вену, Грац, Кра-

ков, Оломоуц, Падую, Болонью. В университетах Сиены и Феррары также учились студенты из венгерских земель. Заметный поток учащихся направлялся в Рим, в основанный еще Игнасием Лойолой Римский коллегиум, под началом которого действовал Венгерско-Германский коллегиум (Collegium Germanicum Hungaricum) для студентов из германоязычных земель и Венгрии. Среди наиболее часто посещаемых были Виттенбергский, Гейдельбергский и Падуанский университеты. Несмотря на обозначенные приоритеты католиков и протестантов, четко разделить “образовательные потоки” все же не представляется возможным. Так, Италия с ее богатыми традициями университетского в целом и гуманистического в частности образования протестантов привлекала не меньше, чем католиков.

В целом в XVI в. отмечается заметный рост численности отправлявшихся за образованием за рубеж студентов из венгерских земель, а также из Трансильвании. После перенесения резиденции венгерских королей из Буды за пределы Венгерского королевства двор князей появившегося на политической карте Трансильванского княжества в определенной мере взял на себя роль и функции хранителя и носителя венгерской культуры. Как таковой он не был изолирован и от европейской культуры, развиваясь в одном направлении с ней и обогащаясь за счет нее. Мирное правление князей Батори в княжестве вплоть до конца XVI в. (до Жигмонда Батори) создало благоприятные условия для развития духовной культуры. Батори покровительствовали наукам и искусствам, обращали внимание на развитие местных школ, активно поддерживали стремление молодежи получать высшее образование за границей. К нему приобщился и сам князь Иштван Батори, будущий польский король Стефан Баторий, учившийся в 1550-е годы в итальянских университетах. Пример князей оказывал благотворное влияние и на знать. Ее представители не только посылали своих сыновей для учебы в чужие земли, но и материально поддерживали в этом отпрысков обедневших дворянских семей. Так же поступали и городские власти.

Сведения о студентах из Венгерского королевства (а со второй половины XVI в. и из Трансильванского княжества), обучавшихся в европейских университетах, уже давно стали объектом пристального внимания венгерских исследователей. Ими изучались и были изданы матрикулы многих высших школ, из которых мы узнаем численность, имена студентов из Венгрии и Трансильвании и годы их обучения в том или ином университете. В связи с нашим сюжетом особый интерес представляют венгерские матрикулы университетов Италии (Падуи, Болоньи, Рима, Феррары, Сиены, Павии, Модены, Пармы), опубликованные Э. Вершем¹. Этот же историк издал отдельным томом списки венгерских студентов Падуанского университета, снабдив их подробными комментариями и вспомогательными материалами источников, имеющими отношение к теме².

Богатые по содержанию, эти тома тем не менее предоставляют мало данных о том, в каких условиях жили и получали высшее образование студенты

из Венгрии и Трансильвании за рубежом. Этот пробел в определенной мере могут заполнить немногие сохранившиеся письма студентов домой, из которых мы воспользовались восемью дошедшими до нас письмами венгерского студента из Трансильвании Дьёрдя Корниша, обучавшегося в Германии и Италии в конце 80-х – начале 90-х годов XVI в.³ Мы дополнили их тремя письмами Миклоша Богати, разделившего со своим товарищем и дальним родственником Дьёрдем Корнишем тяготы студенческой жизни за границей⁴.

Письма молодых людей адресованы родителям, они содержат информацию о повседневной жизни иностранных студентов за границей, в первую очередь о способах и путях их адаптации к непривычным условиям существования в чужом месте. Мы узнаем об их быте, жилищных условиях, переездах из страны в страну, из города в город и связанных с ними трудностях, о состоянии здоровья, об источниках существования, расходах. Из писем можно восстановить картину того, как уехавшие за границу учащиеся поддерживали связи с родиной, какими путями попадала к ним и от них домой корреспонденция, какими способами они получали содержание из дома и т.д. Обширная информация о повседневной жизни, содержащаяся в письмах Корниша и Богати, дает возможность заглянуть глубже и поставить вопрос о том, можно ли говорить о венгерских студентах за границей как некой культурной и социальной общности. Что их связывало между собой? Какие цели они ставили перед собой, на долгие годы отрываясь от дома? Что значила для них родина?

* * *

О Дьёрде Корнише (умер в апреле 1594) известно крайне мало – в основном то, что он пишет о себе в письмах к родным. Он не успел заявить о себе, поскольку рано умер в Италии, так и не закончив учиться в университете. Его имя не попало даже в известные генеалогические справочники, хотя его роду уделяется в них немало места. Венгерский дворянский род Корниш был хорошо известен в Трансильвании, куда он переселился после раздела Венгрии между Фердинандом I Габсбургом и Яношем Заполяяи. По своему материальному положению Корниши принадлежали к среднему дворянству. Не обладая крупным состоянием, семья располагала прочными и широкими общественными связями и активно участвовала в политической жизни. Отец Дьёрдя Фаркаш Корниш был главным капитаном и королевским судьей в Удвархейсеке, в 1576 г. он сопровождал Иштвана Батори, избранного польским королем, в Польшу⁵. Дядя по отцовской линии Михай управлял секейскими соляными шахтами. Мать происходила из известного в Трансильвании рода Бетленов. Сестра Дьёрдя Анна вышла замуж за будущего трансильванского князя Мозеша Секея⁶. Семья принадлежала к унитаристской церкви и много сделала для укрепления унитаризма в секейских землях.

Дьёрдь был одним из восьми выживших детей в семье Фаркаша Корниша. Родители заботились о воспитании детей и старались дать сыновьям

хорошее образование. Существует предположение, что их наставником одно время (с 1585 по 1587 г.) был известный поэт Миклош Фазекаш Богати, которого Фаркаш специально пригласил к своим детям⁷. До европейских университетов Дьёрдь Корниш успел поучиться в отечественных школах. Его имя значится среди учащихся гимназии Брашшо, основанной известным в то время в Трансильвании педагогом Хонтером⁸. В одном из писем к родителям Дьёрдь упоминает также о лишениях, которые он претерпел во время учебы в Коложваре (совр. Клуж в Румынии)⁹.

26 мая 1587 г. Дьёрдь Корниш был отправлен отцом в Германию на учебу. Неизвестно, сколько лет в то время было юноше. Во всяком случае, Фаркаш не рискнул отпустить его одного в дальний и опасный путь и вверил заботам Яноша Дечи Бараньяи, небезызвестного в Трансильвании литератора и деятеля Реформации, который сопровождал отправленного на учебу в Виттенберг молодого Ференца Банффи, кузена Дьёрдя, сына ишпана комитата Добока Фаркаша Банффи¹⁰. Они в свою очередь присоединились к трансильванскому посольству, отправленному Жигмондом Батори в Варшаву на коронационный сейм. В составе посольства был также клужский врач Бернат Якобинус и канцлер князя Жигмонда Батори Фаркаш Ковачоци, родственник Дьёрдя по материнской линии¹¹, которые также заботились в дороге о молодом Корнише.

Из Варшавы юноши под присмотром старших добрались по Висле до Гданьска, оттуда через Щецин и Берлин доехали до Виттенберга, где путешественники разделились¹²: Ференц Банффи, а вместе с ним и Янош Дечи Бараньяи стали студентами университета (обучение последнего оплачивал отец Ференца). В это время в матрикулах университета вместе с ними были отмечены и другие венгры, с которыми Корниша связала судьба. Среди них были сын крупнейшего венгерского магната и государственного деятеля, верховного капитана Задунайских областей Шимона Форгача Михай Форгач и его наставник Деметер Краккои. Последний также записался в университет, его учение оплачивал Шимон Форгач. Мы не знаем, приехали они в составе той же группы, что и Корниш, или в другое время.

Дьёрдь же вместе с Бернатом Якобинусом поехал в Гейдельберг, где 16 августа записался в университет. Однако Бернат вскоре покинул город и юного протеже, так как у него были свои дела в Европе: он занялся поисками преподавателя для унитаристского коллегиума в Коложваре¹³. Как видим, дорога из дома заняла у венгров около трех месяцев, что, несомненно, было большим испытанием для Корниша, впервые попавшего за границу. Вместе с Дьёрдем в Гейдельбергский университет поступили его соотечественники Кандор Шомбори¹⁴, родственник по материнской линии, и Мартон Будаи, также, очевидно, родственник Корнишей¹⁵; они прибыли в составе той же группы через Польшу. Шандор Шомбори принадлежал к более влиятельному и состоятельному, чем Корниши, слою трансильванского дворянства¹⁶. В Германии и Италии его сопровождал некто иной, как будущий известный

венгерский писатель-гуманист Иштван Самошкёзи¹⁷, который использовал время пребывания в Италии для собственных университетских штудий и литературной деятельности. Шандор оставался университетским товарищем Корниша все последующие годы, и не только в Германии, но и в Италии. В январе 1589 г. к ним присоединились Миклош Богати с братом, сыновья ишпана комитата Фехер Болдижара Богати и родственники Дьёрдя по отцовской линии. Помимо названных молодых людей, в Гейдельберге учился еще один венгерский выходец из Трансильвании Янош Хертель, много раз упоминавшийся в письмах Дьёрдя Корниша, который впоследствии стал заметной фигурой в истории венгерской трансильванской культуры того времени.

Таким образом, перед нами выступает довольно большая и сплоченная группа венгров из Трансильвании и Венгрии, одновременно предпринявших поездку с целью поступить учиться в германские университеты. Возможно, они собрались вместе не случайно: похоже на то, что родители имели некую договоренность о том, чтобы не оставлять своих сыновей в одиночестве в чужой стране. Учитывая имевшиеся между этими людьми родственные и общественные связи, можно вполне допустить такую договоренность. Подобная забота была тем более целесообразной, что не все родители имели возможность приставить к своим детям наставников и педагогов, которые опекали бы их на чужбине, как это было распространено в богатых семьях, например, Листиев¹⁸, Форгачей¹⁹, Шомбори и др. Нельзя утверждать, что рассмотренное нами совместное путешествие с образовательными целями было распространенной практикой в жизни венгерско-трансильванского дворянства. Но в любом случае мы видим некий пласт, в котором отражаются родственные, общественные, политические связи, позволявшие определенной группе держаться вместе и поддерживать контакты в самых разных ситуациях. Обращает на себя внимание тот факт, что сопровождавшие некоторых из юношей молодые наставники также получили возможность поступить в университет, причем их содержание оплачивали отцы их подопечных. По счастливому совпадению в этом “заезде” венгерской молодежи среди наставников оказались впоследствии выдающиеся фигуры венгерско-трансильванской истории и культуры.

В Гейдельберге Дьёрдь Корниш провел четыре года, посещая, очевидно, артистический факультет. Когда в 1589 г. в Гейдельберг приехал Миклош Богати, юноши поселились вместе, о чем упоминал Миклош в своем письме к матери Дьёрдя. Богати писал, что они живут и учатся вместе, любят друг друга, как братья, будут поддерживать эту любовь и, когда понадобится, помогать друг другу на чужбине²⁰. Дьёрдь в свою очередь сообщал матери, что много помогает Миклошу в учении²¹. В 1588 г. к Дьёрдю присоединился его младший брат Миклош, но по крайней мере с 1591 г. братья жили порознь, так как отец устроил младшего сына пажом ко двору баденского герцога-регента Иоганна Казимира, опекуна малолетнего курфюрста Фридриха IV. Дьёрдь и Богати опекали его и, по словам последнего, при встречах “учили

уму-разуму”, так что Миклош постоянно чувствовал внимание и поддержку со стороны родственников и земляков.

В начале 1591 г. Дьёрдь и Миклош Богати надумали расстаться с Гейдельбергом и продолжить учение в Италии. Этому решению предшествовали серьёзные раздумья Дьёрдя о том, куда ехать учиться. О том, чтобы вернуться домой, пока речь не заходила. В этом не было ничего особенного, потому что весьма распространенной была практика многолетнего пребывания юношей в зарубежных университетах и перемещение из одного в другой²², на неё ориентировался и сам Дьёрдь, о чем и писал домой родным²³. Когда перед семьёй встал вопрос, где Дьёрдю продолжать учебу, очевидно, отец советовал какой-нибудь из западноевропейских университетов: во Францию или даже в Англию. Но Дьёрдь предпочёл Падую, объяснив это несколькими причинами: войнами и голодом во Франции, опасностями пути в Англию и недостатком времени для нее. Кроме того, они с Миклошем Богати узнали от приехавших в Гейдельберг соотечественников, какими преимуществами пользуются при дворе Жигмонда Батори те, кто знает итальянский язык – и это обстоятельство склонило их в пользу Италии²⁴. Наконец, Дьёрдя прельстила дешевизна Падуи, о чем ему писал Шандор Шомбори, поступивший в Падуанский университет в марте 1591 г.²⁵ Переезд из Германии в Италию оказался делом трудным. Друзья долго не могли отправиться в путь. Им надо было расплатиться с долгами, которые они наделали из-за дороговизны жизни в Гейдельберге, найти деньги на предстоящую поездку, подождать попутчиков. Дождаться денег из дома у них не было времени, поэтому юноши взяли некую сумму в долг в казне герцога-регента²⁶. Дорога из Гейдельберга в Падую заняла месяц (с 18 сентября по 17 октября). Студенческая компания была, очевидно, пестрой, Дьёрдю и Миклошу пришлось держаться особняком от других из-за скромных средств, которыми они располагали. Юноши так сильно экономили, что товарищи насмеялись над ними²⁷. Дьёрдь не уложился в сумму в 37 золотых, очевидно, оговоренную с отцом, и оправдывался перед ним большой дороговизной.

Последующие три года Дьёрдь Корниш провел в Падуанском университете, записавшись, как и Миклош Богати, на артистический факультет²⁸. Здесь он и его товарищ не оказались в одиночестве. Студенты из Венгрии и Трансильвании давно проложили дорогу в этот старейший университет Европы. Они учились на артистическом, юридическом и медицинском факультетах. Нельзя сказать точно, сколько земляков Корниша находилось в это время в Падуе, так как состав студентов менялся: они уезжали и возвращались, снова уезжали. По крайней мере, о пятерых Дьёрдь упоминает в своих письмах: Миклоше Богати, Шандоре Шомбори, Яноше Хертеле, Михае Форгаче и Ференце Ваше. Трое из них учились в Гейдельберге в одно время с Корнишем и поддерживали с ним тесные контакты. Приехав в Падую, Корниш и Богати не застали там Михая Форгача и Шандора Шомбори, которые уехали в Неаполь и Рим. Вместе с ними отправились наставник Шомбори Иштван Самошкези и

Бороться с безденежьем было трудно не только потому, что расходы превышали возможности родителей Дьёрдя Корниша. Деньги из дому шли к студентам долго и очень сложными путями. Их передавали или с заезжими купцами – и тогда приходилось ждать очень долго. Или родители просили знакомых банкиров за рубежом переслать сыновьям необходимую сумму. В письмах Дьёрдя Корниша встречаются имена двух венских банкиров: Лазаря Хенкеля и Георга Казбека. Пока Дьёрдь учился в Гейдельберге, деньги ему пересылались через нюрнбергского агента Лазаря Хенкеля³⁹, а в Италию денежное содержание попадало через венецианского агента Георга Казбека⁴⁰. Уже упоминалось о том, что братья Корниши прибегали к займу денег у герцога-регента Иоганна Казимира. Нужно было также заботиться о том, чтобы деньги из дома заказывались в соответствующей валюте, так как из-за различия курса в разных местах деньги обесценивались⁴¹.

Трудности возникали не только с пересылкой денег, но и с перепиской. Из-за больших расстояний и сложностей сообщения письма шли месяцами, а нередко и пропадали. В 1588 г. Дьёрдь писал матери, что, очевидно, несколько его писем пропали. Когда случалась оказия, он старался написать сразу несколько писем. Так, 2 апреля 1593 г. он написал письма отцу, матери и Фаркашу Ковачоци. Иногда, при счастливом стечении обстоятельств, родители читали письмо от сына уже через месяц после отправления (письмо к отцу от 7 ноября 1591 г.). Но случалось, что переписка прерывалась на год, о чем мы узнаем из письма Дьёрдя к отцу, датированного 13 марта 1592 г.⁴² Судя по письмам, Дьёрдь был хорошим сыном и братом, не забывал родных и переживал эти перерывы в семейной переписке. Несмотря на стесненные обстоятельства, он выискивал возможность, чтобы при случае передать домой какие-нибудь подарки: то перчатки и гребень для матери, то книги для одного из братьев. В Падуе он не переставал интересоваться жизнью оставшегося в Германии младшего брата и советовал отцу забрать того домой, чтобы там дать возможность продолжить учение и найти хорошее место⁴³. Он радовался удачному браку своей сестры, вышедшей замуж за достойного человека.

Несмотря на сбой в переписке, Дьёрдь Корниш не был оторван от дома и от родины. Круг его корреспондентов, судя по упоминаниям в письмах, был чрезвычайно широк. Он переписывался не только со своими родителями, но и с товарищами, родителями товарищей, например, Болдижаром Шомбори, Ференцем Банффи. Родители получали известия о своих детях не только от них самих, но и от их друзей и соучеников. В письмах Дьёрдя всегда находилось место для того, чтобы сообщить о состоянии дел своих друзей. Помимо близких Корниш состоял в переписке с секретарем трансильванского князя Фаркашем Ковачоци, получал от него ценные рекомендации, связанные с пребыванием на чужбине. Их ценность возрастала, с одной стороны, благодаря тому, что сам Ковачоци много лет провел в университетах Европы, с другой – благодаря тому, что он занимал важные позиции при княжеском дворе,

был в курсе всего происходящего на родине и мог быть полезным Дьёрдю в поисках жизненных перспектив. Почти в каждом письме Корниш ссылался на Ковачоци, приводя его мнение по самым разным вопросам. Дьёрдь писал и другим, менее близким людям при княжеском дворе. Королевскому судье и будущему воспитателю Габора Бетлена Андрашу Лазару Дьёрдь отправил подряд четыре письма, но ни на одно из них не получил ответа. Зато княжеский секретарь Бодоки поделился с ним своими впечатлениями о службе князю, которой он был очень доволен⁴⁴. Будущий канцлер Стефан Йошика⁴⁵ в письмах звал его в свою свиту, но Дьёрдь отказался⁴⁶. Корниш завел знакомство с Марком Беркнером, секретарем Жигмонда Батори⁴⁷. В 1591 г. Беркнер посетил Падую, встречался с Корнишем, имел с ним беседу и взялся отвезти домой его письма. Дьёрдь также упоминает о своих письмах к Беркнеру. Благодаря этим очным и заочным контактам Корниш и его земляки не порывали связей с домом, родиной, были информированы о жизни домашних, о событиях в стране. Тем самым возвращение на родину после долгого отсутствия могло быть не столь чувствительным для вчерашних студентов.

Дьёрдь поддерживал прочные контакты с венгерской студенческой диаспорой за границей. Находясь в Гейдельберге, он вел интенсивную переписку и с Ференцем Банффи, уехавшим во Франкфурт, и с Шандором Шомбори, перебравшимся в Падую. Он, очевидно, состоял в дружественных отношениях с Самошкёзи, хотя и не упоминал о нем в письмах. Корниш написал в предисловии к вышедшему в Падуе в 1593 г. известному историческому труду Самошкёзи “*Analecta Lapidum*” стихотворное обращение к издателю с теплыми словами об авторе. Тесные отношения, в том числе и в переписке, связывали Дьёрдя Корниша с уже упоминавшимся Яношем Хертелем. Янош Хертель, к тому времени уже имевший за спиной Гейдельбергский и Базельский университеты, не первый раз остановил свое внимание на Падуанском университете. Именно отсюда в 1586 г. он отправился в Базель. Вернувшись в Падую, Хертель получил в университете место преподавателя, а также хранителя ботанического сада. Он часто ездил в Венецию, где опубликовал не одну свою работу. Очевидно, в эти годы Корниш и Хертель сблизились. Дьёрдь был информирован о делах и планах Хертеля, потерявшего в 1593 г. место хранителя ботанического сада и задумавшего уехать домой⁴⁸. Но только в 1595 г. Хертель окончательно вернулся на родину и занялся в Коложваре медицинской практикой⁴⁹. Таким образом, молодые венгры не чувствовали себя совсем одинокими в чужой стране и в чужом городе, так как они образовывали некую общность, живущую по своим правилам, не забывающую обычай дома.

В письмах Дьёрдя почти не содержится информации о том, как были организованы в университете венгерские студенты. Такие сведения можно почерпнуть из публикации матрикул Падуанского университета и сопутствующих им документов, осуществленной Э. Верешем. Студенты из бывшего Венгерского королевства, как и наши герои, обычно входили в состав

германской нации. Дьёрдь Корниш и Миклош Богати, поступив на артистический факультет Падуанского университета, также попали в состав германского землячества⁵⁰. Как правило, из своих рядов студенты выбирали венгерского советника. Однако в матрикулах упоминаются случаи, когда студенты из Венгрии и Трансильвании попадали в другие землячества и даже выбирались от них советниками⁵¹. Отношения между немцами и выходцами из Венгрии и Трансильвании в германском землячестве не всегда складывались безоблачно. В 1568 г. между ними на юридическом факультете вспыхнул конфликт, который привел к разделению землячеств на германское и венгерское, и какое-то время венгерские студенты не участвовали в делах германцев⁵². Очевидно, в 1583 г. отношения между нациями также были напряженными, поскольку советник юристов германской нации, которому надоело взаимное отчуждение, созвал у себя на дому тех и других и предложил помириться. По его предложению немецкие и венгерские студенты заключили соглашение о том, что будут поддерживать друг друга при голосовании во всех делах и что венгерская нация воссоединится с германской⁵³. В 1587 г. дружественные отношения между германской и венгерской нациями были оформлены специальной грамотой⁵⁴. Тем не менее, не считая таких периодов обострения, в целом студенты из разных стран уживались друг с другом. Дьёрдь упоминает о письмах, которые его земляки писали немецким студентам, и новостях, которые те передавали им⁵⁵.

Несмотря на трудности и лишения, Дьёрдь Корниш учился с огромной охотой. В начале 1593 г. он с сожалением отмечал, что во время болезни потерял время, не мог заниматься ничем полезным, не читал книг, а все деньги был вынужден тратить на лекарства и такие вещи, о которых прежде и не подумал бы. Из его писем, к сожалению, невозможно узнать, что и как он конкретно изучал в университете. Из скурых сообщений мы только и узнаем, что он слушал лекции какого-то юриста, которые ему понравились, но при этом жаловался на нравы студентов, прерывавших профессора⁵⁶. Большую часть времени он находился в Падуе, только однажды, летом и осенью 1593 г. совершил поездку в Рим, поддавшись на уговоры вернувшегося из Венгрии Миклоша Богати. Богати направился в Рим не из пустого любопытства. Он намеревался записаться в Collegium Germanicum Hungaricum, куда его рекомендовал не кто иной, как генерал австрийской провинции Ордена иезуитов Карилло Аквавива⁵⁷. По пути друзья захали в Сиену и записались в университет⁵⁸ для того, чтобы там усовершенствоваться в итальянском языке, так как полагали, что “в Сиене по-итальянски говорят наиболее чисто, правильно и красиво”⁵⁹. Миклош поступил в Германско-венгерский коллегиум в Риме и учился там вместе с другими венгерскими юношами из Трансильвании – Яношем Вашем, Яношем Хуняди вплоть до 1595 г., а Дьёрдь осенью 1593 г. вернулся в Падую. Он должен был быть очень огорчен, причем, очевидно, не столько разлукой с товарищем (к ней он уже мог привыкнуть), сколько религиозной составной вопроса. Дьёрдь, семья которого принадлежала унитар-

ристской церкви, в сердцах писал в одном из писем к отцу, что он не пойдет по пути, на который встали некоторые соотечественники: презрев достоинство и веру, записались в коллегииумы за стипендии⁶⁰. Корниш не дожидаясь того момента, когда в 1595 г. Богати получил в коллегииуме стипендию от Святого Престола⁶¹, но, может быть, чувствовал, что дело идет к этому. Расставание с Миклошем имело серьезные последствия для Дьёрдя: он потерял товарища, с которым вместе снимал жилье, столовался, по необходимости закупал еду, готовил. Теперь все расходы “ложились на него одного. Перед ним снова маячила перспектива преждевременного возвращения домой. Претерпеваемые лишения несколько не умилили его страстного желания продолжить учебу. “Видит Бог, я не хожу в новой одежде, больше нужды не ем, не пью, не готовлю, не покупаю книг сверх необходимых. И тем не менее я большего не прошу от Твоей милости и не требую для себя”, – писал он отцу, вымаливая разрешения остаться в Падуе⁶².

Дьёрдь знал немецкий, итальянский и латинский языки. Юноша вел переписку не только на родном, венгерском, но и на латинском языке. Изучению латыни он придавал большое значение. Его крайне беспокоило то обстоятельство, что его младший брат Миклош в Германии так и не выучил, как следует, ни немецкого, ни латинского языков. Пока Дьёрдь не уехал в Италию, он встречался с братом и помогал ему в латыни, читая с ним “более простых историков”, в чём ему помогал и Миклош Богати⁶³.

Хотя из писем Дьёрдя мы можем узнать мало конкретного об университетской жизни, они полны мыслей о том, какое значение имела для этого трансильванского юноши учеба и на что он хотел бы употребить полученные знания. И в этой связи он много рассуждал о самом себе, о семье, о родине. Корниша отличала большая жажда знаний. Он писал отцу, что был еще очень юн по годам и настоящим ребенком в своих суждениях и знаниях, когда покинул отчий дом: “Если я что-то и слышал о Фемистокле, Сенеке или что-то знал из суждений Аристотеля и Цицерона о природе и мире, то еще не мог их усвоить”. Приобрести полноценные знания, по его мнению, можно только проведя немало лет в зарубежных университетах. Дьёрдь приводил в пример своих известных соотечественников – Яна Паннония, литератора Дьёрдя Эньеди, Михая Пакши (“ученее которого наш век не видел в Венгрии”), канцлера Фаркаша Ковачоци, посвятивших от 12 до 18 лет учебе в заграничных университетах. Корниш полностью разделял мнение канцлера Ковачоци о том, что лучшую часть молодости нужно проводить здесь (в Италии), “потому что это время – самое лучшее и полезное для учения и постижения наук, для взросления и формирования моих суждений”⁶⁴. Умоляя отца не отказывать в материальной поддержке, он утверждал, что не ищет для себя почестей и высоких чинов, а только лишь хочет вернуться домой “с багажом добронравия и добросердечности, а также полезных наук”. “Даже если бы у меня было имя простого пахаря и я занимался бы сельским хозяйством, как старый Катон, с двумя или тремя помощниками, то считал бы себя не

менее счастливым, чем те, кто владеет империями, высокими должностями и огромными поместьями”⁶⁵. “Я должен смотреть дальше своего носа, если хочу чего-нибудь достичь в жизни”, – убеждал Дьёрдь отца, но при этом настаивал на том, что не желает такой награды, как, например, возможности разбогатеть, “но только жить в уважении и приносить пользу”⁶⁶. Конечно, несмотря на высокую патетику, юноша не исключал возможности получить хорошую должность по возвращении домой. Но он боялся того, что, если родители добьются его скорого возвращения на родину, из-за своей молодости не сможет рассчитывать на хороший чин, ибо “молодым не доверяют никаких важных дел”⁶⁷.

Знания и человеческое достоинство он ставил выше материальных благ и должностей. Отцу он сообщал о том, что отказался от заманчивого предложения Стефана Йошики войти в его свиту по трем причинам. Первая из них – это нежелание прерывать учебу; вторая заключалась в том, что тот не знает латыни (“он ни словом не перемолвился со мной по-латыни”). Но более важным, очевидно, было то, что Йошика не проявил к Дьёрдю достаточного уважения⁶⁸. Проблему человеческого достоинства юноша поднимал и в письме к матери в связи с браком своей сестры Анны. Дьёрдю очень импонировал будущий зять Мозеш Секей, но вовсе не из-за того, что тот был известен в политических кругах, а за те человеческие достоинства, которые видел в нем. А под ними Дьёрдь понимал такие качества, как “человечность, порядочность, честь, достойные поступки”: “Для меня не важно, кем был человек и откуда он взялся (“*ki volt vagy honnan legyen*”), а кто он есть сейчас и куда пойдет (“*ki legyen és hova megyen*”), ибо мы не выжили бы, если бы с предубеждением смотрели на тех, что благодаря своим делам из низов поднимается наверх. Поэтому лучше привязать к себе правильного и честного человека, нежели никчемного отпрыска древнего рода”⁶⁹.

Со своими академическими успехами Дьёрдь тесно связывал честь и достоинство своей семьи. “Благодаря Богу, я сейчас не испытываю недостатка в учебе, потому что бьюсь над тем, чтобы не отставать в науках, чтобы не изменить своих нравов и чтобы не выглядеть вырожденком в своей семье”, – писал он матери в самом начале своего пребывания в Гейдельберге⁷⁰. Примерно о том же он писал своему отцу: “Если я и не украшу нашу семью настолько, насколько сделала твоя милость, то и не опозорю”. Он чувствовал ответственность не только перед семьей, но и перед своей страной, и полагал, что может быть полезен ей. Помощь отца была необходима ему для того, чтобы показать, что “и у трансильванцев имеются достоинства (*virtutes*), благодаря которым, если не помешает судьба, мы можем продвинуться вперед и возвыситься”⁷¹. “Если бы Дьёрдь Корниш не умер так рано, своими делами он смог бы подтвердить свои мечты и намерения, упорно повторявшиеся им в письмах.

Итак, на основе писем мы набросали портрет трансильванца Дьёрдя Корниша, одного из многих десятков и даже нескольких сотен венгерских

студентов, учившихся в европейских университетах в конце XVI в. Вместе с ним вырисовывается особая среда, в которой он провел около семи лет своей короткой жизни и частью которой он был сам. В ней можно выделить несколько аспектов и пластов. В первую очередь эту среду составляли сами венгерские школяры, учившиеся за границей. Они были тесно связаны между собой как в рамках учебного заведения, так и внеуниверситетским общением. Студенты поддерживали друг друга в учёбе и повседневной жизни, обменивались разнообразной информацией, которая сказывалась даже на направлении образовательных потоков. Это облегчало их пребывание в незнакомой и чуждой среде. Учащиеся образовывали некое, никаким образом не оформленное сообщество, которое выходило за пределы какой-то одной страны, так как студенческий поток находился в постоянном движении. Несмотря на трудности коммуникаций, они поддерживали тесные связи с родиной, в первую очередь, через семью и родных. Эта связь выглядела еще более прочной благодаря тому, что, как мы видели, за границу студенты отправлялись группами, костяк которых составляли родственники. Родные, оставшиеся дома, делали возможным не только само пребывание своих детей в зарубежных университетах, так как материально обеспечивали их обучение, но и способствовали сохранению контактов с родиной, снабжая информацией о положении дел в семье и в стране в целом. В рассмотренной нами студенческой группе преобладали выходцы из дворянских семей: очевидно, они располагали большими возможностями учиться за границей, хотя известно, что за университетским образованием за границу уезжало немало детей бюргеров, поддерживаемых как городскими властями, так и частными меценатами. В нашем случае эта часть молодежи была представлена наставниками, сопровождавшими молодых дворян на учебу: Деметер Краккои, Янош Дечи Бараньяи, Иштван Самошкези, Янош Хертель. Это были талантливейшие люди, которые таким путем сами приобщались к высшему образованию и духовным ценностям Европы. В то же время своим кругозором, знаниями, интеллектом они должны были оказывать влияние на формирование личности и духовное развитие своих подопечных. Студенты приобщались к научной и литературной жизни, публиковали свои сочинения, знакомили с ними своих товарищей, причем не только земляков. Неотъемлемой частью этого сообщества были и те соотечественники, остававшиеся дома, с которыми обучавшиеся за рубежом студенты поддерживали тесные контакты как посредством встреч, так и путем переписки. Они принадлежали к одной социальной среде, придерживались близкой политической ориентации, многие входили в княжеское окружение, составляя политическую элиту страны. Эти люди, такие, как Фаркаш Ковачоци, вместе с родителями приобщали учившуюся за границей молодежь к своим интересам, политической жизни страны, формировали ее политические взгляды и позиции, ориентировали на будущую деятельность на родине. Как показывают биографии тех молодых людей, о которых шла речь в статье, это им удалось. Связь студентов с этой

частью элиты имела большое значение еще и потому, что ее представители также провели немало лет за границей, обучаясь в университетах Германии, Италии, Швейцарии и других стран. Те и другие были близки друг другу по духу, обладали европейским кругозором, понимали значение университетского образования. В этом тесном общении, особой интеллектуальной, культурной, социальной и этнической среде формировалась интеллектуальная и политическая элита страны.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Veress E. Matricula et acta Hungarorum in Universitatibus Italiae Studentium 1221–1864.* Budapest, 1941.

² *Veress E. A Páduai egyetem magyarországi tanulóinak anyakönyve és iratai (1264–1864).* (Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae studentium. Vol. 1. Padova: 1264–1864). Budapest, 1915.

³ Опубликованы в: *Vass M. Kornis György levelei anyjához, Bethlen Krisztinához // Keresztény Magvető. Kolozsvár. 1898. 278–280.1; Veress E. A Páduai egyetem... P. 234–238, 242–244, 253–255, 257–261.1; Vass M. Kornis György levele Kovácsoczy Farkashoz // Keresztény Magvető. 1904. 149–151.1; Utazások a régi Európában. Peregrinációs levelek, útleírások és útinaplók (1580–1709) / Válogatta, előszóval és jegyzetekkel ellátta Binder Pál. Bukarest, 1976. 47–68.1. 68–72.1.*

⁴ *Utazások a régi Európában. 68–72.1.*

⁵ *Nagy I. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. Köt.5. Pest, 1859. 362.1.*

⁶ *Vass M. Kornis György levele Kovácsoczy Farkashoz. 149.1.*

⁷ Не установлено существование родственных связей между воспитателем детей Корниша и соучеником Дьёрдя в зарубежных университетах. О Миклоше Фазекаше Богати известно, что в начале 1580-х годов он возглавлял гимназию в Клуже. Его перу принадлежит несколько опубликованных поэтических и прозаических произведений, а также переводы (*Nagy I. Köt. 1. Pest, 1857. 151–152.1.*)

⁸ *Ibid. 48.1.*

⁹ Письмо Дьёрдя Корниша отцу Фаркашу Корнишу от 12 марта 1592 г. (далее – письмо № 3) // *Utazások a régi Európában. 60.1; Veres E. A Páduai egyetem...*

¹⁰ Мать Дьёрдя Корниша и Ференца Банффи были родными сестрами (*Nagy I. Köt. 1. Pest, 1857. 83.1.*)

¹¹ *Vass M. Kornis György külföldi tanulása // Keresztény Magvető. Kolozsvár, 1912. 211.1.*

¹² Описание этого пути содержится в произведении Яноша Дечи Бараняи “Путеводитель” (*Baranyai Decsi Czimor János Hodoeporiconja (1587) // Filológiai Közlöny, XI (1965). 359–371.1.*)

¹³ *Utazások a régi Európában. 186.1.*

¹⁴ *Nagy I. Köt. 10. Pest, 1863. 277.1.* Отец Шандора Ласло Шомбори с начала 1580-х годов входил в состав высшей правящей элиты Трансильвании (*Horn I. A hatalom pillerei. A Báthory úkori politikai elit kezdetei // Idővel paloták... Magyar udvari kultúra a 16–17 században / Szerk G. Etényi N és Horn I. Bp., 2005. 272.1.*)

¹⁵ *Toeopke G. Die Matrikel der Universität Heidelberg. S. 135.*

¹⁶ Его отец Ласло Шомбори был прокурором при княжеском дворе, воспитателем князя Жигмонда Батори, членом Государственного совета. Он распоряжался доходами от трансильванской десятины (*Nagy J. Köt. 10. Pest, 1863. 280.1.*)

¹⁷ *Veress E.A. Páduai egyetem... 96.1.*

¹⁸ Так, например, в 1571 г. в Падуанский университет поступил отпрыск известного рода Листиев, четырнадцатилетний Янош Листий, которому в наставники отец пригласил бельгийского ученого Гуго Блотца и тот сопровождал юношу во всех его передвижениях по итальянским университетам (*Veress E. A Páduai egyetem... 82.1.*)

¹⁹ У барона Михая Форгача сменилось несколько наставников: среди них были Деметер Краккои, Жигмонд Марьяшиши, Жигмонд Печ. (*Ibid.* 94.1).

²⁰ Письмо Миклоша Богати к Кристине Корниш от 17 января 1591 г. (*Utazások a régi Európában.* 69–70.1).

²¹ Письмо Корниша Дьёрдя к матери Кристине Корниш от 17 января 1591 г. (*Keresztény Magvető. Kolozsvár, 1912.* 217.1) (*Veress E. A Páduai egyetem...* 82.1).

²² Так, уже упоминавшийся Янош Листий в 1571 г. приехал со своим воспитателем в Падую из Вены, где учился в университете; позже (в 1573 г.) он записался в Сиенский университет, потом – в Пизанский, оттуда переехал в Венецию; при этом еще не раз возвращался в уже “освоенные” им университеты (*Veress E. A Páduai egyetem...* 82.1). Другой венгерский студент, Михай Пакши, до того, как попал в Падую, учился в Виттенберге (1565), Базеле (1566), Гейдельберге (1568), Кракове (1570), а также Франкфурте, Лионе и других городах. (*Ibid.* 84.1).

²³ Умоляя отца разрешить ему продолжить учение за границей, в качестве аргумента он напоминал о том, что выдающиеся соотечественники провели в зарубежных университетах много лет: Ян Панноний – 18, Миклош Пакши – 12 (Письмо Дьёрдя Корниша отцу от 7 ноября 1591 г.: *Utazások a régi Európában.* 58.1).

²⁴ Письмо Дьёрдя Корниша отцу от 28 июля 1591 г. (*Keresztény Magvető. Kolozsvár, 1912.* 219.1).

²⁵ *Veress E. A Páduai egyetem...* 96.1.

²⁶ *Keresztény Magvető. Kolozsvár, 1912.* 217.1.

²⁷ Письмо Дьёрдя Корниша отцу от 7 ноября 1591 г.: *Utazások a régi Európában.* 54–55.1.

²⁸ *Veress E. A Páduai egyetem...* 96.1.

²⁹ *Keresztény Magvető. Kolozsvár, 1912.* 223.1.

³⁰ Письмо Дьёрдя Корниша отцу от 7 ноября 1591 г. (*Utazások a régi Európában...* 57.1).

³¹ Письмо Дьёрдя Корниша отцу от 2 апреля 1593 г. (*Utazások a régi Európában...* 65.1).

³² Письмо Дьёрдя матери от 2 апреля 1593 г. (*Keresztény Magvető. Kolozsvár, 1898.* 279.1).

³³ *Ibid.* 55.1.

³⁴ Письмо Дьёрдя Корниша отцу от 13 марта 1592 г. (*Utazások a régi Európában...* 62.1).

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Письмо Дьёрдя Корниша матери от 24 февраля 1591 г. (*Utazások a régi Európában...* 53.1).

³⁷ Письмо Дьёрдя Корниша отцу от 2 апреля 1593 г. (*Utazások a régi Európában...* 63–64.1).

³⁸ Письмо Миклоша Богати Фаркашу Корнишу 10 февраля 1595 г. (*Utazások a régi Európában...* 72.1).

³⁹ Письмо Дьёрдя Корниша отцу от 17 января 1591 г. (*Keresztény Magvető. Kolozsvár, 1912.* 215.1).

⁴⁰ Письмо Дьёрдя Корниша отцу от 7 ноября 1591 г. (*Utazások a régi Európában...* 56.1).

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Письмо Дьёрдя Корниша отцу от 13 марта 1592 г. (*Utazások a régi Európában...* 60.1).

⁴³ Письмо Дьёрдя Корниша матери от 2 апреля 1593 г. (*Keresztény Magvető. Kolozsvár, 1898.* 279.1).

⁴⁴ Письмо Дьёрдя Корниша отцу от 2 апреля 1593 г. (*Utazások a Európában.* 66.1).

⁴⁵ Иштван Йошика стал канцлером Жигмонда Батори после казни Фаркаша Ковачоци в 1594 г.

⁴⁶ Письмо Дьёрдя Корниша отцу от 13 июля 1592 г. (*Utazások a régi Európában...* 60.1).

⁴⁷ *Utazások a régi Európában...* 203.1.

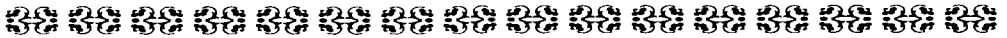
⁴⁸ Письмо Дьёрдя Корниша отцу от 25 июля 1593 г. (*Utazások a régi Európában...* 67.1).

⁴⁹ *Frankl V. Hazai és külföldi iskolázás.* 251.1.

⁵⁰ *Veress E. A Páduai egyetem...* 99.1.

- ⁵¹ Так, в 1579 г. советником юристов от провансальской нации стал студент из Пожони (совр. Братислава) Янош (Иоганн) Хаан (*Veress E. A Páduai egyetem... 90.1*), в 1569 г. одним из советников богемской нации артистического факультета был венгр Ференц Веданус (*Ibid. 76.1*)
- ⁵² *Ibid. 74.1.*
- ⁵³ *Ibid. 91.1.*
- ⁵⁴ *Ibid. 92.1.*
- ⁵⁵ Письмо Дьёрдя Корниша к отцу от 7 июля 1591 г. (*Utazások a régi Európában... 57.1.*).
- ⁵⁶ *Ibid.*
- ⁵⁷ *Veress E. Matricula et acta Hungarorum in Universitatibus Italiae Studentium 1221–1864. Budapest, 1941. P. 274.*
- ⁵⁸ *Ibid. 337.1.*
- ⁵⁹ Письмо Дьёрдя Корниша к отцу от 25 ноября 1593 г. (*Utazások a régi Európában... 67.1.*).
- ⁶⁰ Письмо Дьёрдя Корниша к отцу от 7 ноября 1591 г. (*Utazások a régi Európában... 59.1.*).
- ⁶¹ *Veress E. Matricula et acta Hungarorum in Universitatibus Italiae. P. 274.*
- ⁶² Письмо Дьёрдя Корниша к отцу от 2 ноября 1593 г. (*Utazások a régi Európában... 64.1.*).
- ⁶³ *Vass M. Kornis György külföldi tanulása // Keresztény Magvető. Kolozsvár, 1912. 218.1.*
- ⁶⁴ Письмо Дьёрдя Корниша к отцу от 2 ноября 1593 г. (*Utazások a régi Európában... 64.1.*).
- ⁶⁵ Письмо Дьёрдя Корниша к отцу от 7 ноября 1591 г. (*Utazások a régi Európában... 58.1.*).
- ⁶⁶ Письмо Дьёрдя Корниша к отцу от 25 ноября 1593 г. (*Utazások a régi Európában... 67.1.*).
- ⁶⁷ Письмо Дьёрдя Корниша к матери от 2 ноября 1593 г. (*Keresztény Magvető. Kolozsvár, 1898. 278.1.*).
- ⁶⁸ Письмо Дьёрдя Корниша к отцу от 13 ноября 1592 г. (*Utazások a régi Európában... 59.1.*).
- ⁶⁹ Письмо Дьёрдя Корниша к матери от 25 ноября 1593 г. (*Veress E. Matricula et acta Hungarorum in Univesitatibus Italiae. P. 519.*).
- ⁷⁰ Письмо Дьёрдя Корниша к отцу от 24 ноября 1591 г. (*Utazások a régi Európában... 53.1.*).
- ⁷¹ Письмо Дьёрдя Корниша к отцу от 7 ноября 1591 г. (*Utazások a régi Európában... 59.1.*).





ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XVII в.: ВЛИЯНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ

Л.А. Чёрная

Русская культура XVII столетия уже не принадлежит Средневековью: историки искусства в большинстве своем отмечают упадок древнерусского иконописания, а историки литературы – зарождение барокко и предклассицизма. И те, и другие правы в своих наблюдениях, но мало кто стремится объяснить, почему это так, чаще всего и литературоведы, и искусствоведы ограничиваются заключением о “западном влиянии” на русскую культуру переходного периода.

На мой взгляд, искать истоки перемен в русской культуре необходимо в мировоззрении людей переходной эпохи. И здесь на первое место выходит переосмысление и поиски нового решения проблемы человека как стержневой проблемы культуры. Русская культура XVII в. вошла в историю как “переходный период” от Средневековья к Новому времени. Разрабатываемый нами философско-антропологический метод заставляет видеть сущность переходного процесса в новом решении проблемы человека: от средневекового человека “души” к новременному человеку “разума”¹. Именно этот переход, сделавший принципы антропоцентризма, новизны, открытости, историзма, качества, динамичности одними из основополагающих в культуре своего времени, позволил русским воспринять и по-своему переработать предшествующую западноевропейскую культуру, по-новому оценив ее. Именно поэтому в русской культуре XVII в. мы найдем отголоски и ренессанса, и маньеризма, и барокко, и предклассицизма...

Самым существенным вкладом западноевропейской культуры в русскую рассматриваемого периода был, безусловно, ренессансный. Следует оговориться, что под Ренессансом мной понимается самое широкое переходное движение мировой культуры от Средневековья к Новому времени. Только при таком толковании можно говорить о типологическом сходстве ренессансных идей и явлений в культурах разных стран, как европейских, так и не европейских. Совершенно прав Д.С. Лихачев, увидевший в русском барокко переходного времени явные черты ренессансной эпохи и пришедший к выводу, что барокко в России взяло на себя часть функций Ренессанса². Действительно, при ближайшем рассмотрении в мировоззрении русских философов, писателей, поэтов, художников мы увидим ренессансные идеи о доминировании разума в человеке, об оправдании телесного начала и переоценке

всей природы человека (“естества”), о новой гармонии в нем “внутреннего” и “внешнего”, о новых целях и задачах жизни и новом восприятии смерти, и т.д. Сами того не подозревая, русские авторы писали и думали о том же, о чем в свое время рассуждали итальянские гуманисты. Проведенный нами сравнительный анализ произведений Петрарки, Фичино, Пико делла Мирандола и других итальянских гуманистов с трудами Симеона Полоцкого, Николая Спафария, Кариона Истомина, Сильвестра Медведева, Иосифа Туробойского, Леонтия Магницкого и др. привел к выводу о родстве идей, вызревших в Италии XIV–XV столетий и в России XVII–XVIII вв.³

Так, первым принципом мировосприятия, по мнению Петрарки, должно быть уважение к человеческому естеству: “Не следует бояться ничего, что идет от необходимости природы, ведь кто ненавидит естественное или боится его, ненавидит, таким образом, природу или боится ее”⁴. О подобном же уважении к человеческой природе, только с акцентом на познавательных возможностях естества, писали Николай Спафарий, Сильвестр Медведев, Леонтий Магницкий и другие русские мыслители. Например, в известном предисловии к рукописной истории, составленном в период правления Федора Алексеевича (1676–1682) и принадлежащем, на наш взгляд, Николаю Спафарию, содержится пространное рассуждение со ссылкой на физику Аристотеля о естественных свойствах человека: “И для того крайнейший философ Аристотель написал, что все человецы естественно желают ведати, се есть от природы своей любят ведати и познати всех вещей, потому что тем ко искусству и к совершенству придут, и душа веданием и учением совершенца, и ситцевым образом человек совершен бывает, а признак к тому и довод истинный тойжде философ положил любовь человеческую к чюству, и наипаче к зрению...”⁵. Общеизвестен интерес итальянских гуманистов к античной философии, в том числе в лице Аристотеля; некоторые, как Валла, даже подвергали критике аристотелевскую логику, ставшую основой средневековой схоластики. В России же, не знавшей схоластики до XVII в., имя Аристотеля, хотя и было известно ранее, но принципы его физики излагаются впервые, как и многие другие давно известные в Европе положения.

Столь же важен акцент на телесном – “внешнем” – человеке, наблюдаемый как у итальянских гуманистов, так и у русских мыслителей анализируемого периода. И те и другие цитируют Плутарха, призывавшего “чаще созерцать в зеркале собственное изображение с той именно целью, чтобы те, кто обладает достойной внешностью, не обезображивали бы ее пороками, а те, которые кажутся уродливыми на вид, позаботились бы о том, чтобы с помощью добродетели стать красивыми”⁶. Кто-то из русских приказных служащих в конце “Книги сошному и вытному письму” набросал на полях рисунок, изображающий человека, стоящего перед зеркалом, и пояснил его: “Приникни к зеркалу и посмотри лица своего, да аще красен ся видиши, твори жь и дела против твоея красоты и не посрами ее злыми делы”⁷. Восхищение телесной красотой человека прослеживается опять-таки у многих представи-

телей ренессансной культуры, а также у некоторых русских мыслителей, в частности, у Леонтия Магницкого: “Велика есть доброта в телеси, еже двизатися о себе, еже распростиралися или камо превращатися и устремлятися к единовидноу положению изряднейшему во всех быти, и чувствующе чрез вся пять чувств, с действиями их имети”. Само предисловие к учебнику арифметики представляет собой некий философский трактат о человеке, начинающийся с оценки сотворения человека (“ни едина убо от видимых тварей тако есть удобрена и возвеличена, яко же человек”), описания пяти чувств с акцентом на зрении, позволяющем “аще и далече сушая досязати”. Далее автор утверждает, что “естественная зрительная сила ума”, данная человеку, должна быть направлена на “снискание наук”, поиски “чести мира сего” и достижение “довольства” (благополучия). Он пишет: “Но вся сия, си есть достойная честь мира сего и прочая удобрения и богатства не суть вредна, но на украшение суть человека, елико по внешнему, егда же нужных лишаемся внешних, тогда естественне ослабеваем внутренними... вся внешняя довольства подают свободу и помысл внутренним силам”. Наибольшее внимание Магницкий уделяет доказательству необходимости науки, именуемой “царственным человеческим естеством”. В конце своего сочинения он вновь напоминает, что не стоит презирать земную жизнь и ее наслаждения, честь, славу, благополучие, “зане естественне украшают человека зело и просвещают ум ко приятию множайших наук и высочайших”. Все это позволяет человеку жить “по достоинству человеческому”⁸. Леонтий Магницкий не называет Аристотеля или кого-либо из других философов, повлиявших на его взгляды, но оговаривает, что ему знакомо естествознание как наука – “...о них же по естествознанию есть известно”, – что говорит об опосредованном влиянии на него итальянской гуманистической мысли.

Как известно, Марсилио Фичино выделял три вида блага – благо Фортуны, тела и души; к телесному благу он относил силу, здоровье, красоту, утверждая, что “если скажут, что есть наслаждения чувства, которые не обязаны своим происхождением потребности тела, я отвечу, что такие наслаждения настолько слабы, что никто не находит в них блаженства”⁹. Лоренцо Валла в диалоге “Об истинном и ложном благе” пришел к выводу, что наслаждения тела рождаются с помощью души, а наслаждения души – при помощи тела¹⁰. Гармония тела и души возрождает в ренессансной литературе античное определение человека как малого мира. Русским авторам XVII–XVIII вв. также хорошо было известно античное определение человека как микрокосма. Так, Карион Истомина в 1687 г. писал: “Человек – микрокосмос, си есть малый мир есть, возобразен маркокосмосу... состоянием телесе и той благородием душевным... яко небо и земля подобие. От полу человека вышняя часть, яко небо, и паки от полу вниз его часть, яко земля”¹¹. У Феофана Прокоповича определение человек – микрокосм звучит постоянно¹².

Как уже отмечалось, свои аргументы русские писатели подкрепляли авторитетом античных философов и поэтов, в особенности Аристотеля, поскольку

поворот в восприятии античности также произошел в России в рассматриваемое время. Даже Алексей Михайлович цитировал “крайнейшего философа” древности в одном из писем к кн. Н.И. Одоевскому: “А Аристотель пишет ко всем государем, велит выбирать такова человека, который бы государя своего к людям примирял, а не озлоблял!”¹³. Впрочем, высказывания античных мудрецов были известны еще в Древней Руси по таким произведениям, как “Изборник Святослава 1076 года”, “Пчела” и др., но их относили к ложной – “внешней” – мудрости. Античная мифология была полностью под запретом как языческие “басни и кошуны”, способные свергнуть православных в языческое идолослужение. Теперь же интерес вызывает не только античная философия, но и мифология: античные божества во множестве фигурируют в поэзии Симеона Полоцкого, появляются на сцене придворного театра Алексея Михайловича, изображаются на триумфальных вратах и пр. Популярным становится сравнение русского царя с Марсом, особенно в Петровскую эпоху. Переводятся античные авторы и западноевропейская литература, посвященная античности. В 1672–1674 гг. Николай Спафарий составляет по заказу главы Посольского приказа А.С. Матвеева “Книгу избранную вкратце о девятих мусах и о семи свободных художествах” и “Книгу о сивиллах”, украшенные миниатюрами. В Предисловии к “Книге избранной вкратце о девятих мусах...” он поясняет: “Девять убо мусы суть, сиречь богини пения, яже от философ того ради изобретены и изображены суть, яко удобнейшая сладость учения познаватися может под прилогом девических мус девяти; между же сими Аполлон, или Солнце, соликовствует, согласие и сочинение наук знаменуя. Оттуду же и семь оная воздеваемая свободная художества имянуются ко разделению иных художеств служительных”¹⁴.

Античность выдвигается в качестве краеугольного камня, колыбели мировой мудрости и науки, достигшей, наконец, Российских пределов, о чем прямо заявлял Петр Великий. Но еще задолго до этого анонимный автор перевода компиляции римского историка Юстина, названного в русском варианте “Краткое пяти монархий древних описание”, в посвящении своего труда Б.И. Морозову писал, что он хочет одеть античную историю в “ризу российской” и сделать сию “посланицу старовещности наставницей во гражданстве”. Ссылаясь на все того же “первоначального философа” Аристотеля, автор перевода рассуждал о свойствах разума – “чувствами, аки рабами, осязати.... рассмотреть... прилежно рассуждати и о сем известная узаконяти...”¹⁵. “Российская Европа”¹⁶ петровского времени открыто хочет стать воспреемницей античной науки, для чего усиленно осваивает латинский язык. И если во второй половине XVII столетия шел горячий спор о вреде латинского языка, проникающего в “писания славенского языка” и действующего “губительно”¹⁷ на русских людей, то в начале XVIII в. доказывается польза латыни. Так, глава Печатного двора Федор Поликарпов в 1701 г. составляет “Букварь славенорекоримстей”, а в 1704 г. “Лексикон трехязычный”, в предисловии к которым он поясняет обращение к проклинаемой ранее латыни. В 1701 г.”он

осторожно оговаривает, что “латинские письма” не ко вреду, потому что латинскими буквами напечатаны не “римские”, а греческие православные догматы¹⁸. Но уже через три года он делает акцент на том, что “сий диалект ныне паче иных по кругу земному во гражданских и школьных делех обносится; такожде и о всяких науках и художествах ко человеческому жителству нужных, книги премоги с иных языков преведены и вновь сочинены на сем языке обретаются”¹⁹.

Ярким проявлением ренессансного характера перемен в русской культуре является освоение прямой перспективы в живописи и, главное, осмысление нового метода “живоподобия” в трактатах и посланиях того времени. Как известно, задача средневекового художника состояла в изображении неизобразимого – “внутреннего” человека, невидимого пространства, вечного времени... В переходный период цели художника переориентируются с изображения “внутреннего” человека на “внешнего”, с невидимого мира на мир видимый, в котором реальное пространство заполняется реальными же предметами, с вечного времени на время “мимоидущее”. Все это и определило и подготовило новые принципы художественного творчества, разрабатываемые в эстетических трактатах третьей четверти XVII в. и отразившиеся в искусстве того времени. В целом утверждались три важнейших принципа художественного творчества: 1) живописание – искусство, дар, данный избранным; 2) следовать в своем искусстве надо не старым образцам, а жизни; 3) красота независима от религиозных оценок, а также от вероисповедания мастера, ее сотворившего. Все они так или иначе преломлялись в одном важнейшем требовании к живописи – зеркального отражения видимого мира, в особенности “внешнего” человека. Его можно условно назвать принципом зеркала. Основными его разработчиками были художники – Симон Ушаков и Иосиф Владимиров. Первый требовал, чтобы художник стал вторым зеркалом, отражающим жизнь “по плотскому смотрению”, второй хотел, чтобы живописец создавал “подобие яко в зеркале”.

“Послание некоего изуграфа Иосифа к цареву изуграфу и мудрейшему живописцу Симону Федоровичу”, созданное, вероятно, иконописцем Иосифом Владимировым и датированное 1656–1658 гг., было написано после столкновения автора с сербским архидьяконом Иоанном Плешковичем, отстаивавшем “дерзость плохописания” подделанных под закопченную темную “старину” икон, выполненных непрофессиональными мастерами. Иосифа возмущает, что люди “просты” и невежды в искусстве, хотя и обладают “великим разумом” в других вещах, берутся судить об искусстве и не признают ничего нового, а требуют “старины”. Они даже не пытаются рассуждать, что “право или криво”, а только “того держатся, что застарело”. Причину столь широкого распространения “плохописания” Иосиф видит в скупости людей, “кои ум свой уклонили в серебро, в золото, и иже дома своя зиждут богато, в хлевах стояти кони любят драгия, а в церкви иконы купят плохия, уповаючи на то, яко и от плохих икон в старину, кажут, бывали прощи”. Общий посыл автора

трактата – рациональный взгляд на вещи, опора на разум: “ум имея”, всякий и всегда должен подходить к изображениям “с рассуждением”, без “баснословия и бредней”²⁰. Иосиф уподобляет талант художника солнцу, утверждая, что недоступный и непонятный многим дар живописания подобен солнечному свету. Когда солнце “просветит” воздух своими лучами, то высветится весь живой мир. Подобно солнечному лучу, по мнению автора, и живописец проникает “умными очами” изображаемого человека: “егда на персонь чию, на лице кому возрит, то вси чювствении человека уды во умных сии очесех предложит и потом на хартии или на ином чем вообразит”. По сравнению с “даром-благодатью”, о котором шла речь в “Стоглаве” 1551 г., “дар живописания” отличается кардинально: средневековые иконописцы должны были “прозревать” мир невидимый, скрытый в слоях вечного времени, проникая с помощью божественной благодати в сущность “образа и подобия”, а живописцы XVII в. стояли перед задачей отражения мира видимого и мимоидающего – реального – времени. Их важнейшим инструментарием стало не “внутреннее зрение”, а “умные очи”, изучающие “чювственные уды” и изображающие их. “Премудрое” творчество заключается в том, чтобы, изучив анатомию, строение человеческого тела, физические законы отражения света и т.п., “составлять свойственный вид” – “светло и румяно, тенно и живоподобне”. В живоподобии и крылось важнейшее принципиальное отличие нового искусства от старого. Если средневековый художник обязан был “смотреть на древние образцы” и подражать им, то теперь речь идет не об образцах, а о копировании живой жизни, наполненной светом и тенью, “румяной” телесностью “внешнего” человека. Осуждая старую иконописную традицию за стремление показывать святых с темными ликами и бесплотными телами, автор апеллирует к разуму современников, говоря, что вовсе не весь “род человек во едино обличие создан”, не все “святии смуглы и скудны” телом. Кроме того, он восхищается внешней телесной красотой Богоматери, Христа, библейских персонажей, святых. Вероятно, опровергая слова своего оппонента о том, что Стоглав требовал копировать древние образцы, а значит, темные старинные иконы, Иосиф указывает, что требование писать с древних образцов означало совсем другое: обветшавшие иконы следовало обновлять и “знаменовати на пропись з добрых образцов, смотря на образ древних живописцев, а не на тыя темновидныя иконы, ссылаяся и мрачно святых персони писати”. Но время образцов все же прошло и обучать живоподобному искусству следует так же, как это делается в западных училищах живописи: “Ученицы ж тамо ов главы начертает, ин руце пишет, иному ж на таблицах лица воображающу. Над всеми же сими приходит майстр тех или изрядный учитель живописнаго художества. И овому начертанное презнаменует, и иному написанное приправляет, ко иному ж пришед, взем острие и ново написание учениче долу выскребает и потом лучшее воображает. И всему подробне и искусне научает”.

Адресат послания Иосифа Владимирова – Симон Ушаков, осуществлявший на практике “светловидное письмо”, и сам выступил в защиту новых

принципов художественного творчества. В составленном им теоретическом трактате об искусстве, названном “Слово к люботщательному иконного писания”²¹, он во многом совпадал с идеями Иосифа, а во многом шел далее. Основная задача трактата, как кажется, состояла в доказательстве свободы личности художника, дарованной ему в силу его таланта самим Богом. Слово начиналось с утверждения о передаче “художного образотворения” от “всегомогущего всехитреца Бога” к искусным художникам. Пусть мысли его не совсем оригинальны, а текст во многом компилятивен, но все же использованные им идеи античных философов и писателей (Плиния Старшего и др.), христианских богословов (Иоанна Дамаскина и др.) повернуты главной для Симона стороной – защитой таланта живописца и его права на “фантазию”. Обильные рассуждения Симона о видах искусства, исторический экскурс о развитии изобразительного искусства как наиболее почитаемого логически завершаются выводом автора о том, что первым “образотворцем” и “образоделателем” был сам Бог – Творец.

Требование писать живоподобно воплощалось в произведениях Симона Ушакова и других живописцев. Так же, как в искусстве итальянского Ренессанса, портрет становится основным жанром и русскогр искусства, начиная с парсун XVII в. и кончая психологическим портретом петровского времени.

Ренессансные функции переходной культуры можно проследить и дальше, однако не все стороны мировоззрения Возрождения типологически совпадали с мировосприятием русских переходного времени. Так, совершенно неприемлемым для дидактически выдержанной русской культуры был гедонистический гимн наслаждениям жизни, в особенности любви. Любовь в средневековом сознании русских – чисто духовная христианская любовь к Богу и ближнему своему. Телесная сторона любви – “похоть”, порождаемая греховным телом, плотская прелесть, совращающая и губящая душу. Не могла воспеваться любовь к женщине, которая есть не что иное, как “сосуд греховный”, помощница дьявола в совращении Адама в Раю. Поэтому прежде чем могла возникнуть любовная лирика, гедонистическая свобода и смелость воспевания любовных утех, русская мысль должна была освободиться от однозначно негативной оценки женской природы. Процесс оправдания женского естества начинается в русской культуре переходного периода, однако идет он медленно и вяло, пока в дело не вмешивается Петр Великий и его государственный идеологический аппарат. В рукописях второй половины XVII в. встречается мысль, что Богородица, давшая миру Христа, тем самым искупила вину Евы и сняла проклятие с женского рода. В “Сказании о человеческом естестве, видимем и невидимем”, получившем в это же время распространение (сейчас насчитывается более 8 его списков), не приводится особой аргументации в защиту женского естества, но все же женская природа получает оправдание и положительную оценку. Происходит это при обсуждении весьма животрепещущего для русской мысли вопроса о бороде на лице мужчин и отсутствии таковой на лице женщин. Русская официальная

церковная точка зрения ярко выражена в словах патриарха Адриана: "...мужу убо благолепие, яко начальнику, – браду израсти, жене же, яко не совершенней, но подначальной, онаго благолепия не даде..."²². Автор же "Сказания о человеческом естестве, видимем и невидимем" объясняет отсутствие бороды у жен совсем другими причинами: "Женам бо брадныя власы не даны суть, да долгую лепоту лица имеют, да любими будут и кормими подружием своим и огреваеми в недрах их, но в брады место им даны сут перси, да тела своего любовию кормят младенца, родившаяся им, и тем согнездну любовь имут"²³. Здесь не только игнорирование ортодоксальной точки зрения на бороду, но и признание самоценности женского естества, красоты ("лепоты") и любви (как между матерью и ребенком, так и между мужчиной и женщиной). И все это высказано в спокойно-констатирующем тоне, как очевидные вещи.

Защите естественной красоты женского лица посвящено поучение из рукописного сборника второй половины XVII в., обнаруженное нами в РГАДА. Автор призывает читателей беречь красоту "естества, яко добра есть". Его порицание вызывают "некия, преестественными добротами красящыся". Они не только "смышляемую, приправную к вапам красоту себе притворяют, но и естественную же погубляют". Вывод, делаемый в конце сочинения, сводится к следующему: "Нелепый бо, аще и велми украшается, благообразен быти не может. Лепый же и без приправы сея благолепен есть..."²⁴. Примечательно, что автор не стремится связать красоту внешнюю с красотой внутренней, что было обязательным в средневековой культуре. А это значит, что у него уже сложился чисто эстетический подход к женской красоте, содержащий оценку прекрасного по его формальным независимым признакам.

Женская красота, проклинаясь в средневековой традиции, как губящая душу мужчины, в первых пьесах придворного театра Алексея Михайловича расценивается как высшая женская добродетель, благодаря которой простая еврейка из преследуемого племени Есфирь становится царицей ("Артаксерсово действо"), поскольку по своей красоте она может равняться "чину", т.е. идеалу, образцу, канону²⁵.

Однако в русской поэзии этого времени мы не встретим ни описания любовного чувства, ни одобрения женской природы, ни любования женской красотой. Симеон Полоцкий еще до приезда в Москву высказывался резко отрицательно против "блудной страсти" любви, насылаемой "злыми стрелами" Купидона, "непристойной Венеры бесстыдного сына"²⁶. Как отмечает исследователь поэзии русского барокко переходного времени Л.И. Сазонова, "в Москве же в условиях новой культурной среды Симеон хотя и продолжает заселять сочинения персонажами античной мифологии, но показательно, что и Венеру, и Купидона он из своих стихов изгоняет"²⁷. Для Симеона Полоцкого совершенный человек – это по-прежнему монах, отвергающий все прелести мира, в том числе и женские.

Только в петровское время с ассамблеями, где стали появляться запертые ранее в теремах женщины и девушки; с культом "политичного кавалера"²⁸,

обязанного уметь “политично”, т.е. по-западному культурно, ухаживать за женщинами, сочинять и исполнять любовные песни и т.п.; с “петровскими повестями”, дающими образцы любовных авантюр литературных героев и пр., начинается бурный интерес к теме любви и женской красоты. После издания в 1730 г. “Езды в остров любви” Тальмана, переведенного Тредиаковским, любовная тематика просто заполонила русскую литературу.

В целом проведенный анализ показывает, что раннее Возрождение было наиболее близко по духу русскому переходному времени. Мироощущение русских людей XVII – начала XVIII в. можно охарактеризовать как соединившее в себе новое – чувственное – мировосприятие и старое – сверхчувственное. Этот “идеалистический тип” культуры, по определению П.А. Сорокина²⁹, свойствен переходным эпохам и являет собой наиболее ценный и продуктивный тип мировой культуры вообще. В русской культуре XVII – начала XVIII в. по большому счету шел своим своеобразным путем тот же процесс, что и в культуре итальянского Возрождения, заключавшийся в переосмыслении природы и сущности человека, соотношения души и тела, роли разума и т.д.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. подробнее: *Черная Л.А.* Русская культура переходного периода от Средневековья к Новому времени. Философско-антропологический анализ. М., 1999; *она же.* От “человека Души” к “человеку Разума” // Человек между Царством и Империей. Сб. материалов международной конференции. М., 2003. С. 127–142.

² *Лихачев Д.С.* Развитие русской литературы X–XVII веков: Эпохи и стили. Л., 1973. С. 204–205.

³ См.: *Черная Л.А.* К вопросу о гуманизме в русской культуре второй половины XVII – начала XVIII века // Философская и социологическая мысль. Киев, 1989. № 4. С. 32–48.

⁴ Цит. по: *Ревякина Н.В.* Проблемы человека в итальянском гуманизме второй половины XIV – первой половины XV в. М., 1977. С. 29.

⁵ Цит. по: *Замысловский Е.* Царствование Феодора Алексеевича. Ч. 1. СПб., 1871. Прилож. IV. С. XXXVI. На авторитет Аристотеля в вопросе о естестве человека указывал также Петр Посников в “Слове” к патриарху Иоакиму (РНБ. Пог. 1963. Л. 157 об.).

⁶ Цит. по: *Ревякина Н.В.* Проблемы человека в итальянском гуманизме второй половины XIV – первой половины XV в. С. 40.

⁷ Описание рукописей Синодального собрания, не вошедших в описание А.В. Горского и К.И. Невоструева. М., 1970. Ч. 1. № 577–819. С. 90.

⁸ Предисловие к рукописному варианту “Арифметики” 1703 г. // РГАДА. Ф. 381. № 1007. Л. 24–31.

⁹ *Фичино М.* В чем состоит счастье, какие оно имеет ступени, о его вечности. Марсилио Фичино приветствует великодушного Лоренцо Медичи // Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век). М., 1985. С. 222.

¹⁰ Цит. по: *Ревякина Н.В.* Проблемы человека в итальянском гуманизме второй половины XIV – первой половины XV в. С. 40.

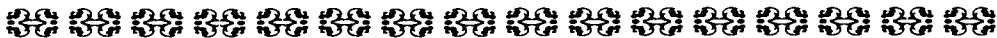
¹¹ РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. № 645. Л. 4 об.

¹² См.: *Ничик В.М.* Феофан Прокопович. М., 1977. С. 191.

¹³ РГАДА. Ф. 27. № 127. Л. 31. О популярности произведений Аристотеля в России XVII в. см.: *Зубов В.П.* Аристотель. М., 1963. С. 335–342.

- ¹⁴ *Николай Спафарий*. Эстетические трактаты. Л., 1978. С. 25.
- ¹⁵ Цит. по: *Пушкарев Л.Н.* Общественно-политическая мысль России. Вторая половина XVII века. Очерки истории. М., 1982. С. 221–222.
- ¹⁶ Русские повести первой трети XVIII века. М.; Л., 1965. С. 126.
- ¹⁷ *Сменцовский М.* Братья Лихуды. СПб., 1899. Прилож. VI.
- ¹⁸ Букварь славенорекоимстей. М., 1701. Л. 3 об.
- ¹⁹ Лексикон трехязычный. М., 1704. Л. 6 об.
- ²⁰ Послание некоего изуграфа Иосифа к цареву изуграфу и мудрейшему живописцу Симону Федоровичу. Изд. Е.С. Овчинниковой // Древнерусское искусство. XVII век. М., 1964. С. 33–34, 40–41, 60, 75 и др.
- ²¹ Слово к люботщательному иконного писания. Публикация Г. Филимонова // Вестник Общества древнерусского искусства при Московском публичном музее. Материалы. М., 1874. С. 22–24.
- ²² Цит. по: *Буслаев Ф.И.* Древнерусская борода // Буслаев Ф.И. Сочинения. СПб., 1881. Т. 2. С. 25.
- ²³ РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. № 504. Л. 4 об.
- ²⁴ РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. № 1446. Л. 155–157.
- ²⁵ Подробнее см.: *Черная Л.А.* О понятии чин в русской культуре XVII века // ТОДРЛ. Т. 47. Л., 1993. С. 343–356; *она же.* Эстетика первого театра // Художественно-эстетическая культура Древней Руси / Под ред. В.В. Бычкова. Т. 2. С. 390–402.
- ²⁶ Цит. по: *Сазонова Л.И.* Поэзия русского барокко (вторая половина XVII – начало XVIII в.). М., 1991. С. 28.
- ²⁷ Там же.
- ²⁸ Подробнее см.: *Черная Л.А.* Петр I как образец “политичного кавалера” // Тезисы докладов научной конференции “Петр Великий и его время”. Санкт-Петербург. 9–11 июля 1999 г. СПб., 1999. С. 25–27.
- ²⁹ См.: *Сорокин П.А.* Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.





КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ЭРАЗМА ЭПОХИ ПЕРВОГО АНГЛИЙСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

(Вступительная статья,
перевод с латинского и комментариев)

И.Л. Григорьева

Эразм, приехавший в 1495 г. во Францию для учебы в Сорбонне, влачил в Париже жалкое существование, не имея ни богатых покровителей, ни достаточно громкого имени, ни устойчивого положения в обществе. Он ощущал раздражавшую его зависимость от нидерландских “братьев общей жизни”, которые неодобрительно относились к его светскому образу жизни и гуманистическим увлечениям. Продолжать образование в ненавистной и осмеянной им “суровой” Сорбонне было невозможно. Давняя мечта о поездке в Италию осуществиться в то время не могла, по крайней мере, в связи с начавшимися в 1494 г. франко-итальянскими войнами.

Между тем известность молодого Эразма как литератора-гуманиста была в Париже уже достаточно велика. Большой удачей для него стало знакомство с молодыми английскими аристократами, приехавшими во Францию продолжать образование и ставшими его учениками. Самым влиятельным из них был Вильям Блаунт, лорд Маунтджой (1479–1534), с которым Эразма связывала особенно тесная дружба. Отчим молодого лорда имел влияние при дворе короля Генриха VII Тюдора (1485–1509). Король, принадлежавший к одному из самых просвещенных семейств Англии, был поклонником античной литературы и благоволил к гуманистам. Получив возможность попасть в Англию, Эразм рассчитывал добиться, наконец, признания своей учености и – как следствие – приобрести богатых и могущественных покровителей, среди которых могли оказаться и сам король, и королева-мать, известная как своей любовью к светской литературе, так и щедрой меценатской деятельностью. Возможно также, что он надеялся стать доктором в одном из английских университетов.

Впервые Эразм ступил на английскую землю по приглашению и в сопровождении лорда Маунтджоя летом 1499 г., а покинул страну в январе 1500 г. Молодой лорд привел своего учителя в дом тестя, сэра Вильяма Сэя, имевшего, кроме лондонской резиденции, где Эразм познакомился с Томасом Мором, еще дом в Гринвиче, по соседству с королевским двором. Лорд Маунтджой, ученые склонности которого привлекли внимание Генриха VII, должен был с осени того же года состоять при королевском дворе. Возможно,

уже тогда король решил сделать Маунтджоя старшим товарищем в занятиях юного герцога Йоркского, впоследствии короля Генриха VIII. В 1523 г. Эразм описал свое знакомство с королевской семьей таким образом: “Я был в загородном доме лорда Маунтджоя, когда Томас Мор пришел навестить меня и взял на прогулку не дальше, чем в соседнюю деревню, где воспитывались все королевские дети, кроме принца Артура, тогда старшего. Когда мы вошли в холл, собрались уже люди не только из дворца, но и из дома Маунтджоя. Посредине стоял принц Генрих, тогда девяти лет от роду, уже имевший нечто королевское в манере поведения, в которой истинное достоинство сочеталось с исключительной любезностью”¹.

Впервые попав к королевскому двору, Эразм был представлен как поэт². Роль своеобразной рекомендации должен был сыграть стихотворный шедевр – поэма “Говорит Британия” (*Britannia loquitur*), воспевающая страну и ее государей. Эразму удалось создать блестящий образец неолатинской поэзии. Поэма начинается с перечисления достоинств других стран, которые, по мнению автора, блекнут перед величием и значительностью воспеваемой им Британии:

Богатыми курительными благовониями
Радует Панхайя, покрытая песками.
Река Эбро выбрасывает на землю золото.
В Египет вдыхают жизнь семь устий Нила.
Жители долины Рейна делают прославленные вина.
А мне не нужны ни источники, ни богатые реки,
Не радуют глаз ни тучные нивы, ни луга, полные сил,
Ни земли, богатые железом и другими металлами³.

Не природные богатства Британии, которых у нее не меньше, чем в других странах, и не ее древность, в которой она не уступает Греции, вдохновляют Музу Эразма. Главным богатством страны является правящая династия во главе с королем Генрихом VII, которого поэт характеризует так:

Вооруженный равным образом оружием Марса и Паллады,
Опытный в войне, но более любящий мир,
Снисходительный к другим, себе – ничего не позволяющий...

Эразм сравнивает Генриха VII с Децием, афинским царем Кодром, Муцием Сцеволой и другими античными персонажами, совершившими гражданские подвиги. Во второй части поэмы благодатной пищей для поэта стал герб Тюдоров, соединивший Алую и Белую розы – геральдические символы двух враждовавших династий: Ланкастеров и Йорков. Этот сюжет Эразм использует красиво и с большим искусством:

Оживающие весной в садах, блистающие благотворной росой
Растут розы. Цветок – приятнейший прекрасной Венере.
Никакие другие цветы так не благоухают
И не улыбаются ласковее.
Здесь, где веселое трудолюбие умелого садовника

Любит смешивать румяные с белоснежными,
Роскошнейшая в терновнике румянится роза
И белится одновременно так, будто соединяешь
С молочно-белой слоновой костью пурпур.
Все одинаково благоухают, всех одинаково питает роса.
Одинаково юны, одной формы, один и тот же куст,
А также одна земля.
Выросли две, которые окрасились в разные цвета,
И родственные побеги прекрасной порой
Различают по цвету и расположению.
Эта, только что рожденная, прячется, чуть ли не в панцирь,
Вся в зелени, и только сквозь узкую щель проглядывает пурпур.
Эта, белоснежная, настолько выросла,
Я чувствую, что сейчас, раскрывающаяся,
Разорвет набухшую одежду.
А эта, разрывающая покровы, обнажает острие,
Угрожая уже распуścić лепестки.
А эта, молочно-белая, не порвала еще одеяния.
Самая крупная радуется красой
Двенадцатикратного убора лепестков,
Искрящегося тирийским пурпуром и багрянцем.
Не так краснеет шерсть, обгаренная дважды
Морской пурпурной улиткой,
Не так красен появляющийся из вод
После утренней Зари Феб.

А вот как описывает Эразм девятилетнего принца Генриха, которому, наряду с отцом, посвящена поэма:

Взгляни, какой идеал благородной внешности,
Как сверкает в его глазах живая сила ума!
Рано развившийся ум ждет быстрое возмужание,
Яркое дарование опережает свои годы.

А вот принцесса Маргарита, сестра юного Генриха:

Быстрее всех следует за ним нимфа,
Имя которой происходит от жемчужины,
Рожденной в Персидском море.
Я восхищен приметой: жемчужина пленяет нежной чистотой,
Маргарита – сладостной застенчивостью.
Это жемчуг изящный, не округлый,
Но чарующий первоначальной гладкостью.

В конце поэмы автор вновь напоминает о маленьком принце Генрихе:

Как сильно проглядывает в его чертах отец!
Так же в Аскании блистает образ родителей,
А прекрасный Ахилл лицом повторяет Фетиду.
.....
О, Парки, отпустите для мальчика белоснежной пряжи!

После кратковременного пребывания по соседству с королевским двором Эразм послал свои наблюдения и шуточные, порой язвительные замечания по поводу английской придворной жизни в Париж, поэту Фаусто Андрелини (ок. 1460–1518). Ученик Филельфо и Помпония Лэто, Фаусто был придворным поэтом короля Карла VIII, а его лекции по поэзии и риторике пользовались большой популярностью в аудиториях Сорбонны. Датированное летом 1499 г. письмо Эразма к Андрелини было первым посланием гуманиста из Англии⁴. Оно насквозь пронизано иронией. Серьезной кажется лишь одна фраза: “Над концом этой истории мы посмеемся вместе, так как до нашей встречи, я надеюсь, осталось не так много времени”. Очевидно, в намерения гуманиста входило скорое возвращение во Францию. И оно действительно через несколько месяцев состоялось. Трудно объяснить, чем было вызвано желание так скоро вернуться на континент. Возможно, гуманист с самого начала не собирался провести в Англии больше времени и его визит носил рекогносцировочный характер. Возможно также, что его планы изменились уже на месте, из-за каких-то обстоятельств.

Прежде чем покинуть страну, Эразм захотел посетить Оксфордский университет⁵, в числе профессоров которого были “Оксфордские реформаторы” – самые выдающиеся ученые, которыми располагала тогда Англия: Уильям Гросин (1448–1519), Томас Линакр (1460–1524) и Джон Колет (1466–1519). Их усилия превратили Оксфорд в центр гуманистической образованности. В этом кружке особенно велика была роль Колета. Изучавший во Франции и Италии теологию, хорошо знавший идеи флорентийских неоплатоников, он был теологом-гуманистом, пытавшимся сочетать св. Писание с философией Платона и неоплатоников. Как известно, первый визит в Англию явился поворотным пунктом в духовном развитии Эразма. Приехав в Англию как гуманист-литератор, после встречи с Колетом он решает оставить занятия светской литературой и посвятить себя воссозданию “истинной теологии”, обращенной к истокам христианства⁶.

Эразм прибыл в Оксфорд в октябре 1499 г., а вернулся в Лондон в начале декабря того же года. Гуманист находился в университете в качестве гостя колледжа св. Марии. В лице ее приора Ричарда Чарнока он нашел друга, а главное – богатого покровителя. Джон Колет уже слышал об Эразме в 1496 г. от главы парижских гуманистов Робера Гагена (1433–1501), во время своего пребывания в Париже, проездом из Италии в Англию. Подобно Гагену, блестящую характеристику Эразму дал и Ричард Чарнок, поэтому Колет обратился к Эразму с дружеским посланием⁷, на которое тут же получил ответ⁸.

В Оксфорде между Эразмом и Колетом состоялось несколько дискуссий: о жертвоприношении Каина и Авеля; о страданиях Христа в Гефсиманском саду; о схоластах и Фоме Аквинском. Первая дискуссия произошла на званом обеде в доме Колета. Главным в этом споре был вопрос о силе и безоговорочности веры в Божий Промысел и о свободе воли человека. Позиция, занятая Колетом, была тесно связана с мнениями, которые он отстаивал в своих

лекциях о Посланиях апостола Павла: необходимо больше любить Бога, чем знать Его, а также о зависимости человеческой воли от Божьего Промысла. Когда дискуссия приняла слишком серьезный для застольной беседы оборот, Эразм представил гостям свою импровизацию о том, как Каин обманул Бога⁹. Следующая дискуссия – о страданиях Христа в Гефсиманском саду, нашедшая подробное отражение в английской корреспонденции¹⁰ и в специальном сочинении голландского гуманиста, выявила расхождения христологических представлений Колета и Эразма. Если Колет давал евангельскому эпизоду моления о чаше мистическую интерпретацию, то Эразм трактовал его на гуманистический лад, подчеркивая проявления человеческой природы Христа, который воспринимался им как идеальная человеческая личность, образец для подражания христианину, занятому нравственным самосовершенствованием. Описание последней из оксфордских дискуссий – об отношении обоих гуманистов к схоластам – в корреспонденции времени первого визита Эразма в Англию не содержится¹¹.

Публикуемые ниже семь писем составляют чуть больше половины всей корреспонденции Эразма времени его первого английского путешествия. Из них шесть писем – адресованные Фаусто Андрелини, Яну Сикстену и Джону Колету – написаны Эразмом и одно – написанное Яном Сикстеном – адресовано ему самому. Хронологически первое пребывание Эразма в Англии делится на две части: нахождение в Лондоне (при королевском дворе) и в Оксфорде (в колледже св. Марии). К лондонскому периоду относится одно письмо Эразма – к Фаусто Андрелини (№ 103). Остальные письма, написанные в Оксфорде, расположены нами не в хронологической последовательности, а тематически. Оксфордская группа писем открывается рекомендательным письмом Эразма Джону Колету (№ 107), написанным в ответ на его послание¹². Это письмо представляет интерес как образец гуманистической “саморекламы”. Поскольку Эразм прибыл в Англию как признанный поэт, корреспонденция включает письма, посвященные поэзии. Этой тематике посвящено письмо поэта из Фризии Яна Сикстена (№ 112) и ответное послание к нему Эразма (№ 113). Два следующих письма отражают содержание состоявшихся в Оксфорде философско-богословских дискуссий. В первом письме, адресованном Яну Сикстену (№ 116), излагается Эразмова притча о Каине (адресат Эразма отсутствовал на званом ужине в доме Колета, на котором состоялась дискуссия о жертвоприношении Каина и Авеля)¹³. Во втором письме (№ 109), адресатом которого является Джон Колет, Эразм излагает свою позицию в споре с ним по поводу трактовки страданий Христа в Гефсиманском саду¹⁴. В последнем письме (№ 108, адресовано Джону Колету) Эразм высказывает принципиально важное намерение вступить на путь создания “философии Христа” и войти в число христианских гуманистов.

Перевод сделан по изданию: *Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami / Rec. per P.S. et H.M. Allen. Oxonii, 1906–1958. Vol. 1.* Нумерация писем указана по этому же изданию. Письма переведены на русский язык впервые.

Письмо 103

Эразм – Фаусто Анджелини, поэту, увенчанному лаврами

Небеса, что я слышал! Не обратился ли наш Скопус и в самом деле из поэта в солдата и не носит ли, кроме книг, смертельного оружия?

А мы в Англии тоже делаем успехи. Эразм, которого ты когда-то знал, стал почти что охотником, неплохим наездником, придворным с некоторым опытом. Он вежливо здоровается, приветливо улыбается, и все это в угоду Минерве. Если ты мудр, ты также перелетишь сюда. Почему человек с таким носом, как твой, идет уже к преклонному возрасту, не имея вокруг себя ничего, кроме французской грязи? Ты скажешь, что тебя удерживает твоя подагра. Пусть черт возьмет твою подагру, если только он оставит тебя.

Однако если бы ты знал, какие блага в Британии, то захлопал бы крыльями по ногам и побежал бы сюда. Если твоя подагра остановит тебя, пожелай стать Дедалом. Обрати внимание на еще одно преимущество, одно из многих: здесь есть нимфы с божественными чертами лица, такие нежные и добрые, что ты смело можешь предпочесть их своей Камене. Кроме того, здесь такие манеры, которые не устанешь расхваливать. Куда бы ты ни пришел, тебя в знак приветствия встречают со всех сторон поцелуями, когда уходишь, провожают тоже поцелуями. Если возвращаешься, твои приветствия возвращаются к тебе. О, Фаусто, если бы ты однажды попробовал, как сладки и ароматны эти поцелуи, ты бы, конечно, захотел путешествовать не только десять лет, как Солон, но и всю жизнь, лишь бы только добраться в Англию.

Над концом этой истории мы посмеемся вместе, так как я надеюсь, что до нашей встречи осталось уже не так много времени.

Из Англии. 1499.

Письмо 107

Эразм – Джону Колету

Если бы, любезный Колет, я признал себя кем-то, достойным самой скупой похвалы, я бы, конечно, обрадовался. Ведь меня хвалишь ты, который достоин похвалы больше всех остальных людей, чье мнение для меня так ценно, что даже твое молчаливое одобрение было бы для меня милее, чем, если бы мне аплодировал и меня приветствовал целый римский Форум, или чем, если бы мною восхищалось множество невежд, многочисленных, как армия Ксеркса.

Поскольку я всегда следовал совету Горация – никогда не ловить глас пустой молвы, которая равно непостоянна в своем одобрении и осуждении, – я всегда считал, что величайшая честь заключается в похвале людей достойного характера, которые слишком чистосердечны, чтобы желать похвалить кого-либо неискренне, слишком мудры, чтобы быть обманутыми, чья мудрость не позволяет подозревать ошибку, чья жизнь не допускает мысли о лести.

Тем не менее твои похвалы, мой Колет, так далеки от того, чтобы поднять мой дух, что я, будучи по натуре робким, еще меньше доволен собой, чем раньше. Ведь мне напомнили, каким я должен быть. Мне приписывают те качества, которые я чту у других, но не нахожу у себя. Я слишком хорошо знаю, в чем у меня загвоздка. Однако я не жалею о любезности тех, кто с такой симпатией тебе меня расхваливал. Не виню я и твой добрый нрав, благодаря которому ты принял эти похвалы.

Мне приятнее, что ты сбился с правильного пути из-за своей доброты, чем, если бы ты был строгим и беспристрастным судьей. Тем не менее, чтобы ты не пенял потом на тех, кто, пылко любя, рекомендовал меня тебе, и ты бы мог совершить выбор прежде, чем полюбить, я охарактеризую тебе себя сам. Я сделаю это вернее, так как знаю себя лучше, чем кто-либо другой. Ты найдешь во мне человека незавидной судьбы, или скорее – совсем неудачливого, не склонного к честолюбию, более склонного к любви, мало искусного, конечно, в литературе, но самого горячего ее почитателя, того, кто искренне преклоняется перед добродетелью в других и не видит ее у себя, кто готов уступить всем в учености и никому в честности, простого, открытого, свободного, совершенно чуждого лицемерия и притворства, характера скромного, но неиспорченного, умеренного в речах, короче – человека, от которого нечего ждать, кроме характера. Если ты, Колет, можешь полюбить такого человека, если ты полагаешь его достойным твоей дружбы, тогда считай Эразма такой же своей собственностью, как что-либо еще, чем ты владеешь.

Твоя Англия восхищает меня по многим причинам. Но главное – она изобилует тем, что нравится мне более всего. Я имею в виду людей, наиболее знающих толк в хорошей литературе, среди которых с общего согласия я почитаю тебя первым. Твоя ученость такова, что ты, без похвал, заслуживаешь всякого восхищения; такова непорочность твоей жизни, что ты не можешь не быть предметом любви, уважения и поклонения для каждого.

Смогу ли выразить, как сильно очаровал меня твой стиль, такой спокойный, невозмутимый, искренний, льющийся от щедрости сердца, подобно прозрачному фонтану, везде равномерный и всегда одинаковый, открытый, простой, полный скромности, чуждый всякой грубости, искажения и неуместности. Мне казалось, я узнаю в твоём письме нечто, похожее на твой характер. Ты говоришь то, что хочешь, а хочешь того, что говоришь. Слова, рожденные в сердце, а не на устах, непринужденно следуют за мыслью, а не мысль следует за тем, что произносят уста. Короче, с некоей счастливой легкостью ты излагаешь без всякого труда то, что другому человеку удастся выразить с величайшими стараниями. Но все же я должен удержаться от произнесения похвал по твоему адресу, по крайней мере, перед самим тобой, поскольку я не могу воздвигать преграды на пути нашей только что начавшейся дружбы. Я знаю, как неохотно воспринимают похвалы те, кто их единственно заслуживает.

Прощай. Оксфорд (1499).

Письмо 112

Ян Сикстен – Эразму, мужу красноречивейшему

Наш любезный хозяин приор Ричард Чарнок показал мне сегодня несколько твоих стихотворений, написанных, на мой взгляд, не в тривиальной или заурядной манере. Если бы даже их сочиняли с великим усердием, то они все же заслуживали бы, полагаю, немалой похвалы. Но, говорят, они были созданы без труда, экспромтом. Разве после этого их читатель, наделенный хоть каким-либо вкусом, не найдет тебе место среди древних и лучших поэтов? От твоих стихов веет аттической красотой, что указывает на удивительную прелесть твоего таланта. Поэтому продолжай, умоляю тебя, мой Эразм, будить твоих сладостных Муз, чтобы все могли на твоём примере и на примере подобных тебе узнать то, что раньше казалось невероятным: таланты германцев в действительности ничем не уступают талантам италийцев.

Прощай, самый изящный и приятный из всех поэтов.

Оксфорд, октябрь, 1499.

Письмо 113

Эразм – Яну Сикстену, Фризийцу

Твоя полная искренность, Сикстен, не допускает даже малейшего подозрения лести, от которого ты и так хорошо защищен рекомендациями как приора Ричарда, так и Джона Колета. И независимо от их рекомендаций – твоими манерами и характером, которые, будучи незапятнанны, так же сильно не вяжутся с выдумкой и притворством, как не может быть проще сама простота или свободнее сама свобода. (...)

Полагаю, некоторые из твоих похвал можно счесть справедливыми: есть, конечно, в моих стихах нечто аттическое, Сикстен. Они щадят чувства или касаются их слегка, решительно воздерживаясь от пыла. Нет в них ни бури, ни стремительности потока, выходящего из берегов...

Скупые на слова, они предпочитают соблюдать определенные границы, не позволяя увлечь себя за их пределы. Они скорее будут держаться берега, чем бросаться в пучину. В них нет прикрас; их тон – естественный, реальный и, если хочешь, матовый. Они так тщательно скрывают любой прием, что будь ты самим Линкеем¹⁵, ты не смог бы его обнаружить. В этом одном отношении я превосхожу самих греков. Они старательно вуалируют свои поэтические приемы, чтобы сделать их невидимыми для других, я делаю то же для самого себя. Они ухитряются сделать это, не привлекая внимания. Однако если этого не чувствует читатель-разиня, то достаточно хорошо понимает вдумчивый ученый-эрудит или автор-соперник...

Мы не перенимаем манеры Энния, нисколько не докучаем никакой Музе. В совершенной трезвости мы пишем такие здоровые стихи, словно на них совсем нет печати Аполлона. Я далек от того, чтобы сожалеть по этому поводу. Мне нравится иметь свойство, общее с Цицероном. Ни в чем другом я похо-

дить на него и не должен. Я определенно впал в сухой, бледный, бескровный, безжизненный род поэзии. Частично – по бедности дарования, частично – из-за неумелого подражания. Цицерон совершенно прав, считая, что ничто так сильно не влияет на талант человека, как место, где он находится. Когда я был молод, я писал не для латинян, а для голландцев, у которых очень грубые уши. Я творил для Мидасов и, угождая им слишком усердно, добился того, что не нравлюсь ни им, ни искушенным читателям. Я попытался обмазать две стены из одного горшка: понравиться невежеству простотой языка и одновременно понравиться просвещенности изяществом и тонкостью. Этот замысел, как мне тогда казалось ловкий, обернулся неудачей. Я пишу слишком заумно, по мнению невежд, и слишком неискусно, чтобы понравиться сведущим. Таково, ученейший Сикстен, мое собственное суждение о моих стихах...

Что касается твоего призыва будить моих Муз, то, вероятно, нужна волшебная палочка Меркурия, чтобы их поднять... Я разбудил их недавно от более чем десятилетнего сна, и они были, конечно, рассержены, когда их заставили расточать похвалы королевским детям. Они тянули неохотно и полусонно что-то вроде кантилены так вяло, что вполне могли расположить кого-либо ко сну. Мне самому это так не понравилось, что я был бы рад позволить им улечься спать снова... Сделать же так, чтобы люди поняли, что таланты германцев ничем не уступают талантам италийцев, можешь либо ты, Сикстен, либо никто. Твоя Фризия – такой щедрый источник замечательных талантов. Это – Африка, всегда полная новыми чудесами, которая произвела, кажется, в твоём лице своего рода Ганнибала, чтобы оспорить у Рима первенство в учености...

Мне кажется, твоя поэма обладает как раз теми достоинствами, которые ты приписываешь мне. Приор Чарнок считает ее столь же очаровательной, как и ты сам. Поверь мне, Сикстен, что для меня ты милее всех.

Будь здоров.

Оксфорд, в день святых Симона и Иуды (28 октября), 1499.

Письмо 116

Эразм – Яну Сикстену

Как бы я хотел, чтобы ты присутствовал, как я надеялся, на нашем празднике. Всего было вволю в лучшее время и в наилучшем месте. При устройстве праздника ничем не пренебрегли. Хорошее настроение оставило бы довольным Эпикура, застольная беседа пришлась бы по вкусу Пифагору. Гости могли образовать Академию, а не просто составить компанию за обедом. Во-первых, там был приор Чарнок, высокопоставленный жрец Граций, затем священник, читавший в тот день проповедь, человек столь же скромный, сколь и образованный. Затем – твой друг Филипп, самый веселый и остроумный. Колет, защитник и поборник старой теологии, был во главе стола. По правую сторону от него сидел приор – человек, в чьём характере

заключена очаровательная смесь учености, благосклонности и честности. По левую сторону от Колета сидел богослов более современного образца. Слева сидел я, потому что пир не мог обойтись без поэта. Филипп же – напротив, представляя профессию юристов. Ниже располагалось пестрое и безымянное собрание.

Поскольку сидели люди таких разных званий, многие темы были предметом дискуссий, но одна точка зрения вызвала сильное столкновение мнений. Колет утверждал, что Каин первым оскорбил Бога своим проступком, не доверившись щедрости Создателя, будучи слишком уверенным в своих собственных силах. Он был первым, кто обработал землю, в то время как Авель довольствовался произрастающим само по себе и пас овец. Богослов и я приложили усилия, чтобы опровергнуть эту теорию. Он – с помощью силлогических, я – риторических аргументов. “Сам Геркулес не справится с двумя”, – говорят греки. Тем не менее Колет один справился со всеми. Он, казалось, был наделен достоинством и величием больше, чем просто человеческими. Его голос звучал по-иному, глаза имели иной блеск. Лицо и фигура светились вдохновением. Наконец, когда диспут затянулся и стал более серьезным, чем положено для застолья, я подумал, что наступило время вспомнить о своей роли поэта и развлечь присутствующих более веселой историей, которая могла бы своим действием прекратить дискуссию.

Случайно, сказал я, некоторое время назад я нашел очень древний манускрипт, название которого и время были стерты временем и съедены червями, вечными врагами всякого письма. В нем была одна страница, которая не была ни разрушена временем, ни съедена червями благодаря Музам, которые следят за всем, что им принадлежит. На этой странице я прочел рассказ именно о том, о чем Вы спорите. Это – правдивая история, или, во всяком случае, очень похожая на правду. Если вы хотите, я перескажу ее вам. По их просьбе я продолжал: “Ваш Каин был как трудолюбивым, так и жадным человеком. Он часто слышал рассказы своих родителей о том, что в саду, из которого их изгнали, вырастал не сеянным богатый урожай пшеницы с полными колосьями, тяжелыми зернами и стеблями, такими высокими, как стволы ольхи, среди которых не росло ни плевел, ни куманики, ни чертополоха. Помня об этом и глядя на землю, которую он начал обрабатывать своим плугом, пожиная скудную жатву, Каин попытался хитростью восполнить недостаток своего трудолюбия. Он отправился к ангелу, который был стражем Рая, и, атакуя его с помощью хитростей, попытался дать ему взятку, чтобы тот принес ему тайно несколько зерен того, более счастливого урожая. Он убедил его, что Бог якобы в это время ни о чем не беспокоится и не занимается делами. Если же ему об этом и доложат, то нечего бояться наказания, поскольку это пустяк. Лишь бы он не связался с яблоками (ведь только к ним Бог запрещает прикасаться). “Полно, – сказал он, – не будь таким суровым стражником. Что, если твое излишнее сторожевое рвение будет Ему неприятно? Может быть, Ему больше понравится быть обманутым, будет более приятно умное трудолюбие, чем

неловкая лень в человечестве? И как, я тебя спрашиваю, ты нравишься себе сам в этой должности? Вместо ангела Он сделал из тебя палача и привязал к воротам Рая с пылающим мечом в руке, чтобы не пускать туда нас, погибших и несчастных. Ведь это именно то дело, для которого мы начинаем дрессировать собак. Мы, люди, действительно, очень несчастны, но, мне кажется, тебе не намного лучше. Мы лишились Рая, потому что попробовали яблоко, которое оказалось слишком сладким для нас. Чтобы не пускать нас в Рай, ты тоже лишен Неба и Рая и тебе еще хуже, чем нам, так как мы вольны идти туда, куда влечет нас фантазия. Послушай, страна, которая утешает нас в изгнании, покрыта деревьями с прекрасной листвой, тысячами разных деревьев, которым мы едва можем дать наименования, родниками, которые текут во всех направлениях с холмов и скал, реками с прозрачной водой, что скользят мимо покрытых травой берегов, горами, поднимающимися к небу, тенистыми долинами, морями, полными богатств. Я не сомневаюсь, что эта земля в ее глубочайших тайниках скрывает большие богатства. Чтобы извлечь их, я обыщу все ее жилы, а если на это не хватит моей жизни, во всяком случае, это сделают мои внуки. У нас есть здесь золотистые яблоки, сочные фиги, все сорта фруктов, многие из которых растут повсюду сами по себе. Так что нам не очень будет недоставать твоего Рая, если бы мы только могли жить здесь вечно. Верно, мы атакованы болезнями, но и на них человеческое трудолюбие найдет управу. Я знаю растения, которые оказывают изумительное действие. А что, если найдутся какие-то растения даже здесь, которые смогут сделать жизнь человека бессмертной? Что касается ваших знаний, то я не вижу в них толку. Почему я должен заботиться о вещах, которые не имеют ко мне отношения? В своей работе я не остановлюсь, так как нет ничего, чего нельзя было бы покорить упорным трудом. Итак, мы вместо одного сада получили просторный мир, в то время как ты изгнан из обоих: не наслаждаешься ни Небом, ни Раем, ни даже землей, привязанный навсегда к этим воротам, вечно держа в руках пылающий меч ни с какой другой целью, вижу, кроме как сражаться с ветром. Так что, иди сейчас, если ты разумен, и окажи услугу себе, а также нам. Принеси то, что ты можешь дать без всякого ущерба для себя, и получи взамен полную долю во всем, что принадлежит нам. Такие, как ты, несчастные, изгнанные, поставленные вне закона, должны быть солидарны с теми, кто в таком же положении”.

Худшее дело победило, так как оно оправдывалось худшим из людей, но лучшим из адвокатов. Несколько украденных зерен были тщательно посеяны Каином. Они выросли с прибавкой. Прибавка была посеяна в землю, так было сделано снова и снова. Прежде, чем прошло много лет, он засеял зерном обширное пространство земли. Дело стало слишком бросаться в глаза, чтобы быть незамеченным Высшими силами. Бог был очень разгневан. “Этот вор, сказал Он, кажется, очень любит трудиться и потеть. Я загружу его работой”. По Его слову армия муравьев, ласок, жаб, гусениц, птиц, мышей, саранчи и других вредителей была послана на хлеб и поела его, частью, когда он был

еще в земле, частью, когда был сложен в амбары. Чтобы довершить разрушение, налетел страшный ураган. Поднялся такой сильный ветер, что те стебли, которые были толщиной с дубовые бревна, сломались, словно сухая солома. Страж был сменен: ангел, который помог человечеству, был заключен в человеческий образ. Каин попытался умиловить Бога жертвенным сожжением плодов, но, когда дым не поднялся, он убедился в Его гневе и отчаялся”.

Вот, Сикстен, история, которая была рассказана над нашими чашами и которая родилась среди них, если тебе нравится. Я решил тебе ее поведать, во-первых, потому, что должен был тебе что-то написать, ведь я обязан тебе письмом. Кроме того, я полагаю, ты не можешь быть исключенным из такого утонченного пиршества.

Прощай.

Оксфорд. 1499.

Письмо 109

Эразм Джону Колету

На днях, во время нашего маленького послеполуденного диспута, Колет, многое было сказано, по крайней мере, тобой и остроумно, и авторитетно, но ты мне своего мнения, с которым я мог бы скорее не согласиться, чем опровергнуть, достаточно не доказал. Мне кажется, что причина спора не менее важна, чем красноречие, с которым он ведется. От серьезной же дискуссии ты тогда из-за присущей тебе скромности отказался, хотя и остался при своем мнении. Однако ты сам просил рассмотреть вопрос более внимательно и тщательно. И при этом не усомнился, что если бы я последовал твоему совету, то немедленно присоединился бы к твоему мнению. Полагаю, ты поступил благоразумно. Ведь ты знаешь, как справедливо заметил знаменитый Мим, что чрезмерно спорящий иногда упускает истину, особенно, если спор завершается доказательствами, которые ставят, как нам кажется, под вопрос нашу ученость. Свидетелем нашего диспута был, однако, приор Ричард Чарнок, тебе – стариннейший друг, мне недавно – гостеприимный хозяин, каждого из нас почти равным образом любящий и почитающий. Самой природой одарен он пылом борьбы: даже робким внушит стремление защищаться. Ведь, в самом деле, поищи-ка того, кто захотел бы расстаться со своей натурой и превратиться, как результат, в пустое место.

Итак, я охотно последовал твоим указаниям, Колет: более тщательно и по всем правилам все обдумал, обновив несколько свои аргументы; приложил максимум усилий: все доводы обеих сторон взвесил и обсудил; поменял их местами, чтобы в равной степени благосклонно отнестись как к твоим доводам, так и к моим. Свои аргументы я проверил не менее тщательно, чем, если бы это были твои. Однако обдумав все заново, я не нашел ничего нового, не жалею ни о чем из сказанного ранее. Попытаюсь же, если смогу, представить наше состязание в словах и рассказать заново, таким образом, одну и ту же

басню. Правда, я не стал одареннее, чем был, но то, что говорил вначале, совсем неподготовленный, сейчас сформулирую лучше и увереннее...

Что же истинного в твоих доводах и какова справедливость моих слов? В литературном состязании тот мудр, кто хочет не столько победить, сколько быть побежденным, кто не столько учит, сколько учится сам. Если я уступаю, то отступаю более ученый, если превосхожу, тебе же должно быть приятнее.

Тебя смущает и печалит то, что, по моему мнению, Христос ужаснулся смерти подобно обыкновенному человеку. Он не желал смерти, а лишь смирился с ней. Это зависело от Его природы, а не от Его воли. Ибо, какая может быть иная воля, нежели воля Отца. Если Он не хотел своей смерти, то якобы меньше любил людей. Если же всегда желал ее, то почему молил о предотвращении того, чего хотел? Бесспорно, тогда человек среди людей, говоря человеческими словами, выразил сильный человеческий страх. Этот страх был не чем иным, как тем естественным природным ужасом перед смертью, который в нас глубоко заронила природа. Дрожать от страха обещанной смерти столь же соответствует природе, сколь и жаждать отдаленной пищи. Мне кажется, что, подобно тому, как каждое желание определяется чувством, так и желание избежать чего-либо определяется страхом. Кто бы ни желал пищи, уже потому хочет пищи, что жаждет. Но то самое свойство тела, которое хочет пищи, есть его воля. Таким образом, сильный страх есть врожденное стремление избежать смерти, не более прикрывающее волю, чем голодание. Человеческая воля может ужаснуться смерти, которую невозможно согласно внутренней природе желать.

Все это имеет отношение к нашему спору. Разве не это стремление избежать смерти выразил Христос, говоря: “Да минует меня чаша сия. Впрочем, не так, как Я хочу, но как Ты”. После этого он сказал так: “Я ощущаю, Отец мой, некое чувство, из-за которого сильно страшусь взять эту горчайшую чашу. Однако да будет исполнена не Моя воля, а Твоя, которая, равным образом, является и Моей, поскольку она Твоя. Ничто мне еще так не тревожило душу, как страх того, что Я так мало готов выпить эту чашу. Я очень хорошо это чувствую. Дело в том, что, хотя мне она и будет горчайшей, тем же, которых я люблю, она будет во спасение. Но она не может быть им во спасение, если мне не будет горькой, поэтому я хочу ее выпить. Но это Твоя воля, а не Моя. Разумеется, от Тебя зависит, чтобы Я захотел этого твердо, не от Меня, которого одарили тем, что Я есмь Я”.

Природа же, Колет, и та, и другая, представляется мне ясной. Однако чтобы перед тобой полнее оправдаться, поскольку тебя весьма восхищает такое рвение в любви, из-за чего вся наша контраверсия и родилась, лишь одно добавлю и тем самым положу конец спору. Я не соглашусь, пожалуй, с тем, что все матери способны на такой душевный подъем, который овладел Христом, когда Его покрыл кровавый пот. Уже тогда с несказанной радостью Он желал, чтобы скорее наступил предписанный Отцом срок, когда Он ценой своей смерти возвратит Отцу погубленный человеческий род. Никто никогда

до такой степени не желал жизни из тех, кто хотел жить, как Он хотел смерти. Никто так пылко не ожидал Царствия Небесного, как Он желал своей гибели. С чем ты споришь? Добавь к моим аргументам еще что-либо, если угодно. Ибо сколько мы ни размышляем, ничего добавить сверх этого не можем. Но ты спрашиваешь: как совместить такое сильное желание смерти со страхом перед ней? Ничто не мешает одно и то же дыхание в разных инструментах слышать по-разному. В еще большей степени это относится к Христу, как уже было показано. Чувство не является помехой чувству, страсть – страсти. До тех пор, пока душа Иисуса была близка телесным чувствам, он испытывал жесточайшие страдания; приближаясь же к божественной сущности, он преисполнился невероятного духовного подъема. Как не препятствовало воодушевлению чувство грусти, так и воодушевление не смягчало чувство страха. После всего сказанного я не знаю, Колет, что бы мы могли еще исследовать – разве самого тебя. Правда, я еще не объяснил, почему Христос не обнаружил никакого признака воодушевления и не проявил очень большого страха. Я попытаюсь устранить это недоумение. Не для того так поступал Христос, чтобы явить нам образец мужества. Слова его были чрезвычайно мужественны. Они являлись данью философу, мудрому мужу, который в Фаларидовом быке восклицал: “Как приятно, не больно!”. Складывается образ человечности, кротости, миролюбия, покорности, а не ожесточенности. Ты обнаружишь многое, совершенное кротко и покорно, множество примеров медлительности, но никакого рвения. Разве недостаточно приведенных примеров смирения? В то время, как Петр жесточайшим образом ругал на последней вечере виновника приближающейся смерти, сколь ласково Он на той же вечере принимал своих учеников. Он был кроток и покорен, когда не свое положение оплакивал, а их в малодушии утешал, когда приближенного к себе предателя с пиршества не выгнал, не оттолкнул его, целующего, когда предался в руки слугам, когда, обвиненный, молчал, когда, словно агнец, уготованный к жертве, шел на закланье. Добавь к этому, что его рвение не привело бы к благу, а печаль принесла пользу. Если бы кто-либо, гонимый таким образом, претерпел бы за нас смерть, разве можно было бы поверить, что он – просто человек? Разве это заставило бы многих усомниться, какое бы смятение воцарилось в душах людей в будущем, если бы Он, как будто без всяких человеческих чувств, с великой радостью в голосе и на лице терпеливо перенес казнь? Кто бы поверил, что у Него действительно человеческое тело? Разве усомнился бы кто-либо, что Он был Богом? Того, кто ради нашего блага принял смерть, очень любят. Относительно того, кто боится смерти, никто не сомневается, что он – человек. Общеизвестно, что человеческой природе больше соответствует скорее пассивное, чем мужественное и сильное перенесение пытки. Оно больше вяжется с нашим, человеческим восприятием. Нас Он хотел не столько удивить, сколько быть приятным. Мы удивляемся храбрости, но больше любим кротость и беспомощность; нас больше привлекает нечто трогательное. Такое понимание больше соответ-

ствуем предсказаниям пророков, которые предназначили Христу именно эту роль, уготовили их Агнцу кротость, видели Его покрытым кровоподтеками от побоев, покинутым, обесславленным, поникшим, нигде не являющим себя бодрым, отважным и сильным. Они видели Его по преимуществу молчаливым, мало говорящим. Бесспорно, славы и почета заслуживает тот, кто переносит мучения с неустрашимой душой, мужественно и смело ведет себя даже среди орудий пытки. Но Христос даже хотел, чтобы Его смерть была бесславной. Ведь похвала в рвении скорее подобает мученикам, у которых голова ослаблена по сравнению с более крепким телом. Вообще же, каков был Его душевный подъем в течение длительных мучений, нам не известно. Его человеческая природа, видимо, сопротивлялась, однако Он дал образец кротости и покорности, которым и нам велел учиться. Страдая, Он проявил те черты, которые чрезвычайно свойственны человеку. Мы можем увидеть в Его поведении вполне очевидные признаки страха, соответствующие чувствам и качествам, присущим именно человеку, самый убедительный пример покорности. Если из этого страха Христа мы не будем выводить ничего неприятного для себя и даже – наоборот, если не будем умалять любви к нам Исккупителя и даже еще приумножим ее, если пример покорности будем рассматривать как наиболее достойный, если, наконец, признаем все это точно соответствующим истине, то на каком основании мы должны отказаться от общепринятого мнения и верить одному Иерониму, и не мнению даже, а комментарию, тем более, что подобного нет ни в его трудах, ни в проповедях. Откуда же извлечь хоть самые скудные доказательства твоего мнения?

В мои намерения входило, Колет, так или иначе оправдаться. Не знаю, насколько мне это удалось. Высказанное мной мнение может быть, очевидно, и доказано точнее, и высказано полнее. Я представил события таким образом, как я его вижу. Я сделал это умышленно, чтобы принять лучшую часть твоей аргументации. Мне хотелось сделать свои первые шаги в богословии на твоих глазах. Мне бы хотелось, чтобы не мое искусство, а мое трудолюбие удостоилось похвалы. Я даже не рассчитываю на то, что эта моя болтовня, которую я никаким достойным старанием не отметил, может быть тобой одобрена. Если бы ты ее одобрил, но сделать этого ты не можешь, и я также не хочу получать незаслуженные похвалы, если рассуждать по справедливости и заслугам, я бы ее заново обработал и прислал вновь, выполненную несколько изящнее. Если же написанное не понравилось тебе так же, как оно не понравилось мне, то пусть оно погибнет: принеси его в жертву или супругу Венеры, или матери Ахилла.

Видишь, Колет, до какой степени я люблю изящество: даже богословский диспут завершаю баснями. Как говорил Гораций, гони природу вилами, она все равно возвратится.

Будь здоров, и прошу опровергать меня как можно более тщательно и сурово. Покажи мне меня.

Оксфорд.

Ученейший Колет, я так же мало заслужил упрека, выраженного в только что полученном мною твоём письме, как и комплимента в твоём прошлом послании. Но я отношусь гораздо хладнокровнее к упреку, которого не заслужил, чем к похвалам, которых я не могу принять. Когда нас обвиняют, мы имеем законное право защищаться; твердое же намерение отклонить комплименты убеждает в желании слышать их вновь. Я полагаю, в обоих случаях ты хотел меня испытать. Хотел увидеть, был ли бы я удовлетворен честью, оказанной мне столь великим мужем, или какое бы раздражение высказал, уязвленный отпором. Будучи столь осторожным и тщательным, столь нерешительным и испытывающим в выборе своих друзей, ты должен быть постоянным в своих симпатиях.

Со всей серьезностью, так же, как прежде, я был рад похвале, даже незаслуженной, от того, кто из всех людей ее наиболее достоин, я с блаженством принимаю упрек от лучшего из друзей. В будущем хвали или осуждай своего Эразма, если хочешь, только позволь письму лететь сюда каждый день. Нет для меня ничего приятнее.

Но вернемся к твоему посланию, чтобы мальчик, который его принес, не ушел с пустыми руками. Я целиком разделяю твоё недовольство определенной частью богословов нового типа, которые постарели на простых и софистических каверзах. В наше время богословие, которое должно стоять во главе учености, изучается, в основном, людьми, которые из-за глупости и бесчувственности едва ли подходят для какой-либо ученой деятельности вообще. Это я говорю не о тех эрудированных и честных профессорах богословия, на которых я взираю с величайшим уважением, но о той жалкой и надменной толпе, которым неведома никакая вообще ученость.

Предлагая битву, мой дорогой Колет, с этим упрямым племенем людей за восстановление истинного богословия в его первоначальном блеске и достоинстве, ты взял на себя дело, святое для самой теологии, а также наиболее благотворное для всех наук, особенно здесь, в процветающем Оксфордском университете. Но, по правде говоря, эта работа связана с великими трудностями и большим недоброжелательством. Трудности твои эрудиция и энергия преодолеют, недоброжелательство твоё великодушие оставит без внимания. Среди самих богословов есть немало таких, которые хотят и могут помочь тебе в твоих благородных попытках. Конечно, каждый подаст тебе свою руку, поскольку в этой знаменитой школе нет ни одного доктора, который не слушал бы внимательно лекций о Посланиях святого Павла, которые ты читал последние три года. Я не знаю, что больше заслуживает похвалы: скромность ли тех, кто, будучи сами полноправными учителями, не отказываются слушать того, кто намного их моложе и не получил еще докторской степени, или же необыкновенная эрудиция, красноречие и прямота человека, которого они

сочли достойным такой чести. Я не удивляюсь тому, что ты взвалил на свои плечи такую ношу, поскольку ты справишься с ней. Меня удивляет другое: ты приглашаешь столь незначительную персону, как я, быть соратником в твоей борьбе. Ты просишь меня, скорее, даже настаиваешь с упреками, попытаться возродить занятия в этом университете, пришедшие в упадок, как ты пишешь, за зимние месяцы, комментариями к древнему Моисею или красноречивому Исаяе, подобно тому, как ты комментировал святого Павла. Но я, который научился советоваться с самим собой и знаю, как скуден мой багаж, не могу ни претендовать на знания, необходимые для решения такой задачи, ни думать, что силой своего духа смогу выдержать зависть такого большого количества людей, тех, кто будет сгорать от желания отстоять свои интересы. Планируемый военный поход таков, что требует участия не новичка, а опытного генерала. Ты не можешь назвать меня нескромным потому, что я отклоняю эту миссию; для меня было бы нескромным взять ее на себя. Ты не мудро поступаешь, Колет, требуя воды из камня, как сказал Плавт. С каким лицом я должен учить тому, чему никогда сам не учился? Как я могу разогреть других в то время, как дрожу сам? Я считал бы себя более опрометчивым, чем сама опрометчивость, если бы испытал свою силу сейчас в таком великом предприятии и, согласно греческой поговорке, обучался бы, как гончар, принявшийся за работу над амфорой.

Но ты говоришь, что ожидаешь от меня работы такого рода и жалуешься, что разочарован. Но в этом случае ты должен пенять на себя, а не на меня. Я не разочаровывал тебя, так как никогда ничего тебе не обещал и даже не подавал никаких надежд на это. Ты сам себя обманывал, не доверяя тому, что я честно говорил о своем собственном характере. Никогда больше я не приеду сюда учить поэзии или риторике. Эти занятия перестали быть мне приятными, как только они перестали быть необходимыми. Я оставляю эти намерения как не соответствующие моим целям, поскольку я занят другим, потому что это выше моих сил. Что касается твоего упрека, то он не заслужен, поскольку я никогда не собирался сделать своей профессией то, что называется светской литературой, и ты напрасно меня убеждаешь в обратном. Я сознаю свою непригодность к этому делу. Даже если бы я был пригоден, это было бы невозможно, так как я скоро возвращаюсь в Париж. Между тем, задерживаясь в вашей стране частично из-за зимы, частично из-за трудности покинуть Англию по причине бегства некоего герцога, я отправился в этот ученый университет, поскольку мне приятнее провести месяц или два с людьми, подобными тебе, чем с блестящими придворными.

Однако я далек от того, чтобы выступать против твоих славных и священных попыток. Хотя я и не подходящий товарищ в этой работе, обещаю ей всяческую поддержку и симпатию. В дальнейшем, когда я осознаю необходимую силу, я выступлю на твоей стороне, приложив самые серьезные, хотя, может быть, и безуспешные усилия в защиту богословия. Впрочем, для меня

нет ничего приятнее, чем ежедневно обсуждать с тобой устно, или письменно какой-нибудь богословский предмет.

Любезнейший из приоров, мой хозяин и наш общий друг просит меня приветствовать тебя от его имени.

Оксфорд, в Коллегии, обычно называемой “Святой Марии” (1499).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Catalogus Lucubratiouum // Desiderii Erasmi Roterodami Opera omnia, cura et impensis Petri Vander Aa. Lugduni Batavorum, 1703–1706. Vol. 5 (Далее – LB).*

² Проблеме поэтического творчества посвящены публикуемые ниже два письма: послание Эразму поэта Яна Сикстена и ответное письмо гуманиста. См.: *Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami / Rec. per P.S. et H.M. Allen. Oxonii, 1906–1958. Vol. 1. № 112, 113 (далее – Op. ep.)*

³ *The Poems of Desiderius Erasmus Roterodamus / Intr. and ed. by Dr. C. Reedijk. Leiden, Brill, 1956. P. 67–74. Здесь и далее перевод с лат. И.Л. Григорьевой. Ср. перевод Ю.Ф. Шульца по изданию: Эразм Роттердамский. Стихотворения. Иоанн Секунд. Поцелуи. М., 1983. С. 126–131.*

⁴ *Op. ep. Vol. 1. N 103.*

⁵ См.: *Григорьева И.Л. Оксфордский гуманизм рубежа XV–XVI вв. и контакты с ним Эразма // Университеты Западной Европы. Средние века. Возрождение. Просвещение. Иваново, 1990. С. 80–94.*

⁶ См. *Op. ep. Vol. 1. N 108.*

⁷ *Ibid. N 106.*

⁸ *Ibid. N 107.*

⁹ *Ibid. N 116.*

¹⁰ *Ibid. № 109–111. См. также: Disputatiuncula de tedio, pavore, tristicia Iesu, instante supplicio crucis // LB. Vol. 5. Col. 1265–1291.*

¹¹ Ее описание см.: *Op. ep. Vol. 4. N 1211.*

¹² *Ibid. Vol. 1. N 106.*

¹³ Подробнее об этом см.: *Григорьева И.Л. Указ. соч. С. 89–90.*

¹⁴ См.: Там же. С. 90–92.

¹⁵ Линкей – сын мессенского царя Афарея, брат Идаса, двоюродный брат Диоскуров (Apolod. III. 10, 3). Герой, отличавшийся небывалой остротой зрения, видя под землей и водой. Участвовал в Калидонской охоте и походе за золотым руном.



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| <i>А.Ю. Юсупов.</i> Взаимоотношения в области культуры между Венецией и городами террафермы (Вероной, Виченцей и Падуей) в первой четверти XV в. | 5 |
| <i>К.И. Лобовикова.</i> Эсхатология Георгия Трапезундского и проблема отношения к “чужому” | 29 |
| <i>О.Ф. Кудрявцев.</i> Праесептор Еуропае: международные связи Марсилия Фичино, главы Флорентийской Платоновской академии | 38 |
| <i>А.В. Романчук.</i> Итальянская макабрическая иконография XIV в. в европейском искусстве раннего Возрождения | 57 |
| <i>О.Г. Махо.</i> Кардинал Виссарион и итальянская живопись XV в. | 63 |
| <i>Е.М. Елисеева.</i> Нидерландская живопись XV в. и итальянские заказчики | 71 |
| <i>И.А. Журавлёва.</i> Европейские заказчики Тициана | 86 |
| <i>R. Poma.</i> Y a-t-il une place pour la médecine “réformée” dans le pays de la Contre-réforme? Paracelse en Italie | 100 |
| <i>P. Пома.</i> “Реформированная” медицина в стране Контрреформации? Парацельс в Италии (резюме О.С. Воскобойникова) | 106 |
| <i>Л.А. Кронштадтская-Карева.</i> Фишер и Рейхлин: становление интереса к гебраистике в Англии первой трети XVI в. | 107 |
| <i>В.В. Иванов.</i> Италия в событиях и идеях Реформации и Северного Возрождения | 113 |
| <i>А.В. Доронин.</i> Немецкие sodalitas конца XV – начала XVI в. | 122 |
| <i>Н.А. Истомина.</i> Традиция и интернациональные влияния в портретах Хендрика Гольтциуса | 138 |
| <i>Н.Н. Шевченко.</i> Книжные подарки как средство социальной коммуникации при дворе герцога Альбрехта Прусского | 157 |
| <i>И.Я. Эльфонд.</i> Образ “чужого” в политической идеологии и пропаганде Франции эпохи гражданских войн | 174 |
| <i>Т.П. Гусарова.</i> Венгерские студенты в итальянских университетах в конце XVI в. | 185 |
| <i>Л.А. Чёрная.</i> Проблема человека в русской культуре XVII в.: влияние гуманистических идей | 201 |

ПУБЛИКАЦИЯ

| | |
|---|-----|
| Корреспонденция Эразма эпохи первого английского путешествия (<i>Вступительная статья, перевод с латинского и комментарии И.Л. Григорьевой</i>) | 211 |
|---|-----|

CONTENTS

| | |
|--|-----|
| <i>A.Yu. Yusupov.</i> Cultural relations between Venice and the cities of Terraferma (Verona, Vichenza and Padua) in the first quarter of the XV c. | 5 |
| <i>K.I. Lobovikova.</i> Eschatology of Geoge of Trabzon and the problem of attitude towards 'alien' | 29 |
| <i>O.F. Kudryavtsev.</i> Praeceptor Europae: international connections of Marsilio Ficino, the head of Florentine Platonic Academy..... | 38 |
| <i>A.V. Romanchuk.</i> Italian 'macabre' iconography of the XIV c. in European Renaissance art | 57 |
| <i>O.G. Makho.</i> Cardinal Bessarion and Italian painting of the XV c. | 63 |
| <i>E.M. Eliseeva.</i> Dutch painting of the XV c. and Italian patrons | 71 |
| <i>I.A. Zhuravleva.</i> European patrons of Tizian..... | 86 |
| <i>R. Poma.</i> Y a-t-il une place pour la médecine "réformée" dans le pays de la Contre-réforme? Paracelse en Italie (<i>summary in Russian by O.S. Voskoboynikov</i>)... | 100 |
| <i>L.A. Kronshtadtskaya-Kareva.</i> Fisher and Reuchlin: introducing Hebrew studies in England in the beginning of the XVI c. | 107 |
| <i>V.V. Ivanov.</i> Italy in events and ideas of the Reformation and the Northern Renaissance | 113 |
| <i>A.V. Doronin.</i> German 'sodalitas' of the end of the XV – beginning of the XVI c. ... | 122 |
| <i>N.A. Istomina.</i> Tradition and the international influences in the portraiture of Hendrick Goltzius | 138 |
| <i>N.N. Shevchenko.</i> Book-giving as a means of social communication at the court of Albrecht, the Duke of Prussia | 157 |
| <i>I.Ya. Elfond.</i> The Image of 'alien' in the French political ideology and propaganda during the Wars of Religion | 174 |
| <i>T.P. Gusarova.</i> Hungarian students in the Italian Universities in the end of the XVI c. | 185 |
| <i>L.A. Chernaya.</i> The problem of man in the Russian culture of the XVII c.: the influence of humanism | 201 |

PUBLICATION

| | |
|---|-----|
| Letters of Erasmus at the time of his first visit to England (<i>introduction, translation from Latin and commentary by I.L. Grigoryeva</i>)..... | 211 |
|---|-----|

В СБОРНИК ВКЛЮЧЕНЫ ИЛЛЮСТРАЦИИ
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КНИГ:

Renzi G. Piero della Francesca. Storia, leggenda, profezia, teologia nelle pitture murali della Capella Maggiore (Basilica di San Francesco, Arezzo). 1996, а также Pantheon. 1995. Vol. 53.

Shevchenko N. Eine historische Anthropologie des Buches. Bücher in der preußischen Herzogslamie zur Zeit der Reformation. Göttingen, 2007.

Tiziano e la silografia veneziana del Cinquecento / A cura di M. Muraro e D. Rosand. Vicenza, 1976.

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕПЛЕТА ИСПОЛЬЗОВАНЫ

Квинтен Массейс (1466–1530) и мастерская. Портрет Эразма Роттердамского. 1517. Рим. Палаццо Барберини.

В. Карпаччо. Прибытие английских послов (из цикла картин со сценами жизни св. Урсулы). Фрагмент. 1490–1495. Венеция. Галерея Академии.

Научное издание

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ
В ЕВРОПЕ
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

*Утверждено к печати
Научным советом РАН
“История мировой культуры”*

Заведующая редакцией *Е.Ю. Жолудь*
Редактор *Н.Д. Александрова*
Художник *В.Ю. Яковлев*
Художественный редактор *Т.В. Болотина*
Технический редактор *З.Б. Павлюк*
Корректоры *А.Б. Васильев, А.В. Морозова*

Подписано к печати 09.06.2010
Формат 70 × 90 1/16. Гарнитура Таймс
Печать офсетная
Усл.печ.л. 17,6. Усл.кр.-отт. 18,3. Уч.-изд.л. 20,5
Тип. зак. 3339

Издательство “Наука”
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
E-mail: secret@naukaran.ru
www.naukaran.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП “Типография “Наука”
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12



КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ
В ЕВРОПЕ
ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ

ISBN 978-5-02-037370-9



9 785020 373709



НАУКА